

Жанна Моро
В
«Anna Karamazoff»



КИНО сценарии **№4**



Рисунок Рустама Хамдамова

**сегодня
в
журнале**

КИНО сценарии **№4**

**ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ**

Рустам Хамдамов

**Украденный шедевр
"Анна Карамазов"**

Юрий Арабов

**Авторское кино
"Юные годы Данта"**

Эдуард Володарский

**Криминальная мелодрама
"Русская"**

Пол Шредер

**Из классики зарубежного кино
"Таксист"**

Юрий Коротков

**Русский вестерн
"Абрек"**

Венди Ли

**Из жизни звезд
"Лайза, рожденная быть звездой"**

Григорий Горин

Иронические мемуары

Александр Червинский

**Бизнес в кино
Как хорошо продать хороший сценарий**



Рисунок Рустама Хамдамова к фильму «Анна Карамзoff»

РУСТАМ ХАМДАМОВ



Anna Karamazoff

**Фильма «Anna Karamazoff»
на территории России не существует.
Фактически он украден.
Предстоит серьезная борьба
за его возвращение.**

ВОКЗАЛ. ТУМАННОЕ УТРО. ПОЧТИ НОЧЬ.

На перрон прибывает поезд.
Вагон.

Из вагона спускается женщина.
Проводник подает ей чемодан.
Пальто легкое, воротник поднят.
Шляпа, вуаль — все по моде пятидесятых годов.
Женщина останавливается поправить чулок.

ПУСТОЙ ГОРОД. ТУМАН.

Большой потертый чемодан, перевязанный веревкой.
Женщина идет по брусчатой мостовой.
Сношенные туфли на высоком каблуке. Идти неудобно.
Поправляет чулок.
На углу улицы военный ест мороженое.
Женщина с чемоданом подходит к военному.
Любопытный взгляд женщины. Почти старое красивое лицо.
Военный отворачивается.
Наверное, она давно не видела мороженого.
Кажется странным, что такая, даже элегантная дама вдруг так смотрит.
Человек растерян, но продолжает есть мороженое.
Женщина с чемоданом заходит с обратной стороны и смотрит, как он ест мороженое.
Может быть, ей нравится этот военный.
Может, она хочет его разозлить.
Не знаем, что у нее в голове, но военный от нее убегает.
Вот какова.

УТРО ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ.

Первый трамвай.
Женщина с чемоданом входит.
Покупает билет.
В вагоне рабочая смена. Тесно, и молчат.

ВЫСОКО НА БАШНЕ. УТРО.

Молодой человек почти повис на стрелках огромных часов.
Он что-то чинил или чистил в них.
Мыл-мыл часы и тут вдруг чуть было не брякнулся.
Как Гарольд Ллойд.
И мы видим с точки зрения часов большую улицу, людей, машины.
Большой город.
А потом, уже с ее точки зрения, как что-то такое было на башенных часах, но все обошлось.
Это она разглядела и пошла дальше.
Может быть, мы нарочно не узнаем до конца, Москва ли, Ленинград ли?
Или еще какой-нибудь большой город?
Так снимем, что это станет не важным.

ПЕРЕУЛОК.

Стены высоких домов. Восходящее осеннее солнце освещает их боковым светом.
Одинокая фигура женщины.
Она входит в дом.
Поднимается по лестнице.
Открывает ключом дверь квартиры.

КОММУНАЛЬНАЯ КВАРТИРА.

Женщина с чемоданом идет по длинному темному коридору.
Зажигает на повороте слабую лампочку.
Прислушивается и стучит в дверь комнаты.
Затем она открывает дверь своим ключом.

И МЫ ВИДИМ БОЛЬШУЮ ПОЛУПУСТУЮ КОМНАТУ.

На полу в центре комнаты догорает маленький костер.
Вокруг сидят три узбечки. Они одеты в паранджи. И у них маленькие дети.
Узбечки испуганно опускают чачваны.
Женщина успевает заметить: одна старая и две молодые.
Старая узбечка встает, подходит и говорит (по-узбекски; перевод идет в субтитрах):
— А-а, я догадываюсь, кто ты. Я знаю, кто ты. Входи-входи... я знаю, ты хозяйка.
Входи... Ты не пугайся нас. Садись... это последний стул. Мы не сидим на стульях.
Мы сидим на полу... Мы из Азии. Садись же... это же твой дом. Когда мы приехали, ключи дала соседка. Хозяйка к тому времени уже умерла. Садись же... это же твой дом...
Одна русская женщина в Ташкенте дала нам этот адрес. Хозяйка пускала многих жить.
Прости нас, что мы живем без спросу.
Клянусь солнцем и его сиянием, мы ничего не трогали... все положили в шкаф.

Старуха вытаскивает окурок из коробочки.
Закуривает от горячей палки.
Идет в пустой угол комнаты и приседает лицом в угол. Курит.
Кашляет.
СТАРУХА: Милиция не знает, что мы живем здесь. Соседи нас не выдают. Мы прячемся в этот шкаф. И тебе здесь тоже нельзя жить.
Участковый милиционер нас выселит, как только узнает. (Плачет.) Господи, прости мне и тем, кто вошел в мой дом, и не прибавляй для обидчиков ничего, кроме гибели. Когда нашего сына однажды обидчики увезли от нас поздно ночью, мы долго ничего не знали. Одна знакомая русская женщина в Ташкенте дала адрес твоей матери... Сказала: очень хорошая женщина... Сказала: она вам поможет. (Плачет.)...
Одни... Старик не поехал... Совсем заболел и не поехал с нами, женщинами. До станции Арысь все было ничего. Потом пересадка на



поезд. Пришел один жулик, говорит: давайте вещи — донесу! Сволочь! Самаркандский жулик! Сволочь! Мы ему поверили... Что делать?! Денег нет! Вещей нет! Поезд ушел. (Плачет.) Русский не знаем. Начальник станции хороший человек... помог. Кто сделал на вес пылинки добра — увидит его! Кто сделал на вес пылинки зла — увидит его! Бедные мы! Бедные! Нет нам спасения! Когда приехали... город большой... твоя мать умерла. (Плачет.) Соседка пустила. Ключ дала от комнаты. Живите, говорит, тихо. Мы ничего не трогали. Все положили в шкаф. Целый месяц здесь... город большой... ничего не узнали. (Плачет.) Что случилось с сыном? Никогда не узнаем... Мальчик заболел. Дворник ругается! Сволочь! Что делать! Милиционер-участковый ходит! Поймать хочет! Сволочь! Когда сотрясется земля своим сотрясением, в тот день выйдут люди толпами, чтоб им показать их деяния...

Вытаскивает еще один окурок из коробочки. Пытается его закурить. Окурок совсем рассыпается в ее руках.

Обращается к окну:

— Денег нет вернуться назад! Денег нет на хлеб! Бедные мы! Бедные! Нет нам спасения! Говорю себе: не плачь, не плачь! А ноги в тоске заплетаются!

Говорю себе: Почему же страх сжимает мое сердце? Смерть лишь переселение из одного дома в другой.

Говоришь: Жалко! Жалко!

Говорю: Молоко жалко больше! Не плачь, не плачь!

Говорю: В день смерти, когда и меня понесут, не думай, что я буду сожалеть об этом мире.

Говоришь: Это смерть!

Говорю: Могила выглядит темницей, но она освобождает душу!

Во имя Аллаха, милостивого и милосердно-

го! Призываю в свидетели серые сумерки и ночь и все то, что она оживляет! Призываю в свидетели солнце и звезды на небе!

Призываю в свидетели месяц, когда он зарождается, и зарю, когда она начинает алеть!

Призываю в свидетели день Страшного суда и душу, укоряющую себя.

Призываю в свидетели время, начало и конец всего! Ибо человек всегда оказывается в убытке! Аминь...

КУХНЯ В КОММУНАЛЬНОЙ КВАРТИРЕ.

Во время монолога две узбечки помоложе отважились сходить поставить чайник. Вдвоем, прикрывшись чачванами, идут по коридору.

На кухне они осторожно подкрадываются сначала у одному из кухонных столиков. Чужому? Достают из ящика коробок спичек. Одна из них зажигает спичку.

Прижавшись друг к дружке, приближаются к газовой плите.

Одна кладет горящую спичку на край горелки. Другая поворачивает кран газа.

Газ вспыхивает, и обе с воплем приседают. Ставят чайник.

В КОМНАТЕ.

Плачет ребенок. Старуха оборачивается и качает люльку, чтобы замолчал.

Продолжает:

— Когда мы приехали сюда, соседка пожалела нас (плачет), дала ключ, пустила в комнату. Вещи мы не трогали. Все положили в шкаф. Свет дворник выключил. Живем без света. И зачем нам свет? Никто нам не помог. Где искать правду? Ничего не знаем.

Женщина с чемоданом оглядится вокруг.

Встанет со стула. Откроет шкаф.

Попытается найти что-то очень важное.

Ничего из этого хорошего не получится.

Из шкафа начнет вываливаться огромное количество вещей, бумаг.

Все больше и больше.

Наполнять начнет комнату словно водой.

Книги, фотографии, письма...

Заплачет ребенок. Запричитают, засуетятся азиатки.

Женщина растеряна.

А старая узбечка все продолжит и продолжает:

— Клянусь местом заката звезд! Клянусь тем, что вы видите, и тем, чего не видите! Клянусь месяцем и ночью, когда она повертывается, и зарей, когда она показывается! Нет, клянусь днем воскресения и клянусь душой порицающей!

Клянусь посылаемыми поочередно и веющими сильно и распространяющими бурно и разливающими твердо и передающими на-

поминание, извинение или внушение!

Клянусь движущимися обратно, текущими и скрывающимися, и ночью, когда она темнеет, и зарей, когда она дышит! Но нет! Клянусь зарей и ночью, и тем, что она собирает, и луной, когда она полнеет!

Клянусь небом — обладателем башен и днем обещанным и свидетелем и тем, о ком он свидетельствует! Клянусь смоковницей, маслинным деревом, клянусь святой горой Синай и этим городом, что так великолепно безопасен! Клянусь зарей и десятью ночами и четом и нечетом и ночью, когда она движется! Клянусь солнцем и его сиянием и месяцем, когда он за ним следует, и днем, когда он его обнаруживает, и ночью, когда она его покрывает, и небом и тем, что его построило, и землей и тем, что ее распостерло, и всякой душой и тем, что ее устроило и внушило ей распушенность ее и богобоязненность!

Клянусь спустившимся покровом ночи и красотой дня засиявшего! Клянусь утром и ночью, когда она густеет! Клянусь мчашимися, задыхаясь, и выбивающимися искры и падающими на заре!

Клянусь горой! И книгой, начертанной на свитке развернутом!

И домом посещаемым! И кровлей вознесенной и морем вздутым!

Общими усилиями с грехом пополам все запикивается обратно в шкаф.

А старушка как бы успокаивается и обращается опять к женщине:

— Бедные мы! Бедные! И нет нам спасения! Куда идти просить милостыню?

Говорю опять: не плачь! Свидетель время, начало и конец всего — ибо человек всегда оказывается в убытке... Курить очень хочется.

Женщина почти выбегает из комнаты.

Старушка-узбечка — за ней, до самой входной двери.

И уже в дверях женщина, впервые:

— Тебе ничем помочь не могу... Живите сколько нужно. А денег у меня самой нет. Все.

Рвется в сумочке. Достает ключи. Отдает их старушке.

Отдает и начатую пачку папирос.

Спускается по лестнице.

ПОДНИМАЕТСЯ УЖЕ ПО ДРУГОЙ ЛЕСТНИЦЕ.

Звонит в дверь квартиры.

Не отвечают.

Она звонит во второй звонок, третий. Потом во все сразу — а их много.

Наконец, из-за двери голос ребенка:



— Папочки нет дома! Мамочки нет дома!
Все ушли. На работу.

Женщина спрашивает:

— Но, может быть, есть кто-нибудь?

А ребенок:

— Нет никого. Все ушли.

ВТОРАЯ КВАРТИРА.

Тут мы видим обратную сторону двери. За дверью притаились трое: пожилая женщина, старая, но женственная, и двое молодых мужчин, в шляпах и плащах. С двух сторон они держат ее за локти как преступницу.

Старушка и говорит детским голосом:

— Нет... Никого нет дома. Я не могу открыть дверь.

Женщина опять звонит в дверь и продолжает:

— Скажи, пожалуйста, девочка... Или мальчик?

ВЕРА ИВАНОВНА: Мальчик. (Это она скажет встревоженно.)

Мужчины сердятся на нее, считая, что она недостаточно правдиво врет.

ЖЕНЩИНА: Мальчик, как зовут тебя?

ВЕРА ИВАНОВНА: Сережа.

Мужчины бешутся, но отступать некуда.

ЖЕНЩИНА: Сережа! Скажи мне, пожалуйста, а бабушка есть у тебя?

ВЕРА ИВАНОВНА: Нет, бабушка давно умерла!

Мужчины в шляпах изумлены ее ответом. И показывают ей руками, что она окончательно сошла с ума.

ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА.

ЖЕНЩИНА: Как жаль!

Постояла, помолчала, затем произнесла, прощаясь с дверью:

— Как жаль, я надеялась увидеть Веру Ивановну. Как жаль!

Прощай, милый мальчик...

И она стала спускаться по лестнице. Уже внизу она услышала доносящийся сверху голос:

— Это я! Вера Ивановна! Я не узнала тебя, не узнала...

КВАРТИРА.

Женщина входит в квартиру и видит встревоженные и даже испуганные лица.

ВЕРА ИВАНОВНА: Входи же... О, Господи! Ты вернулась... О, невозможно, но ты вернулась...

Старушка бросается обниматься:

— Я рада... Прости нас. Мы думали, что ты — фининспектор.

СТАРШИЙ БРАТ: Почему Вы сразу не сказали, что Вы не фининспектор?

ЖЕНЩИНА: Я не фининспектор.

ВЕРА ИВАНОВНА: Понимаешь ли, мы прячемся от фининспектора. Мы виноваты...

Страшно виноваты... Мы ворует электричество. Да, ты не ослышалась. Подкладываем под счетчик такую шпучку, жучок называется. А сосед, который все в этом деле знает, вышел... Вдруг, звонок. Вынуть жучок некому. Они же дети, ничего не понимают в этом.

Знакомься — это мои сыновья...

И она опять бросается на плечи женщине и плачет:

— Видишь ли, от того, что мы воровали электричество, вышел пожар на кухне — страшно смотреть... Идем.

И она ведет героиню на кухню. Мужчины за ними.

КУХНЯ.

Это действительно обугленная комната, совершенно черная, окна выбиты.

Ветер носит по воздуху сажу и паутину. На полу куча битой посуды.

Она хрустит под ногами.

Все останавливаются в черной комнате и смотрят на женщину. Лица еще не отошли от испуга.

Вдобавок, все, оказывается, вымазаны сажей.

ВЕРА ИВАНОВНА: Это был настоящий пожар! Все сгорело! Все!

Старушка несет в угол и показывает на обугленный, черный комод:

— Узнаешь? Это твой комод. Это был ваш комод... Когда Марья Александровна скончалась, она завещала этот комод мне. Очень хороший комод.

В одной половине мы хранили провиант. Мы его поделили с соседкой.

Соня держала в своем ящике картошку, а я курагу. Очень удобный был комод. Когда входишь, то сразу слева под рукой всегда ящик... нужный...

МЛАДШИЙ БРАТ: Вы же помните, что наша матушка левша, и сразу же, когда входшь на кухню, то прямо с левой руки всегда курага...

Старушка испуганно посмотрела на своих сыновей.

ЖЕНЩИНА: А в нижней половине комода что находилось?

ВЕРА ИВАНОВНА: Понимаешь ли, когда Марья Александровна умерла, то в завещании было сказано, что комод со всем содержимым она передает нам... и... что... если бы ты вернулась... мы... должны были...

ЖЕНЩИНА: Я хочу знать, а в другой половине, что находилось?

СТАРШИЙ БРАТ: Я Вам отвечу! В другой половине находились документы, письма, фотографии Марьи Александровны, Вашей матушки... она завещала их нашей матушке, и в случае, если бы...

ЖЕНЩИНА: Но комод сгорел со всем содержимым.

СТАРШИЙ БРАТ: Позвольте, но почему таким тоном? Ведь загорелся провод, мы Вам рассказывали. Огонь дошел до комода, комод был старый, он вспыхнул, когда нас не было дома...

ВЕРА ИВАНОВНА: Я же тебе говорю... мы...

ЖЕНЩИНА: Я уже слышала, вы воровали электричество.

СТАРШИЙ БРАТ: Да! Мы вставляли жучок, мы просили об этом соседа Василия Василича, и он вставлял. Он это умеет. И мы, как Вы выразились, воровали у государства электроэнергию, и воровали мы это потому, что были вынуждены это делать, так как Вы не знаете всех обстоятельств. Еще не знаете. Мы были вынуждены это делать, так как остались совсем разорены...

Да! Мы были разорены! У нас и без того ограниченный бюджет... И мы вынуждены были воровать, так как...

ВЕРА ИВАНОВНА: Замолчи! Умоляю!

СТАРШИЙ БРАТ: Нет! Отчего же? Обязательно скажу Вам, скажу... Вы обязательно должны узнать все до конца, мы отчитаемся перед Вами. Да! Мы обманывали, переступили через совесть, вставили с помощью соседа нечто, что спасло нас от полного разорения. Видите ли, за год до смерти Вашей матушки мы передали ей пакет денег, завернутых в газету. Тысячу рублей, завернутых в пожелтевшую газету «Правда»... Мы передали его, этот пакет, ровно за год до кончины Вашей матушки, Марьи Александровны, и просили его сохранить. Так у нас

складывались обстоятельства. Я собирался жениться. Откладывал деньги. Откладывал много лет. Невеста сама недостаточно богата. Мы надеялись на сохранение денег у Вашей матушки. А так как порядочность Вашей матушки всем была очевидна, мы и отдали деньги на хранение до срока свадьбы!

И срывающимся голосом продолжил:

— И вот, Ваша матушка скоропостижно умирает. Она оставляет нам в наследство ваш комод с архивом. Но денег мы в нем не находим! Как это понимать? Как быть? И вообще, Вам не кажется, что Вы нам должны эти деньги?

ВЕРА ИВАНОВНА: Замолчи! Это низко! Вера Ивановна бежит в комнаты. Сын — за нею.

За дверь они скандалят.

На кухне остаются женщина с чемоданом и младший брат.

МЛАДШИЙ БРАТ: Деньги они хранили у Марьи Александровны в секрете от меня. Боялись, что выкраду и пропью. Есть такой порок! Но честно Вам скажу, что если б знал, что хранят деньги у Вашей матери, то непременно бы выкрал. И не напиться на год вперед, а вовсе наоборот — сохранить... Чтобы бежать от них. На юг, например. Да и невеста шла за него только лишь из-за денег...

Скандал продолжается совсем рядом.

Слышен голос старшего брата:

— Сейчас же верни ей гребешок! Я требую вернуть гребешок!

И вскоре на кухню врываются Вера Ивановна и ее старший сын.

ВЕРА ИВАНОВНА: Вот, что осталось от Марьи Александровны... Вот возьми.

Она вынимает из волос гребень и протягивает его женщине:

— Вот все, что осталось от Марьи Александровны. (Плачет.) Хотела его сохранить и подарить нашей невестке. Ведь он старинный... и из чистого рога.

Неожиданно ровным голосом продолжает младший брат:

— Из будущего рога моего братца

Старший брат вскрикивает, хватая кастрюлю с супом и замахивается на младшего.

Но мать не вовремя защищает его. И вся кастрюля с супом надевается на голову Веры Ивановны. Голова оказывается в лапше. Женщина бросается и обнимает бедную старушку. Но немая сцена продолжается

недолго. Неожиданно раздается страшный и тревожный звонок.

Все замирают еще на секунду, затем бесшумно несутся к входной двери.

Сквозь слезы Вера Ивановна опять подделывает свой голос под ребенка:

— Но мамочки нет дома! И папочки нет дома! Никого... Никого нет дома.

Только я одна... (Плачет.)

ЗАБРОШЕННЫЙ ДОМ.

Он стоит за длинным дощатым забором.

Вдоль забора идет женщина с чемоданом. В провале забора — сад. И виден дом.

По аллее по колено в сухих листьях женщина идет к дому.

Особняк очень ветхий.

Скрипучая лестница на второй этаж.

Женщина три раза звонит в колокольчик у дверей квартиры.

Наконец голос:

— Открывайте по сильнее! Открывайте по сильнее! Рывком! Рывком!

Женщина попытается по сильнее. Затем сильным рывком на второй-третий раз распахнет дверь.

Видим маленького мальчика. У него течет кровь изо рта.

И ликующая девочка. Ей лет девять.

Женщина понимает, что вырвала зуб мальчику.

ЖЕНЩИНА: Здравствуйтесь, простите, а Катерина Ив...

ДЕВОЧКА: Да-да! Входите же.

ЖЕНЩИНА: О! Простите, я не знала... я не хотела... Простите...

ДЕВОЧКА: Здравствуйтесь, не пугайтесь крови. Пожалуйста, входите!

Девочка пропускает вперед гостью.

Женщина проходит в глубину большой, сильно запущенной комнаты.

ДЕВОЧКА: Я благодарю, несказанно благодарю Вас за зуб. Мы уже мучаемся три дня, и, наконец. Вы... к нам. Все вышло прекрасно. К нам ведь никто не заходит. А Вы, раз два — и зуба нет! Он не будет плакать. Он взрослый! Мог бы и в школу уже ходить.

Проходите-проходите... Да-да, сюда вперед, вперед, здесь чище... Вы с дороги, издалека... я вижу чемодан, ну конечно, догадываюсь. Вы дочь Марьи Александровны... Марья Александровна много о Вас рассказывала... У меня было Ваше фото... Вы меня не помните, я тогда только что родилась и была мала. Александра еще не было... Мой младший брат... Вытри кровь, быстрее же. Пальто, пожалуйста. Вот Катерина Ивановна, бабушка, а попросту баба Катя.

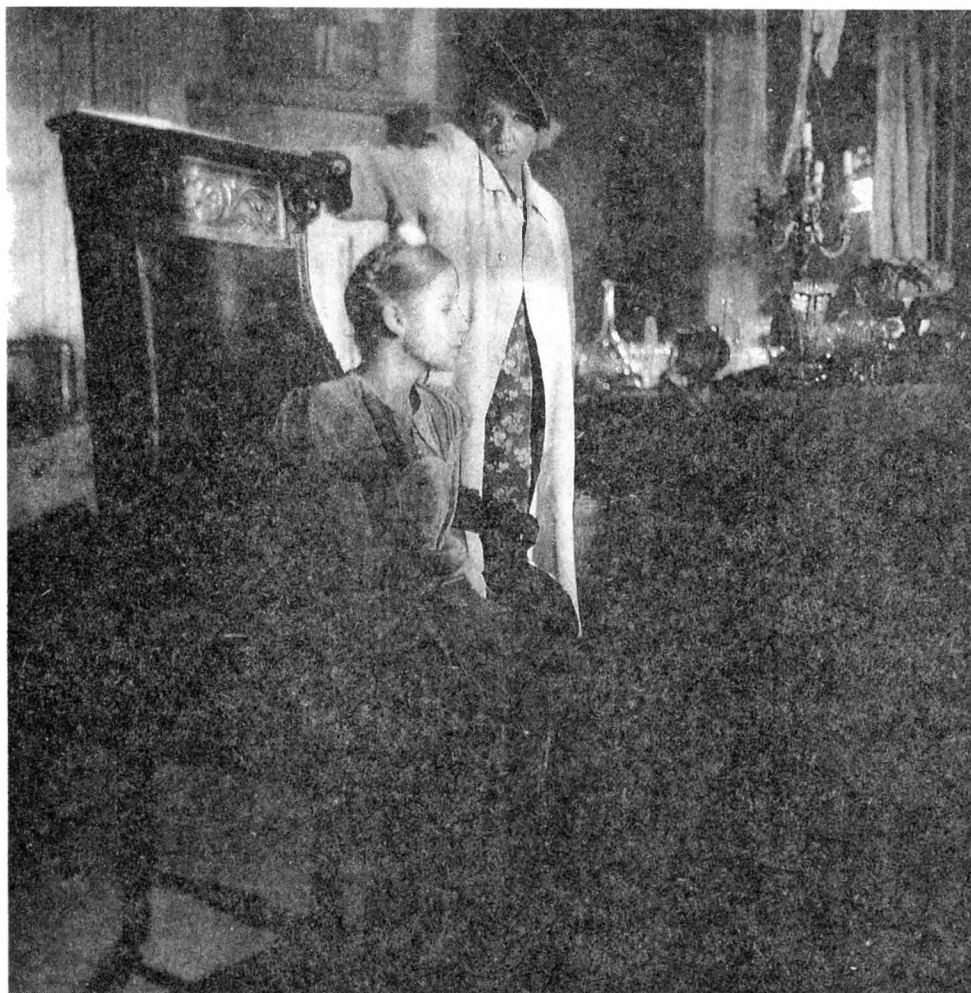


За столом сидит тихая, стриженная «на нет» бабушка.

ДЕВОЧКА: Вы должны помнить ее другой... лучшая подруга Вашей матушки, она была очень красивая. Да-да! Бабушку трудно теперь узнать. Она теперь коротко стрижена. Пожмите ей руку, она ответит на поклон... Но это все, что она... она, понимаете ли, теперь ребенок. Я повзрослела, а она... Диффузия... произошла диффузия... знаете... как в присказке — внучка была мала и спала на печи, а бабка шила, ткала, пряла, пекла на внучку, ну... знаете... много действий... красивые глаголы, не буду перечислять их... а затем бабка стала очень стара и легла на печь, а внучка слезла с печи... Бессмысленно обращаться к бабушке, она безумна... Понимаете ли, когда мы жили в эвакуации на юге, баба Катя пошла за общим пайком... Она получала колбасу за нас всех — за

меня... брата... дедушку... Отец с матерью к тому времени уже были в заключении, их взяли в самом начале войны, я их даже и не помню. Ну, так вот, короче, баба Катя пошла за общим пайком для всех нас и для всего нашего дома. Она была очень голодна. А паек был за всех соседей. Повторяю, а бабушка была очень голодна. Ну, она взяла да и съела ее, всю эту колбасу! И вернулась уже безумной. Ее как бы Бог покарал. С тех пор не говорит. Дело будете иметь со мной! Мари!

Девочка подает руку. Затем приглашает сесть. Садится сама.
ДЕВОЧКА: Зажми рот платком или выпей холодной воды. Ведь льется кровь. Она зажимает рот мальчика полотенцем. Затем обращается через стол к госте: — Вы хотите спросить про дедушку, конечно, я Вас понимаю, но дедушки нет в живых.



Да, он умер. Умер год назад. Чего же здесь удивительного? Дедушка был очень стар... очень... Я повторяю, стар... очень... Он опустился. Он пил последнее время безо всякой меры, как человек, совершенно потерявший здравый смысл и понятие о своем положении. Вы удивитесь еще более, если я Вам скажу больше, чем нужно... Дедушка умер не своей смертью... Дедушку я... отравила. Александр был свидетелем. Он помогал мне... Слушайте, не удивляйтесь, я доверяю Вам. Вы ведь все-таки дочь Марьи Александровны. Я... видела сон. Бесовский сон... (Девочка закрыла глаза.) Мне было сообщено во сне... что если мы убьем дедушку, родители вернуться.. (Здесь она быстро и открыто посмотрела в глаза женщине.) Я взвесила все за и против и... мы убили дедушку...

Женщина вздрогнула и быстро спросила:

— Как же это произошло?

ДЕВОЧКА: Очень просто, по Шекспиру. Мы свернули куль из бумаги, и когда дедушка уснул, мы вставили куль в ухо спящего и высыпали много соли. Дедушка умер. Девочка встала и нервно заходила по комнате.

ДЕВОЧКА: Но родители не вернулись. Весы не сбалансировали в ту сторону, что хотела я. Знаете, наверное, прибаутку, что если взвесить на чашах весов Руанский собор и яблоки Сезанна... неизвестно, что перетянет. Так вот, родители не вернулись! Сон был бесовский. Я стала хозяйкой.

Девочка подходит к окну. Говорит, отвернувшись:

— Брат не ходит в школу... я этого не хочу. Кажется, я Вам говорила уже об этом. Да, из убеждения. Брат ходить в школу не будет, я

тоже... Мы вышли из общества. Думаю, насовсем!

Женщина подходит к ней. Обе смотрят в окно.

Женщина потрясена. Осторожно задает вопрос:

— А что говорила моя мать? Она одобряла твое решение? Я поняла правильно, ты дружила ведь с нею?

ДЕВОЧКА: Да, я дружила с ней первое время. Она влияла на меня, но затем наши убеждения разошлись. Слишком разошлись! Я ушла из-под ее влияния!

Девочка отходит к столу. Берет сигареты.

ДЕВОЧКА: Курите?

ЖЕНЩИНА: Да!.. Спасибо. Как же это произошло? Когда?

ДЕВОЧКА: Незадолго до ее смерти. Когда у Марьи Александровны в огороде поспела белая малина, в начале осени, мы должны были идти в школу. Мы не пошли. Александр должен в первый класс, я в третий. Марья Александровна настаивала. Я была против. Она простояла у нас под окном целый день — я ведь не открывала дверь. Уговаривала — я не открывала. Как всякий порядочный человек, она не донесла на нас.

ЖЕНЩИНА: И вы отделились?

ДЕВОЧКА: Нет, мы отделились раньше. Курите-курите! Сигареты на столе для натюрморта... дедушка оставил. Марья Александровна сказала мне как-то, что жизнь совершается по чьей-то воле, кто-то это с жизнью всего мира и нашими жизнями делает какое-то свое дело. Чтобы иметь надежду понять смысл этой воли, надо прежде всего исполнять ее — делать то, чего от нас хотят. Я с этим не согласилась.

Тогда-то именно я и решила прекратить все.

ЖЕНЩИНА: Постой, постой! Так Марья Александровна сказала тебе, что жизнь совершается по чьей-то воле, что надо исполнять ее и делать то, чего от нас хотят? Это было причиной разрыва? А может быть Марья Александровна была права... Всех нас сажают в лодку, Мари, отталкивают от берега, указывают направление, и человек плывет и плывет с веслом... Может быть, Мари, и права Марья Александровна... Мир так устроен, Мари, каждый должен во что-то верить, каждый обязан хотя бы сначала... пройти школу... Ну, понимаешь ли, Мари, все-все начинают с грамоты...

ДЕВОЧКА: Обязан?

ЖЕНЩИНА: Ну, если хочешь, то да, обязан.

ДЕВОЧКА: Я поняла.

Девочка нервно заходила вокруг стола.

ДЕВОЧКА: Если голодного, полуслеплого,

взяли с перекрестка, привели в крытое место прекрасного заведения, накормили-напоили и заставили двигать вверх и вниз какую-нибудь палку, то очевидно, что прежде, чем разбирать, зачем его взяли, зачем двигать палкой, разумно ли устройство всего заведения, нищему прежде всего нужно двигать палкой. Если он будет двигать палкой, тогда он поймет, что палка эта. Двигает насос, что насос накачивает воду, что вода идет по грядкам...

Женщина смотрит отстраненно в окно.

Вдруг продолжает, как бы про себя:

— Тогда его выведут из крытого колодца и поставят на другое дело, и он будет собирать плоды и войдет в радость господина своего и, переходя от низшего дела к высшему...

Ее внезапно прерывает девочка (с сарказмом):

— Вот-вот! Так же, приблизительно так же и Ваша мать, Марья Александровна. Она говорила, если идти нищему все дальше и дальше понимать устройство всего заведения и участвовать в нем, он никогда и не подумает спрашивать, зачем он здесь, уж никак не станет упрекать хозяина.

Женщина смотрит на унылый осенний пейзаж. В забвении продолжает:

— А потом... потом они устают... (Здесь она спохватывается.) Я не то, не то... не то хотела сказать.

Тут она видит перед собой девочку. Девочка держит в руке зажженную сигарету. Умело затягивается. Выпускает дым. Опирается рукой об стол.

ДЕВОЧКА: Вижу... А мы вот, мудрецы.

Хотим есть хозяйское, а делать не делаем того, чего от нас хочет хозяин, и вместо подчинения сели в кружок и рассуждаем, зачем это двигать палкой? Это глупо! Вот и додумались до того, что хозяин глуп или его не должно быть над нами, потому как мы умны и лучше других, но без воли никуда не годимся, и надо нам как-нибудь самим от себя избавиться!

Женщина возбуждена, потрясена — то ли видом девочки, то ли словами ее. Кричит: — Замолчи, девочка!

Девочка гасит сигарету.

ДЕВОЧКА: Не хочу! Один, мне незнакомый мужчина, но, кажется, бывший друг Вашей матери... он так же, как и я, отошел от нее... так вот, этот человек, со всей своей семьей, а у него были дети, засел в подпол своего дома и сидел много лет, и когда их обнару-

жили, этого мужчину арестовали, конечно, а дети его почти ослепли, и когда они увидели свет Божий, он и ослепил их, они ничего не понимали... и как слепцы...

Девочка подходит к окну и заворачивается в штору.

ДЕВОЧКА: Живо себе представляю... эти выходящие из-под пола бледные лица... отсыревшие платья... пальцы, почти осязающие воздух, прозрачный весенний воздух... слезящиеся глаза... Так могли бы и мы... Я к этому приближаюсь. Мы спрячемся от всех... Мальчик забудет сверстников... Их игры... Я докажу...

Девочка опускается лбом на подоконник. Женщина гладит ее по голове.

ЖЕНЩИНА: Ты больна, Мари, все в тебе болезненно... Может, жар... Девочка...

Девочка говорит, не поднимая головы, хрипло и тихо:

— А что если больной, засевший на всю жизнь в темный подпол, огадивший этот подпол и воображающий, что он погибнет, если выйдет наружу, спросит себя, что такое жизнь? Очевидно, он не мог бы получить на вопрос, что такое жизнь, другого ответа, как тот, что жизнь есть величайшее зло.

ЖЕНЩИНА (напряженно): И ответ больного был бы совершенно правилен, но для него только, сумасшедшего!

Девочка резко поворачивается.

ДЕВОЧКА: А что как я такая же сумасшедшая?

ЖЕНЩИНА (испуганно): Я не знаю, может быть.

ДЕВОЧКА (возбужденно, открыв широко глаза): Ну же, дальше! Что ты этим хотела сказать?

ЖЕНЩИНА: Ты говоришь мне ты?!

ДЕВОЧКА: Ну, что же, дальше! Что ты хотела сказать?

ЖЕНЩИНА: Я не знаю... Мари... Но тебе нужно отдохнуть... Ты больна?! Ты должна замолчать, Мари... ты...

Девочка вскочила на диван.

ДЕВОЧКА: Говори, говори дальше! Может, положить в больницу и замолчать! Что делают с сумасшедшими, а-а?!

ЖЕНЩИНА (раздражаясь): Замолчи, Мари! Я ведь ничего... Ты сама, сама ведешь эту речь... У тебя жар... и ты больна...

ДЕВОЧКА (почти кричит): Ты все сказала! Я отлично тебя поняла! Ты такая же, как все! И твоя мать не была святой!

ЖЕНЩИНА (не сдержавшись): Бездушная! Замолчи!

Старуха с мальчиком прячутся за столом.

Девочка кричит:

— Да! Она не была святой! Не буду молчать!

Женщина подбегает к дивану. Хватает девочку за руки.

ЖЕНЩИНА: Ты не смеешь! Ты безумная! Ты должна подчиниться мне!

Девочка отталкивает ее и спрыгивает с дивана.

— Я подчиняюсь высшим инструкциям!

ЖЕНЩИНА: Хотела бы я знать, что это за высшие инструкции у безумной?

Девочка наступает на женщину. На глазах у нее появляются слезы.

ДЕВОЧКА: Кабы на каплю в эту минуту ты была умнее или если бы ты была леди, ты не посмела бы говорить мне это! Я, конечно же, расскажу о смерти твоей матери! Ха-ха-ха! Она не была святой! Слушай же...

Девочка продолжает наступать на женщину. Говорит шепотом и агрессивно:

— Однажды она долго не приходила...

ЖЕНЩИНА (испуганно): Кто не приходила?

ДЕВОЧКА: Однажды Марья Александровна долго не приходила. Когда я сама пошла к ней, она не отвечала за дверь. Я сама взломала замок и пробралась к ней в комнату. Она лежала мертвая в своей постели, пятый день, никому не нужная, одинокая старуха! И ни одна душа, и ни одна душа не пришла к ней в комнату! Я первая обнаружила ее мертвой! Я подкралась к ее постели и почувствовала, что от нее воняет!

Женщина, не выдерживая больше натиска, бьет девочку по лицу. Кричит:

— Замолчи!

Девочка, рыдая, тоже кричит:

— От нее пахло! Она не была святой!

Она падает на пол. Рыдает.

Напуганная, растерянная женщина кидается к ней. Прижимает ее к себе.

ДЕВОЧКА (сквозь рыдания): Я помешалась... Я так надеялась... Я верила в святость твоей матери...

Все рухнуло... Я верила в нее... верила, что она святая...

ЖЕНЩИНА: Ты устала.

ДЕВОЧКА (плачет): Все рухнуло... Я устала... Я очень устала... Ты ведь мне поможешь... Я задолжала всем деньги... Я давно не плачу за квартиру... У нас отключен свет... Я всем задолжала... Я спускаю квитки в унитаз... Мы давно живем в темноте... Спаси... Я устала...

Все рухнуло. Я надеялась... я верила ей... я

еще надеялась... Это было последнее... Все рухнуло... (Тут же, как бы отряхнувшись, в сторону мальчика и старухи.) Где вы взяли чай, если не было?

МАЛЬЧИК: У соседней одолжили.

ДЕВОЧКА (рыдая): Не смей больше просить чаю без спросу! Не смей!

Женщина гладит девочку по плечу.

ЖЕНЩИНА: Ты успокойся, ты сейчас успокойся. Ты оденешься, и вместе пойдем на улицу, милая, хорошая девочка. Мы пойдем, и ты покажешь мне дорогу на кладбище. Я ничего не знаю о Марье Александровне. Ты мне покажешь? А? Женщина поднимается с пола. Протягивает руку девочке.

ДЕВОЧКА: Я успокоюсь, успокоюсь. Сейчас... Сейчас... Дайте поцелую ручку... Сейчас успокоюсь... Возьму шляпку, оденусь и провожу Вас. Вы должны мне простить...

Девочка несетя к шкафу. Хватает пальто, шляпку, муфту. Возбужденно собирается. Носится из одного угла в другой. И уже у самой входной двери, когда они вместе заглядывают в зеркало, девочка улыбается. Поворачивается лицом к женщине. Тихо тихо говорит:

— Хотела Вам ручку поцеловать, да передумала! Не поцелую... и дорогу на кладбище не покажу... потому что... потому что я... маленькая! Я... все придумала! (Восторженно.) Вам понравилось?

И захлопнула дверь квартиры.

Женщина ошеломлена.

Затем бьется в закрытую дверь.

ЖЕНЩИНА: Открой мне! Открой же, умоляю, добрая, хорошая! Открой, умная, добрая, хорошая девочка! Открой! Видишь, я умоляю тебя, плачу, открой! Скажи, где же похоронили мою мать?! Ведь похоронена же она где-то... (Плачет.) Открой! Открой, девчонка, дверь! Открой, злая девчонка! Мне больше негде и не у кого узнать, а? Я ведь тебе поверила! Мари!

Дверь неожиданно приоткрывается на цепочку. В проеме девочка. Таинственно шепчет:

— Итак, Вы заходите на Ивановское кладбище с переулка... в калитку... Вы увидите ее, замшелую, увитую плющом или еще чем-то. Когда откроете, не пугайтесь. На кладбище живет большая черная собака. Довольно добродушная. Откликается на имя Каплан. Она ответит... Ступайте за нею... на северо-восток... Слева будет усыпальница князей. Вы резко сворачиваете в узенькую улочку между влюбленным гимназистом и дориче-

ской колонной. Улочка сузится в тропинку... тропинку достаточно вертлявую и тесную... мимо цыганского островка... далее... далее... Справа будет нечто готическое, серое, высокое, и если стать к нему спиной... к готике, то прямо увидите куст шиповника, на краю огорода... а рядом... холмик... на нем должна прорасти луковица, это я посадила.

Девочка захлопывает дверь.

Женщина с чемоданом сбегает вниз по лестнице.

ЦЕХ ИНВАЛИДОВ.

В большой пустой комнате в ряд стоят несколько строчечных машин. За ними сидят инвалиды-мужчины и строчат. Длинные полотнища, похожие на паруса. Эти длинные полотнища быстро сползают на пол.

Сминаются в волны. Растут на глазах. Наступают на нас.

Женщина с чемоданом борется с этими волнами.

Пытается пройти. Пытается спросить кого-то. Все-таки проходит. Поперек волн.

Входит в соседнюю комнату.

СМЕЖНАЯ КАМОРКА.

В комнатухе железная кровать, тумбочка. Целая баррикада бутылок.

Пройти к кровати можно только по тропке среди бутылок. Инвалид, старый, полуслепой Михаил Абрамович, лежит на кровати. Не то болен, не то пьян. Спит, что ли?

В ногах спит пьяненький его друг, тоже старик.

ЖЕНЩИНА: Михаил Абрамович, а Михаил Абрамович! Узнаёте меня? Я — дочь Марьи Александровны. Я вернулась... ничего не знаю... ничего не узнала...

Старик не спал.

СТАРИК: А! Вернулась! А Марья Александровна умерла! Уж год как... А ты вернулась! (Тормошит второго старика.) Смотри! Кузьма! Кузьма Петрович! Смотри, кто пришел! Давай не спи. Дочь Марьи Александровны! Вернулась.

2-й СТАРИК: А? Кто? Это которой деньгами должны? Я, я деньги украл... Стыд... У Маши...

СТАРИК: Помолчи, Кузьма Петрович. Держи себя достойно. Знать не хочу твоих волнений. Имеешь дух напиваться, так держи себя достойно.

ЖЕНЩИНА: Михаил Абрамович... я... ничего не знаю...

СТАРИК: Дай вспомнить... прошлой осенью в последний раз посетила Марья Александровна меня, добрая старушка... И мы, как всегда, говорили душа в душу о самых



важных предметах... Я не подозревал, что она стояла уже одной ногой по ту сторону, хотя чувствовал в ней слабость жизненную.

2-й СТАРИК. Это которая, каторжанка что ли? У, беда, беда...

СТАРИК: Что, Кузьма Петрович, молчи пока. В октябре, в самом начале, вдруг получаю записку: «Марья Александровна скончалась. Ждем Вас и распоряжений». Подпись было не разобрать. Все сказали: как бы детским почерком, не разобрали.

2-й СТАРИК: Я вор... Я это тебе не открыл... Свинья и подлец...

СТАРИК: Дай сказать, не путай... Пришел, а ее учреждение забрало в... больницу... пятый день шел... Пришел в больницу эту... Они не отдадут... Спрашивают, кто я ей?

2-й СТАРИК: Сходим вдвоем, поклонимся, а? Деньги я отдам. Попросим прощенья, а? СТАРИК: Я сказал, что я ей никто, просто хочу похоронить покойницу. Идите, говорят,

в ее учреждение, если они вам разрешат, мы вам ее отдадим.

2-й СТАРИК: Вот встанем... Пойдем в баню... Будем людьми... Будем работать... Не воры...

СТАРИК: Молчи, мешаешь. Я пришел в учреждение и сказал, что хочу похоронить ее по-христиански, и не на вашем Стрелковом кладбище, а на нашем, Ивановском, где у нее огород был. Они спросили, кто я такой — это везде спрашивали. Я сказал, что никто. Тогда они ушли, посоветовались и сказали, что делайте, что хотите, но от учреждения никого на отпевании не будет. Я сказал, что мы это переживем.

Потом сказали, что помощи тоже не будет. Я сказал, что мы это тоже переживем.

2-й СТАРИК: Пойдем поклонимся... Работать буду... Много мы с тобой наработаем...

Плакать не буду... Поеду в деревню...

СТАРИК: Ее положили в некрашенный гроб



и опустили в могилу, у края огорода, над которым столько лет трудилась милая старушка. Тело засыпали землей, все несколько минут постояли с непокрытыми головами над холмиком. День был пасмурный, но потом вышло солнце. Кузьма Петрович тогда слово сказал, не помню...

Второй старик, пьяница, совсем как бы отошел и произнес с выражением, как будто стих читает:

— Прощай, милая сестра! Дай Бог всем нам прожить так, как прожила ты!..

СТАРИК: Вот если бы слова Кузьмы Петровича могли бы исполниться, и все мы хоть немного приблизились бы в своей жизни к ее жизни, то много радости и счастья прибавилось бы... между людьми... Вот и вся история Марьи Александровны...

2-й СТАРИК: Что за душа добрая... Я у ней все лето на огороде в шалаше жил... Дай Бог ей...

ЖЕНЩИНА. Хотела спросить еще вот: фото у Вас никакого не осталось? На память...

СТАРИК: Подожди! Как же, есть! Что-то осталось... Вот... только это.

Старик достает из тумбочки рентгеновский снимок легких.

СТАРИК: Другого ничего не осталось, только это.

Создалась пауза.

ЖЕНЩИНА: Михаил Абрамович, а что, ты в Бога веришь?

СТАРИК: Нет, я в Бога не верю. Я в химию верю... (Ко второму старику.) Вставай, вставай, Кузьма Петрович, пойдем, проводим к старушке Марье Александровне... (К женщине.) У Кузьмы Петровича собака-поводырь. Умная такая собачка... Одноглазкой зовут... Мы проводим...

2-й СТАРИК: Одноглаз! Одноглаз! (Шарит рукой у кровати.) Куда делся? Одноглаз!



ДОРОГА НА КЛАДБИЩЕ. ДЕНЬ. ВЕТЕРОК.
По тротуару, ближе к домам, идут Михаил
Абрамович и его друг-фронтовик с собакой.
Беспородной и маленькой.

Оба старика в шляпах. Оба в темных очках.
Идут обнявшись. Оба в галстуках, каких-то
старых макинтошах, у обоих неверно, косо,
застегнутых — ошибка на две пуговицы.
Рядом спешит женщина с чемоданом.

2-й СТАРИК: Святой человек... труженица...
не обидит мужика... Шампанское дарила по
праздникам... Нароботаем... Отдадим, уви-
дишь...

СТАРИК: Понимаешь ли, мы Марье Алек-
сандровне денег были должны. Всё тянули...
Не было... А потом уж, когда в одночасье
все случилось... не успели... Но мы отдадим,
вот скоро уже...

Собака подводит всех к какой-то маленькой
калитке.

Калитка увита плющом или еще чем-то.
Ветер треплет листву.

2-й СТАРИК: Вот увидишь, собаку прода-
дим, а денег отдадим... Не воры... Прости
нас...

СТАРИК: Вот!

Женщина открывает эту запущенную калит-
ку. В ее проеме большое кладбище.
В перспективе, в тумане, бегают большая
черная собака и играет с мячом. Одноглазка
тут же забирается на руки к хозяину.

2-й СТАРИК: Ой, закрой быстрее калитку!
Там Каплан. Наша Одноглазка боится
Каплана. Пристает к ней, покрыть хочет. Не
пойдем дальше, наверное...

Женщина закрывает калитку.

2-й СТАРИК: Каплан эсерка известная... В
вождя стреляла.

У-у злющая была. В ее честь...

СТАРИК: Ну, ты зайдешь туда сама... Най-
дешь дорогу, собака ответит... Пойдешь по



тропинке. Кусты раздвинь и увидишь. Узкая такая. Один раз налево. Упрешься в склеп, потом еще раз налево, потом направо... Совсем петлять начнешь... Упрешься в колонну, старинная, развалившаяся... Обойди — и прямо, прямо. Возле огородов будет ручей журчать... Тут же и будет Марья Александровна. Рядом плита, похожая на кушетку... Удобно посидеть. А на холмике что-то выросло... Может, тюльпан, что ли...

Они простились.
Замшелая калитка снова открывается.

КЛАДБИЩЕ. ДЕНЬ. ОБЛАКА НА НЕБЕ.
Женщина с чемоданом входит в калитку. Тотчас вышло солнце. Огромные деревья гуляют и шумят на ветру.
Кладбище оказалось садом.
Тропинка сразу же зарастает кустами и крапивой. Их нужно раздвинуть, чтобы пройти вперед.

«На кладбище живет большая черная собака... Довольно добродушная... Откликается на имя Каплан...»

ЖЕНЩИНА: Каплан! Каплан!

Голос женщины звучит глухо. Деревья шумят непрерывно.
Собака стремглав примчалась. Поставила свои лапы на плечи женщины.

ЖЕНЩИНА: Каплан! Отведи, пожалуйста!

И собака пошла. Наша героиня за нею.
«Слева будет усыпальница князей». Женщина резко сворачивает за собакой в узенькую улочку.

«Между влюбленным гимназистом и дорической колонной».

Затем улочка суживается совсем в тропинку, довольно вертлявую и тесную.

Собака шуршит кустами, оглядывается, не потерялась ли женщина. Все далее... далее...



«Справа будет нечто готическое, серое, высокое, и если встать к нему спиной...» Но собака уже за кустом шиповника... на краю огорода... холмик... да! да!... женщина видит — проросшая луковица...

«Это я посадила».

И женщина с чемоданом перелезла через какую-то ограду и, наконец, нашла, что искала.

Рядом с холмиком оказалась плита, старая, добротная и вообще очень похожая на кушетку... можно посидеть...

Женщина садится на плиту.

Вдоль всего огорода течет ручей.

Напротив — колонна с разрушенной капителю.

Женщина очень устала за день. Недолго думая, она ложится на плиту.

Кладет зачитанную книгу под голову.

Засыпая, она следит глазами за маленькими ящерками, которые, вспыхивая, появляются в солнечных пятнах на колонне.

Видит их замешательство, когда вдруг от порыва ветра солнечные пятна начинают носиться по камням.

Монотонное журчанье ручья, шум деревьев, звуки насекомых и птиц сливаются вместе. Ветер перелистывает страницы выпавшей из-под головы книги.

Женщина, уютно свернувшись, спит на каменной плите.

Чемодан, перевязанный веревкой, лежит в ногах.

Рядом примостилась дикая черная собака.

Издалека слышны глухие голоса. Можно понять, что это голоса детей.

Собака приподнимает голову. Прислушивается. Идет к ним.

ПОХОРОНЫ.

Издалека мы видим сцену. Группа мальчиков-школьников с фуражками в руках, плотно сомкнувшись, стоит возле могилы.

Взрослый, может быть учитель, произносит траурную речь.

Двое мальчиков, чтобы лучше все разглядеть, забрались на дерево.

Сидят на висячем суку.

Траурная речь закончилась. Яму стали закапывать. Некоторые мальчики заплакали. Те, что были на дереве, сорвались и чуть было не упали.

Собака, насмотревшись, вернулась обратно. Принесла к ногам женщины свой порванный мяч.

ЖЕНЩИНА СПИТ НА КАМЕННОЙ ПЛИТЕ. Светит последнее осеннее солнце. Словом, покой.

Где-то неподалеку с дерева упал плод.

Может, яблоко...

Слышны приближающиеся голоса детей.

Это с похорон возвращаются школьники.

Они строем идут по тропе.

Маленький мальчик отстал от процессии. Он горько плачет в руках.

Сквозь высокую крапиву видит бездомную собаку.

На мгновение успокаивается, поднимает камень. Швыряет его в собаку.

Однако тут же спохватывается, опять горько плачет. Догоняет остальных мальчиков.

Камень попадает в женщину.

Она просыпается. Тревожно оглядывается.

Собака ластится к ней. Женщина успокаивается. Снимает перчатку. Гладит собаку и прислушивается к голосам.

Запритал высокий голос:

— Не хочу шляпу! Не хочу шляпу!

Голос помолоче бормочет:

— Успокойтесь, Федор Петрович! Успокойтесь, ведь Вы же капитан, мужественный человек обязан переносить.

— Ничего я не обязан! Ничего... не обязан...

Мой мальчик! Мой мальчик! Как же я его брошу, моего мальчика!

И человек побежал назад.

Другие голоса прокричали вслед:

— Цветы помяли!

— Вот! Цветы только помяли!

Затем послышался топот многих бегущих ног.

И совсем рядом, за кустом шиповника, женщина услышала остановившихся подростков. Один спросил:

— Как ты думаешь, приходите нам сегодня вечером? Ведь папаша напьется!

Ответ был:

— Может, и напьется.

— Там у них теперь хозяйка стол накрывает... Это поминки, что ли, будут... возвра-

щаться нам туда или нет?

— Непременно!

— А вдруг и поп придет?

Спустя какое-то время вдруг один из подростков произнес:

— Странно все это, горе такое, и вдруг какие-то блины, как это все неестественно по религии!

Один мальчик громко заметил:

— У них там и икра будет.

Раздраженный голос отчитал его:

— Я Вас серьезно прошу, Десяткин, не вмешиваться больше с Вашими глупостями, особенно когда с Вами старшие не говорят и не хотят даже знать, есть ли Вы вообще на свете!

— Пошли! Пошли! Хватит ссориться. Вон папаша бежит... Опять плачет... Все цветы измял...

И голоса стали отдаляться.

Уже вечер. Темнеет.

Опять падает плод, сорвавшись с дерева.

Наверное, яблоко... Поднимается ветер.

Замолкают птицы. Становится пасмурно и холодно.

Женщина поднимается с камня-кушетки.

Снимает с руки маленькое кольцо. Как-то незаметно шепчет что-то. Прячет кольцо под проросшей луковицей на холмике.

Она возвращается той же дорогой, что и пришла. Впереди — собака. Куст шиповника... за ним нечто готическое... далее, далее...

Цыганский островок... греческая колонна...

влюбленный гимназист... князя...

Прощается с собакой.

Закрывает за собой калитку, замшелую, увитую плющом или еще чем-то.

ОПЯТЬ ГОРОД. ВЕЧЕР.

Женщина с чемоданом идет по улице.

Ветер усиливается.

Он заставляет ее покрепче застегнуться.

На повороте улицы видит двух цыганок. Как две зверюшки.

Они молча преследуют ее. Идут и идут.

В руках у них по маленькому вееру, и они истерически ими обмахиваются.

Женщина спешит. Спешат и они!

Женщина прибавляет шаг. Они — также.

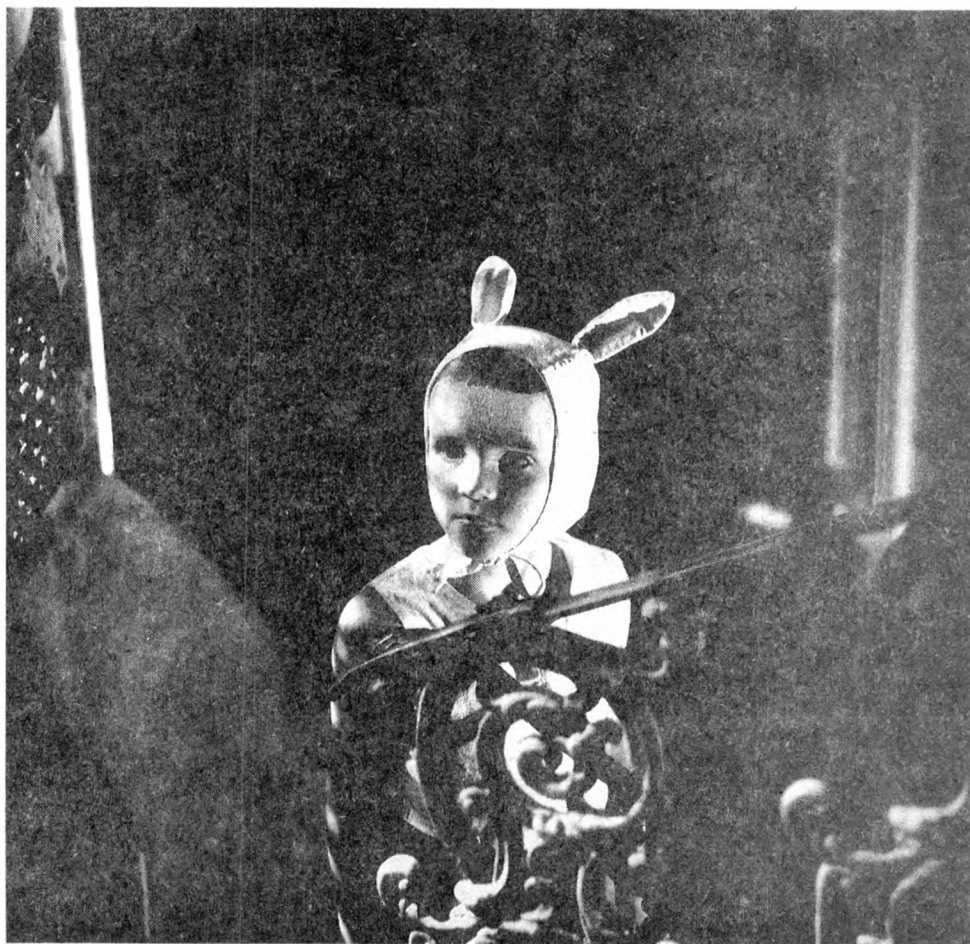
И веерами все помахивают.

На следующем повороте выезжает цыган на телеге. Присоединяется к тем двум.

Женщина спешит. А они все рядом, все ближе. И веерами все чаще, все чаще.

Она не выдерживает и поворачивается к ним.

Они остановились также.



Женщина вытаскивает из кармана пустой кошелек. Швыряет им в цыганок. Они молча ловят его.

Зло смеются. Бросают в ответ прямо в женщину цветок.

Она ловит его...

На том и расходятся...

Вот на каком-то мосту ее застиг сильный ураган.

Такой, что она вынуждена была уже держаться за свою шляпу, спасать ее от ветра.

И держаться за перила этого маленького моста.

Уж не знаю, как долго продолжался этот ветер.

Вдруг она видит, что на другой стороне моста точно так же держится за шляпу и за перила старушонка.

У нее какая-то авоська с продуктами. И она очень старенькая.

Шляпку ну прямо вот-вот сорвет сейчас ветер.

Потом ветер вдруг взял и понес их навстречу друг другу.

Они вцепились друг в дружку, обнялись.

Противостояли так стихии, довольно долго.

А потом ветер так же их и разнес.

Она едва-едва успела обернуться. Увидела, что старушка была ей страшно благодарна за то, что она поддержала ее.

Идет дальше.

Вдруг у перил следующего моста или, может быть, набережной она видит мальчика.

От ветра он вцепился в перила.

Одет он так, как обычно одевают мальчиков в детских садах в важные праздники: на голове фланелевый белый капор с ушами как у зайца. Белая рубашка. На рубашке фланелевый же лифчик. От него идут висячие резинки, потом чулки. Ботинки. Галоши. Но на нем нет верхнего платья. Она вроде бы хочет уже помочь ему. Ветер уж больно сильный.

А он — раз! — и отлетел от нее.

Тогда она начинает за ним спешить. А он ее

вроде бы даже боится.

Странным начинает казаться, что же такое?

Ее боится маленький мальчик с заячьими ушами, у которого нет пальто и который, может быть, заблудился.

Он убегает, убегает от нее.

В одну подворотню. В другую.

Он даже, более того, завел ее в какие-то разрушенные дома.

Это же послевоенное время. Какой-то гигантский дом стоит с пустыми окнами.

Там она побегала по этой как бы стройке.

Видит его мелькание вдалеке...

В конце концов он заманил ее в такое непонятное место в городе, такое темное!

Она уж стала озираться по сторонам.

Увидела, наконец, его под каким-то фонарем, под столбом.

Побежала туда...

Он там упал...

Что-то звякнуло железное, и он исчез...

Она подняла.

Это деньги. Может быть, нужные ему...

Посмотрела по сторонам, чтобы окликнуть его. Никого не увидела. Видит только

маленький паршивый кинотеатр.

На крыше его и вокруг входа мигают

лампочки на старинный манер.

В освещенном окошке кассирша пальцем

зазывает ее.

Женщина с чемоданом подходит, чтобы

купить билет.

Тут сзади к ней подходит какой-то странный

человек и говорит, приподнимая шляпу:

— Добрый вечер!

Она оборачивается.

А у него кровь льется из-под шляпы. Ни

дать ни взять — пьяница подзаборный. Но —

макинтош. Он продолжает:

— Вы крайняя?

ЖЕНЩИНА: Да.

Срочно покупает билет на деньги мальчика.

И быстрее в кинотеатр.

В КИНО.

Там уже полная темнота.

Капельдинерша взяла ее чемодан, повела по

какому-то коридору и запихнула ее под

черную занавеску. Фонариком стала освещать

движение к какому-то месту.

Посадила ее.

Среди каких-то людей, сидит в темноте.

Ничего не разглядеть.

Тут подходит мороженщица и продает ей

мороженое.

Пока она искала копейки, за нее кто-то и

расплатился.

Мороженщица ей осветила его. Это молодой

человек.

А потом она осветила ее, чтобы она увидела,

что за мороженое она ест.

Точно такое же, наверное, что было у

военного в начале этой истории.

Фильм идет вовсю, потому что пришла-то

она уже после начала.

Так как она опоздала, она не может понять,

что за лента.

ОКАЗЫВАЕТСЯ, ЭТО НЕМОЙ ФИЛЬМ

ДВАДЦАТЫХ ГОДОВ.

По городу, солнечному и старинному, идет

женщина.

У нее в руке большой чемодан, перевязан-

ный веревкой.

Она в шляпе, осеннем пальто.

Останавливается прямо перед камерой.

Утирает пот со лба.

ТИТР: Это Наташа. Она идет издалека.

ТИТР: Ей хочется пить. Она устала.

Большая река. Наташа идет вдоль реки.

Рука гладит парапет из гранита.

Наташа оглядывается по сторонам, осторож-

но спускается по ступенькам к воде. Еще

раз оглядывается и пьет речную воду.

Сидит на берегу.

ТИТР: Совсем одна. Что делать?

Две женщины, молодые и хорошо одетые,

бросают камни в воду — кто дальше и

ловчее.

Наташа заинтересовалась. Рука, поднимаю-

щая камень.

Наташа подходит к девушкам, разбегается и

швыряет камень. Очень ловко.

Все восхищены.

Одна из группки хватает еще один камень и

тоже зашвырявает очень далеко и ловко.

Все ликуют и по очереди швыряют камни.

Девушки дарят Наташе яблоко и уходят

обнявшись.

Наташа пошла дальше по улице.

Потом садится на камень, прислонясь в

тени. Выставляет из кармана яблоко на

первую попавшуюся приступочку.

И тут яблоко вдруг уехало. Откатилась фура,

а на ее подножке — одинокое яблоко.

Наташа вскакивает от неожиданности,

бросается вдогонку. Но уж поздно.

ТИТР: Ах, как я голодна.

ТИТР: У меня совсем нет денег.

По улице идет черный кот. Приближается к

нам.

На углу улицы стоит Наташа с чемоданом.

Кот к ней подходит.

Он слишком большой. Она его боится.

Кот ластится к Наташе. Она его гладит.

ТИТР: Мне самой нечего есть. Мне нечего

тебе дать.

Кот ведет Наташу по городу. Они сворачива-

ют за угол.

Кот подводит Наташу к воротам фабрики.



Наташа видит объявление.
Объявление: Срочно требуются статисты на кинофабрику. Стучать три раза.

Наташа оглядывается. Хочет благодарить кота. А он уж был таков.
Рука стучит три раза. Потом еще и еще.
Наташа от усталости падает в обморок.
Лежит у входа в кинофабрику. Открывается калитка в воротах. Выходит человек в костюме Демона.
Видит женщину в обмороке. Зовет других, они выходят. Там и негритянка, и режиссер, и известная артистка...
Все смотрят на Наташу с интересом. Помогают занести потерявшую сознание Наташу во двор кинофабрики. Калитка закрывается.
ТИТР: Наташа попала на киносьемку.

Наташа лежит в шезлонге. Над нею склонился элегантный мужчина.
Будит ее. Склонился над нею и что-то

говорит. Она просыпается.
Встает. Отвечает.
Мужчина что-то говорит ей и одновременно заинтересовался виноградом, украшающим шляпу Наташи. Даже пробует его на вкус.
Подходит еще один.
Двое мужчин о чем-то переговариваются, таинственно смотрят на Наташу.
И съедают весь виноград с ее шляпы!
ТИТР: Вы получаете роль, Вы будете царевной.
ТИТР: Царевной-Лебедью!
ТИТР: У Вас будут деньги!

Из-за большого камня выходит известная артистка в костюме царевны.
Затем выходит еще одна в таком же костюме. Третьей выходит Наташа.
И на ней тот же костюм.
Идут среди огромных валунов к воде.
Садятся каждая в свою лодку.



Темное северное озеро.
Переговариваются две артистки между собой, шепчутся.
Режиссер шепчет на ухо Наташе.
Она грустно его слушает.
ТИТР: Если Вы обгоните их, то выиграете.
ТИТР: Но если нет...

Смеющиеся режиссер и ассистенты.
Царевны сидят в лодках. Потом гребут по команде.
Режиссер подгоняет их.
ТИТР: Быстрее! Напрячь все мускулы. Догонять ее! Эту!

Гребут. Выстраиваются, словно в спорте, в линию.
Несутся лодки царевен все быстрее и быстрее.
Что есть сил, Наташа гребет.
Артистки начинают догонять Наташу.

Перепуганная женщина-лебедь понимает, что это ловушка.
Наташа кричит и гребет из последних сил.
А они уже рвут перья из крыльев.
КИНОТЕАТР.
Лицо женщины в кинотеатре:
— Черт! Что за чертовщина! Зачем!

ФИЛЬМ.
Наташа защищается. Пытается вырваться.
Впереди бурлит вода. Водопад!
Но здесь фильм прерывается. Пленка застревает в кадре, косо.
Видна перфорация. Затем пустой экран.

КИНОТЕАТР.
В зале зажгли свет. Почти пусто. Кто-то свистит.
Надо сказать, что тут наша героиня даст волю чувствам.



Фильм захватил ее, и она хочет продолжения.

Она кричит:

— САПОЖНИК! САПОЖНИК!!!

Гаснет свет. Женщина с трудом успокаивается. Усаживается поудобнее и смотрит дальше немой фильм.

ФИЛЬМ.

Мы видим Наташу опять в ее прежней одежде. Шляпа, пальто, туфли, чемодан. Она опять идет по пустырю на окраине южного города. Вдали заводские трубы.

Вытаскивает кошелек. В нем есть деньги.

Пробует монету на зуб.

Довольная идет дальше.

За нею бежит толпа мальчишек. Но отстают.

Вдали идет поезд. Наташа идет по шпалам железной дороги.

Наташа оглядывается тревожно.

Мчится поезд. Скоро он будет здесь. Наташина нога зажата стрелкой рельса. Наташа пытается выдернуть ногу. Она в ужасе.

Нога дергается, зажата. Тщетно.

ТИТР: Невозможно!

Несется поезд.

Из-за холма бежит офицер на помощь Наташе. Она пытается помочь.

Не удается.

Неожиданно он стаскивает с себя шинель и набрасывает ее на Наташу.

А сам отбегает в сторону. Отворачивается.

КИНОТЕАТР.

Женщина в зале кинотеатра кричит.

Зажигается свет. Женщина свистит, как и все мальчишки в зале.

Гаснет свет.



ФИЛЬМ.

Идет как бы повторение предыдущего эпизода. Но все другое.

Наташа опять спускается с пологого холма и идет по шпалам железной дороги.

Мчится поезд.

Наташа успевает сбежать с пути. Поезд пронесется мимо.

Наташа пережидает его. Из поезда летят разные предметы — фотографии, бутылка, разорванные листки бумаги.

Клочки разорванного письма попали в лицо Наташе. Кружатся вокруг нее.

Летят по полю. Наташа пытается их собрать.

КИНОТЕАТР.

Опять вспыхнул свет в зале. Все свистят.

Наша героиня что-то кричит.

Свет гаснет. Из кинобудки дали пленку, но...

ФИЛЬМ.

Начинается на экране какой-то другой фильм. Действие происходит на сцене клуба, да еще где-то в Средней Азии.

Много узбечек в паранджах мечутся, карабкаются по стене, пытаются достать что-то светящееся на вершине большого занавешенного памятника.

Они подпрыгивают, подпирают друг дружку. Но тщетно.

ТИТР: Только раскрепощенная женщина Востока достанет свет правды!

Женщины сбрасывают паранджи. Все они оказываются молодыми, смеющимися комсомолками.

Они выстраиваются по росту и склоняются. Одна из них — это Наташа, загримированная под узбечку!

Самая маленькая девочка шагает по спинам



как по лестнице и достигает факела на вершине.
Слетает покрывало со статуи.

КИНОТЕАТР.

Женщина кричит:
— Сапожник! Перепутал!
Бежит к кинобудке, вскакивает на стул и заглядывает в окошко.
Стучит в него.

БУДКА КИНОМЕХАНИКА.

А в будке маленькая комнатка. Кипит Самовар на столе.
Вокруг стола сидит семья киномеханика, и все едят суп.
От стука всполошились, выронили ложки и давай бежать, менять ленту в аппарате.
Женщина заметила мальчика, одетого зайчиком. Их сын оказался.

ФИЛЬМ.

И опять мы видим фильм про Наташу. Она собрала обрывки письма на чемодане вместо стола, как игру головоломку. Письмо, как целое, лежит на чемодане. Наташа начинает читать письмо. Вслух. Фильм неожиданно становится звуковым, и мы впервые слышим голос Наташи.
Вот текст письма:

— Милый друг, Любовь Николаевна! Пишу Вам уже которое письмо. У нас вконец испортилась погода. Отослали прислугу — новая придет только в субботу — и три дня в доме работаем все понемногу. Не обходится, конечно, без раздражения и недовольства. Но что делать?
Целыми днями сидим в доме. Вчера шел дождь, не переставая. Черные перья пальм били в окна и совсем закрывали горизонт. Было ужасно грустно. Это прекраснейшее в солнечные дни место в непогоду делается

чуть ли не самым мрачным на свете. Вечером Иван Алексеевич с величайшим вкусом читал Мопассана, сидя в своей великолепной красной пижаме. Дождь все продолжался. Вдруг Коля завел свое любимое: «Кто выше, Флобер или Толстой?» Иван Алексеевич брал нежиданно книгу одного из этих авторов и читал нам смерть мадам Бовари или то место из «Анны Карениной», где у Анны в темноте светились глаза, и она это видит. А затем вовсе зачитались графом Толстым и нашли у него такое любопытное место в «Исповеди», что заложили страницу засушенным листом. Меня эта история словно обожгла. Представьте себе дом, живет в доме маленький мальчик, приходят старшие с учебы, заводят мальчика в чулан и говорят: «знаешь, сегодня в гимназии мы узнали прелюбопытнейшую вещь, не говори только взрослым: Бога-то нет!»

Тут налетел другой поезд и развеял своим вихрем остатки письма.

КИНОТЕАТР.

Женщина покидает душный кинотеатр. Не хочет больше смотреть эту ленту. Запутывается в черной бархатой шторе.

УЛИЦА. НОЧЬ.

Она не закрыла за собой дверь кинотеатра. Штора так и взвивается на ветру. Над дверью маленькая красная лампочка. Довольно зловещая картина. Она отворачивается и прислоняется к столбу.

Ветер раскачивает из стороны в сторону уличный фонарь на этом столбе.

Она не знает, что делать дальше. Стоит. Вдруг штора кинотеатра ожила.

Кто-то в ней опять запутался.

Сначала борется, потом выходит некий очень молодой человек.

В руках он держит чемодан.

Подходит к ней.

ЮНОША: Мадам, Вы забыли свой чемодан.

ЖЕНЩИНА: Спасибо.

И она протягивает руку за чемоданом.

А он не отдает ей чемодан, держит сам.

ЮНОША: Можно мне Вас проводить?

ЖЕНЩИНА: Пожалуйста.

ЮНОША: Мы пойдем вдоль реки?

ЖЕНЩИНА: Хорошо, пойдем вдоль реки.

ЮНОША: Вам лучше направо или налево?

ЖЕНЩИНА: Мне все равно.

ЮНОША: А-а, ну тогда пойдемте направо... или... постоит... лучше налево... здесь будет

видно луну и ее отражение, хорошо?

ЖЕНЩИНА: Хорошо.

И они пошли налево вдоль реки.

ЮНОША: Вам показалась лента очень

длинной?

ЖЕНЩИНА: Да, пожалуй, длинной.

ЮНОША: Мадам, Вы наступаете на все замерзшие плевки!

ЖЕНЩИНА: Я не смотрю вниз, я смотрю только на верхушки деревьев.

ЮНОША: Ах, простите...

ЖЕНЩИНА: Ничего.

ЮНОША: Ах! Опять...

ЖЕНЩИНА: Что опять?

ЮНОША: Плевков... замерзший.

Женщина удивленно останавливается.

ЖЕНЩИНА: Что это?

ЮНОША: КОШКА! Маленькая кошка...

Откуда-то из-за пазухи он вытаскивает котенка.

ЖЕНЩИНА: Ваша?

ЮНОША: Моя.

ЖЕНЩИНА: Вы ее подобрали.

ЮНОША: Нет, я принес ее смотреть фильм, а также другую. Вот... смотрите. Они пиццали всё время...

И он вытаскивает второго котенка.

ЖЕНЩИНА: Вот чудесно! А как их зовут?

ЮНОША: Этого Полкан, а эту вот Мурка.

ЖЕНЩИНА: Правильнее было бы, конечно, этого Васька, а эту Жучка... или же опять этого Полкан, а это...

Они засмеялись оба.

Юноша вдруг заметил:

— Простите! Мадам! Вы опять наступили на замерзший плевков.

ЖЕНЩИНА: Ха-ха! Простите, я больше не буду.

ЮНОША: Обязательно смотрите под ноги... сплошные замерзшие перламутровые плевки.

ЖЕНЩИНА: Вы, наверное, писатель?

ЮНОША: Нет, я читатель.

ЖЕНЩИНА: Всегда?

ЮНОША: Нет, вообще-то я мечтатель...

ЖЕНЩИНА: Вы учитесь?

ЮНОША: Нет уже...

ЖЕНЩИНА: А раньше?

ЮНОША: А раньше учился на музыканта.

ЖЕНЩИНА: Наверное, работаете в филармонии?

ЮНОША: Да, то есть нет уже, работал некоторое время. Но это был эпизод, не больше, всего один раз... Я переворачивал ноты знакомому пианисту, который аккомпанировал одной знаменитой певице... но, если Вам неинтересно... я могу...

ЖЕНЩИНА: Нет-нет, пожалуйста, мне интересно.

ЮНОША: Так вот, Вы даже не понимаете, как важно это было для меня... Аккомпаниа-

тор этот был очень знаменит... ну и сложилась такая, знаете ли, странная для всех ситуация, но счастливая для меня. Ну... в общем... случилась такая возможность мне... переворачивать ноты для самой... божественной.

ЖЕНЩИНА: Божественной?

ЮНОША: Ну да, для божественной! Ведь сопровождать должен был он для нее самой! Понимаете, а ему самому было за восемьдесят, и он плохо видел и слышал... И дирекция боялась за него... и если бы они поехали за границу на гастроль, что было бы восхитительно, то страховая иностранная компания отказывалась бы страховать концерты без присутствия молодого пианиста... Ну... он и уговорил дирекцию взять меня, даже как... заместителя. К тому времени он уже начал заниматься с божественной в ее квартире. И вот, представьте, я должен был быть тоже впускным в дом, ее дом, чтобы заниматься всем вместе...

ЖЕНЩИНА: А как зовут эту певицу?

ЮНОША: Ее зовут (и он нагнулся и прошептал на ухо нашей героине это божественное имя).

ЖЕНЩИНА: А-а-а!

ЮНОША: И вот я начал переворачивать страницы на концертах и, о, ужас или счастье, обнаружил, что подсказывать слова для божественной в моменты ее вступления еще важнее! Ей, понимаете ли, начала отказывать память. В каком-то городе, знаете, циничный критик в местной газетенке написал: «переворачиватель страниц тоже пел!» Но самое ужасное случилось позже, когда аккомпаниатор, а он был великий пианист в свои лучшие годы, который был попросту слишком стар... слишком стар для большого концертного турне... и стал, понимаете ли, заговариваться на улицах и фантазировать... о своей смерти... Если, говорит он мне, у меня случится инфаркт, когда божественная будет петь высокую ноту, вы, говорит он мне, должны столкнуть меня с моего стула и продолжать дальше, как будто ничего не случилось, так как она даже и не подумает остановиться. А в то время, когда мой маэстро мечтал о великолепной смерти в середине аккомпанемента для нашей божественной, она же, божественная, боялась, что если ему сказать, что его не «хотят»... чтобы он в своем состоянии начал гастроль, то он и в самом деле умрет. Они его пожалели... так что он остался, и я как его переворачиватель исчез...

ЖЕНЩИНА: А сколько же ей лет?

ЮНОША: А Вам зачем? Мне это не нравится... Может быть, ей и отказывает уже память, но голос... О! Она берет почти все высокие ноты, почти все... Раньше он

долетал до самой луны, как послание всего человечества...

Тут он взял камень и швырнул в реку. Камень пролетел, подпрыгнув два-три раза по поверхности воды.

Тогда женщина тоже подняла камень. Как зашвырнет его! Он подпрыгнул на воде четыре раза.

ЮНОША: О! Вы замечательно делаете лягушку! Ква-ква-ква (заквакал он очень похоже).

Он схватил камень еще и бросил очень ловко.

Камень подпрыгнул раз пять.

Женщина решила его обыграть. Выбирала камень получше. Бросила просто фантастически. Бесшумно так он полетел и раз десять подпрыгнул лягушкой.

Удивительно. Леди, а вроде по-мужски, мастерски бросается камнями.

ЮНОША: Ква-ква, отчего Вы, ква, так здорово, ква, бросаетесь камнями?

ЖЕНЩИНА: Оттого, что я жила долго на берегу большой реки. Я сидела в лагере. Лагерь был на берегу. Река была большая... Научилась.

Она поднимает гальку и показывает юноше.

ЖЕНЩИНА: Вот такую нужно выбирать из всех... Затем... вот так... легче сжимать в руке, легче...

И опять она показывает свое мастерство в бросании камней.

Они идут дальше.

У каждого по маленькой кошке.

Женщина спрашивает неожиданно:

— Так сколько лет, говорите, этой певице?

ЮНОША: Лет семьдесят... думаю. Но это, наверно... может, и неважно... для меня.

Сидишь, к примеру, в опере и уже во второй половине акта ничего не знаешь о ее возрасте, голос кажется мягче, исчезают узелки, сглаживаются углы, звук становится плавным, текучим, широко разливается... и иногда даже выходит из берегов. Тогда те, что уже не верят в нее, в божественную, успокаиваются, начинают прислушиваться и, наконец, покоряются. Попадают в сети этого паука, раскидывающего свои сверкающие нити в воздухе. Плетет терпеливо и упорно, пылко и коварно увлекает в них... Потом, раздосадованная тем, что позволила себя увлечь, публика выходит из театра с намерением вернуться еще раз и... расквитаться с обманщицей... Кто ее знает, божественную, сколько ей лет...

ЖЕНЩИНА: Вы влюблены?

Пауза.

ЖЕНЩИНА: Молчите... Ну, что ж... А можно

Вас спросить?

Юноша громко засвистел соловьем.

ЖЕНЩИНА: Я хотела Вас спросить вот о чем...

ЮНОША: Да.

И опять засвистел. Жаворонком.

ЖЕНЩИНА: Вы ведь где-то живете?

ЮНОША: Да, конечно, у меня дом... вернее, комната, недалеко отсюда... через пустырь...

ЖЕНЩИНА: А кровать лишняя у Вас есть? Я, видите ли, осталась на улице... с чемоданом... без денег... и я очень устала...

Юноша громко и радостно лает. Носится с чемоданом туда-сюда, как собака.

Они идут по пустырю.

Ночь, но светло. Светит большая луна.

ЮНОША: Все собаки околотка мои хорошие знакомые... Вот... послушайте...

Он лает другим манером. Ему отвечают.

ЮНОША: Эта собака... живет на помойке... совершенно опустившееся животное... позволяет о себя гасить окурки... я ее пристыживаю...

Они удаляются от нас.

Невдалеке проходит поезд.

КОМНАТА ЮНОШИ.

Почти пустая. Большая. Запущенная.

В центре ее — большой рояль.

Стол. Кровать.

Юноша включает свет.

На кровати, на столе, на рояле — везде кошки.

ЖЕНЩИНА: Бедно живешь как!

ЮНОША: Вы, наверно, тоже.

ЖЕНЩИНА: О! Так у меня раньше все было! Какой дом! Мать была...

ЮНОША: О! Раньше у меня тоже все было... Я в консерватории учился.

Уже очень поздняя ночь.

Юноша греет воду на нескольких примусах. Помогает женщине мыть голову над большим тазом.

Затем дает ей свою фуфайку драную и кальсоны.

Они сидят за роялем и играют в четыре руки.

А НАШ ВЗГЛЯД УХОДИТ В КОМНАТУ СОСЕДЕЙ.

Как в старом кино, камера проезжает стенку. Здесь темно.

Маленький мальчик, разметавшись, лежит в постели, но не спит.

Смотрит в потолок и слушает музыку.

В углу под светом прикрытой лампы подсле-

повато что-то шьет женщина.

А в проеме двери пар, стирка идет какая-то. Две прачки. Душно.

ПОТИХОНЕЧКУ ВОЗВРАЩАЕМСЯ ОБРАТНО.

ЖЕНЩИНА: А ты все-таки курса не кончил. Не смог, не захотел, затравил себя. Что так... вниз все смотрел... плевки замерзшие...

Разрушить себя захотел, не боролся за лучшее. Из музыкального заведения исключили, откуда дорога могла бы быть... и все сложилось бы как у других... А?

ЮНОША: Поздно мне теперь третью жизнь начинать.

ЖЕНЩИНА: Тебе поздно? Стар? Тебе поздно?

ЮНОША: В том-то и дело, что поздно. По двум сторонам уже поздно. С одной стороны, общество не позволяет опоздавшим.

Выбрасывает тотчас... не догнать... Все воспитанники заведения по окончании курса, если им везло, назначаются к поприщу славному и блестящему... и существующее племя само по себе, без слов, без договора, как нечто нравственно обязательное и состоящее на взаимной поддержке всех членов этого племени одного другим всегда, везде и при каких бы то ни было обстоятельствах, себе же только и способствуют... и чувства все мелкие чем-то другим, Пушкиным, например, прикрыты, чувств высоких они не знают, но туда же, все читают чужие песни, чтоб душу свою зяблика согреть чужим разбитым сердцем. С другой стороны, мне уж и не захочется курс кончать, это уже болезнь, можете сказать...

ЖЕНЩИНА: Может, и болезнь. Я тебя раскусила. Я пенила тебя... Ты ведь сам ее не любишь, певца эту божественную... Это так, внешнее... Ты себя в ней любишь... Вот что я другое поняла... А через нее всю остальную жизнь... а она также живет в этом кругу, что ты описал... А вдруг и она как тоже любить не способна... а ты весь в ней.

ЮНОША: Так я же ее улучшаю.

ЖЕНЩИНА: О, вижу теперь... чего же меня стыдиться, я тебя не осуждать хочу... я тебя поэтому зауважала даже и к тебе в гости напросилась, а у тебя одна кровать оказалась... И тебе бояться нечего меня, потому как я, когда направишься на ночлег, тогда уже поняла это... ты и есть та самая божественная, ты — это она, хоть и поет все-таки она... и завидуешь, что она есть... уверена... думаешь ли, молчишь ли или просто говоришь, что музыкант, что беден, а сам в ту же самую секунду жжешь все вокруг себя и только себя в ней спасаешь... И разрушаешь себя... И мир весь не нужен вовсе... Но я не осуждаю, не говорю ведь, зачем? Я просто тебе говорю, я поняла тебя,

я тебе поверила, понимаешь ли, я тебя знаю, наверно, давно... Но, однако, как бедно живешь...

ЮНОША: Лучше ли богатым, что ли? Кто же Вас такому учил? В школе, что ли? Бедным быть благородно... никогда не скучно... Украду, к примеру, мешок угля на станции и продам... Затем в театр... И букет лучший в этом театре... Завтра божественная поет прощальный раз, последний... я должен быть, конечно, с белыми розами... Пока денег нет... сумбур от Вас... вот тоже мечтается... ходится и мечтается... лучше ведь мечтать, чем жить... намечтать можно все самое желанное, а жить как бы и скучно... Завтра, ах, завтра последний день... мне денег на букет доставать...

ЖЕНЩИНА: Разрушаешь себя?..

ЮНОША: Уже спрашивали... я, может, хочу себя разрушить... и все это любят... Все говорят, это ужасно, но про себя ужасно любят... Знаете, у одного писателя сказано, что все мы сделаны из того же материала, что и сновидения. И вот, бывало, закроешь только глаза, и уже они носятся рядом, только протяни руки... носят и зовут за собой. Стоит только согласиться, и ты уже на ее месте, вместо нее... в ее платье... впереди всего оркестра... и голос мой ведет за собой, кристально чистым звуком... до блеска... и... о! вдруг, где же шумная овалция?.. должна была быть!.. Однако в ответ не раздается ни одного хлопка, словно голос только что развалился в огромном пустом склепе... Или вдруг осторожно возьмешься за ручку двери... и из комнаты ничего не было слышно, а откроешь, а оттуда как понесется... голосом божества, и уже не остановить и, чувствую, мешкать нельзя, что нужно пить до дна кубок удовольствий и хмелеть... вдыхая попутный ветер славы... Еще сон.. как-то во время окончания войны меня приглашают на гастрольное турне по столицам Европы... Поднимаясь с лондонского аэродрома, самолет вдруг дрогнул... клюнул носом и врезался в землю... И от голоса осталась лишь тень... В гробу себя представляю...

ЖЕНЩИНА: В твоих словах есть много правды... я тебе верю...

ЮНОША: Ну, а когда я... в виде божественной пою... чистым звуком и голос мой взбирается все выше... телеграф, установленный прямо на сцене, разносит по миру сенсационность этого выступления... Разрушаю, говорите... пусть, пусть... Дух замирает от разрушения этого... Ах! Завтра она поет последний раз... в последний... Деньги нужно доставать на билет, на одежду... Денег нет пока на букет... Я раньше для билетерши воровал мешок угля на станции... я Вам

говорил уже об этом... не раз воровал, поверите, в меня стреляли... Правда, издалека. И она, билетерша, держала для меня место до последнего... Мне нравится, когда Вы мне говорите, что верите... А может быть, Вы думаете, что я Вам все это нарочно, чтобы Вас отвлечь, что боюсь Вас, что дразню?

ЖЕНЩИНА: Нет, не думаю... хотя, может быть, есть немного этой потребности... дразнить... немного есть... никогда перед тобой не солгу (вдруг сверкнул огонек в ее глазах)... Есть дети... лет десяти-двенадцати, которым очень хочется зажечь что-нибудь, и они зажигают... Это вроде болезни.

ЮНОША: Пиромания называется.

ЖЕНЩИНА: Да. Да. Может, как и иначе называется, но к черту это, я про другое, не про то, я тебе помочь решила... Решила... я... если ты мне поможешь, не откажешь мне в своей помощи... у нас с тобой много денег будет завтра же... Мы их истратим тут же и... в театр с букетом... Долги раздадим... А?.. Я букетов тебе накуплю... у меня платье будет чудесное... я переоденусь в новое... и не мечтала много лет... Я серьезно тебе говорю, я решила тебе помочь... Меня эта мысль сейчас обожгла. Я тебе поверила, слышишь? Ты тот, кого Бог посылает как испытание. Ты такой же поджигатель, о каком я сама мечтала!

ЮНОША: Нет! Нет! То есть да! Вы мою мысль мне подсказываете. Есть минуты, когда люди любят преступление... Вы мою мысль... все любят и всегда любят... все говорят, что это ужасно, но про себя все любят! Мне верить можно...

ЖЕНЩИНА: Послушай же... О себе рассказывать долго не буду. Сидела в лагере, вернулась... Все про эти истории честные люди знают. Мать к этому времени умерла... квартиру отняли... денег нет... устала... Ах, не о том. В лагере жила одна женщина. Я дружила с ней. Она была очень талантлива. Она для мести придумала страшный яд. Но затем прошло некоторое время, и как-то в лесу, во время перекура, она мне вдруг говорит: «У меня нет ни гроша, нет ни крыши над головой, но бьются на свете вещи и похуже. Я не хочу выйти из тюрьмы,— говорит она,— с сердцем, отягощенным обидой на весь мир, и мечь, что была в моем сердце, отошла, смирение ко мне пришло изнутри. Если бы мне раньше сказали о нем, я бы отреклась от него, но оно пришло изнутри, и я хочу его сохранить — вот флакон, он мне оказался не нужным». Она умерла, а флакон остался... Смирение — самая странная вещь на свете. От него нельзя избавиться и из чужих рук его не получишь. Чтобы его приобрести,

нужно потерять все до последнего. Только когда ты лишен всего на свете, ты чувствуешь его своим достоянием. Разве я могу мстить кому-то... Но мысль купить цветки для твоей сопранки обожгла меня... Словно мышка выгатила репку. Помогу, говорю я тебе, и другим тоже, стало быть, помогу... Убью и возьму, что мне нужно... Он, флакон этот, у меня здесь, в этом чемодане. Н., которого она убить хотела и которому этот яд предназначался, живет здесь, процветает, знаменит даже очень... Слышишь, куда я веду речь, слышишь ты меня... Если бедная буду — убью, все ведь наизусть знаешь, а если богатая буду, то теперь тоже знаешь... А ты... букет! букет!.. Знай, я для тебя его куплю... и ты мне поможешь...

ЮНОША: Бог осудит!

ЖЕНЩИНА: Вот так-то я и хочу!

ЮНОША: Вы злое принимаете за доброе... а доброе за злое... это минутное... это пройдет!

ЖЕНЩИНА: Я просто хочу делать доброе, я хочу делать злое, и никакой болезни тут нет! Зачем же злое делать? Да чтобы потом нигде ничего не осталось... а вообще-то я тебе поверила... зачем тогда все это... молчи... Я, может, самую важную вещь сообщила — тебе букет купить... завтра...

ЮНОША: Вы меня презираете?

ЖЕНЩИНА: Я тебе поверила!

ЮНОША: Я согласен.

ЖЕНЩИНА: Нужен шприц и очень красивое яблоко...

Они засыпают.

Кошка сидит на рояле и смотрит на луну.

НОВОЕ УТРО.

Юноша распаивает окно и, высунувшись на улицу, громко кукарекает.

Ему отвечают околоточные петухи.

Женщина и юноша выходят на улицу.

Садятся в переполненный трамвай.

ТРАМВАЙ.

Вот они едут почти на задней подножке.

В трамвай втискиваются новые люди.

Разъединяют их.

ГОРОД. МАГАЗИН.

Сквозь огромное витринное стекло оба смотрят в театральные бинокль.

ВИД ПРОТИВОПОЛОЖНОГО ДОМА.

Ухоженный подъезд.

Вышел военный.

Вот он вернулся.

Вышла горничная или кухарка.

Ушла привратница.

Уехала женщина с собачкой в черном автомобиле. Вместе с военным. С корзиночкой в руках наша героиня отправляется к подъезду.

Юноша остается в магазине.

Она входит в телефонную будку. Набирает номер. Коротко о чем-то говорит. Выходит. Дает рукой знак мальчику, что все мол в порядке, и переходит улицу.

Издаലെка-мы видим, как она поговорила с привратницей.

Затем скрывается за тяжелой дверью.

БОГАТЫЙ ПОДЪЕЗД.

Женщина входит, осматривается. Гулкий кафельный пол.

Едет в лифте.

Выходит. Ищет нужную дверь. Звонит.

Один, второй раз. Наконец ей открывают.

В дверях еще не очень старый, но и не молодой мужчина. Красив, приветлив. Одет в домашний халат, но элегантно.

Немного удивлен, увидев женщину. Она протягивает вперед корзиночку с фруктами. Крупные красные яблоки и веточка золотистого винограда.

МУЖЧИНА: Мне?

ЖЕНЩИНА: Вам.

МУЖЧИНА: Входите.

Он пропускает вперед женщину.

На лице у него искреннее любопытство, интерес.

ПРИХОЖАЯ, СВЕТЛО И КРАСИВО.

Женщина еще раз протягивает вперед корзиночку.

ЖЕНЩИНА: Это Вам от поклонницы...

Здравствуйте... Фрукты из Крыма... Очень вкусные...

У мужчины удивленное выражение тут же меняется на радостное узнавание.

МУЖЧИНА: Вы... ко мне... так сразу... Мы же договорились на завтра... Постойте, постойте... ну, конечно, мы с Вами договорились на завтра, на бульваре, в три... Вы все напутали... Входите...

Наша героиня теперь удивлена не меньше.

Но берет себя в руки. Снимает пальто, перчатки, передает их в руки хозяина.

МУЖЧИНА: Странно!

Он смотрит на ветхое пальто, рваные перчатки, на нее — все-таки элегантную даму. Еще более удивлен и заинтригован.

МУЖЧИНА: Знаете, я ожидал всего, что угодно, но Вы... превзошли все мои ожидания. Это слишком все экстравагантно. Простите мне мой вид, я сейчас переоденусь...

Он ту же завязывает пояс на своем халате. **ПРОВОДИТ ЕЕ В ГОСТИНУЮ.**

Большая, обставлена стильной мебелью — деко военного времени, никель, низкие столы, большие лампы.

МУЖЧИНА: Входите же, садитесь... Садитесь

на диван.. здесь удобнее...

Он немного нервничает, суетится.

Она садится на кожаный диван.

МУЖЧИНА: А что? Это даже слишком рйскованно, без приглашения, право, а вдруг жена...

Он озабоченно оглядывается на двери.

ЖЕНЩИНА: Не беспокойтесь, я стояла долго внизу и видела, как она уехала на машине... Потом, кто же, Вы думаете, только что звонил и спрашивал Вас по телефону?

МУЖЧИНА: Вы?

ЖЕНЩИНА: Я.

МУЖЧИНА: Я не узнал Вашего голоса... странно... я не узнаю Вашего голоса, Вы знаете, тембр Вашего голоса по телефону гораздо, гораздо...

ЖЕНЩИНА (спокойно): Моложе?

МУЖЧИНА: Возможно... Но я ошибся... Вы лучше... Лучше наяву... Вы прекрасны, но Вы сошли с ума... Жена ревнива... Право, я растерян... столь неожиданно: даже возбуждает... Я обычно не открываю сам дверь... Я избегаю поклонников... Но в данном случае... польщен...

Женщина молча сидит на диване.

МУЖЧИНА: Вы хороши очень!

Садится на диван.

МУЖЧИНА: Хочу Вас обнять... Можно?

Женщина спокойно сидит на диване. Чуть улыбается.

МУЖЧИНА: Я никогда бы не узнал Вас... Вы лучше... Я влюбляюсь... Боже... Я отказывал Вам во встрече... столько раз...

Он подсаживается к ней поближе и продолжает:

— Анна, дорогая, я не знал, прости, я на ты, ведь я столько знаю о тебе, но я не знал, что поклонница, устроившая столь долгий почтовый роман, так может быть хороша...

И он сжимает крепко нашу героиню.

МУЖЧИНА: Анна, Аня, чудесная Анна... это сейчас опасно... но тем более... Анна!

Значит, ты меня стерегла, я этого не люблю, но... что же мы... я сейчас... немного шампанского...

Он пошел в другую комнату.

Тут только наша героиня огляделась вокруг. Есть даже свежие букеты на столах.

Хозяин возвращается с подносом.

ЖЕНЩИНА: Богато живете!

МУЖЧИНА: Лучше, что ли, бедным? Это кто Вам наговорил? Да, богат, а если буду бедным, непременно кого-нибудь убью. Вы сердитесь, ужасно сердитесь, раз улыбаетесь

и молчите. Я что, богохульствую? Да, Вы сердитесь... А что там сделают на том свете за самый большой грех? У Вас такой взгляд, будто Вам это должно быть доподлинно известно!

ЖЕНЩИНА: Бог осудит!

МУЖЧИНА: А вот, может, я так и хочу, может быть, приду, а вы меня все осудите, а я бы вдруг взял, да и засмеялся бы всем в глаза! Но я шучу...

Женщина сидит спокойно. Затем красиво пододвигает свою корзиночку с фруктами ближе к мужчине.

ЖЕНЩИНА: Ешьте, пожалуйста.

МУЖЧИНА: Да, они очень красивы. Я, пожалуй, прежде их сфотографирую...

И он неожиданно достает откуда-то из-за дивана фотоаппарат и снимает карточку.

Сначала отдельно натюрморт. Потом женщину с фруктами несколько раз.

Когда, наконец, хочет взять яблоко, женщина ловко поправляет корзиночку особым боком и говорит:

— Нет, лучше это.

Мужчина надкусывает яблоко. Обнимает женщину. Предлагает ей надкусить тоже. Но она только улыбается.

Затем он прямо смотрит ей в лицо и быстро и вкусно начинает есть белую мякоть.

Красное яблоко наполовину исчезает на наших глазах.

МУЖЧИНА: Признайся, это выдуманное имя... Анна Карамазова... Это похоже... на... (Встревоженно.) Прости... голова закружилась...

Тут зазвонил телефон.

Мужчина с трудом поднялся с дивана и подошел к соседнему столу. Берет трубку.

Что-то отвечает. Резко оборачивается к женщине и кричит:

— Кто ты? Ты вовсе не она? Что со мной...

Только что я слышал голос знакомой...

Он хватается за голову, за живот, за грудь.

МУЖЧИНА: Кто ты? Зачем ты... Я этого не люблю... Кто за тобой стоит? Что за идея?

Ты не Анна Карамазова?

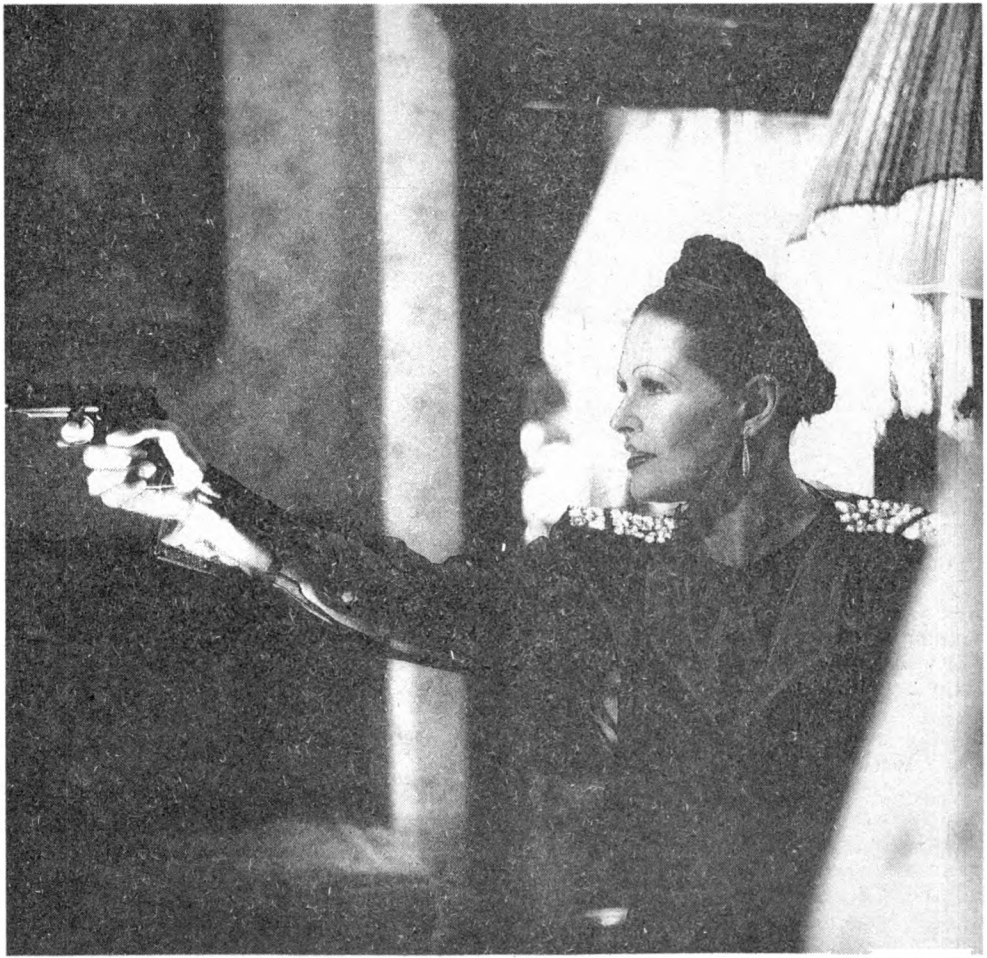
Женщина спокойно смотрит ему в глаза. Потом поворачивается. Уверенно идет по анфиладе комнат.

Он покорно плетется за нею. Раненый и стонущий.

Она входит в спальную комнату. Отворачивает одеяло на постели.

Приглашает его лечь...

Он валится в постель.



Глаза его воспалены. Губы обсохли. Яблоко все еще зажато в руке.

МУЖЧИНА: Я... догадываюсь...

Яблоко откатывается от кровати.

Стон. Один глубокий вдох. И он затих.

Женщина спокойно смотрит на его конец.

Затем, удостоверившись, что все свершилось, уверенно несет к шкафу.

Будто много раз бывала здесь.

Вытаскивает большой красивый чемодан.

Открывает его на полу. Бросает в него одежду.

Сначала по одной вещи, потом охапкой. Находит в шкафах, комодах,

шкатулках деньги, облигации, жемчуга,

броши. Все это распахивает по углам

чемодана. Она возбуждена.

Вытаскивает чемодан в гостиную. Чемодан

тяжелый и туго набит. Ногой она пытается помочь себе закрыть крышку.

Вдруг слышит за спиной:

— Не двигаться!

Женщина оборачивается и видит в дверях актрису. С собачкой. Ну да, ту самую

актрису, что была Царевной Лебедью в фильме. Она так же хороша, как в кино.

АКТРИСА: Воровка! Ни с места! Как я догадлива. Как вовремя меня осенило вернуться!

Женщина съживается, пугается, не ожидала такого.

Хозяйка сильно возбуждена, но держится великолепно.

АКТРИСА: Меня восхищает твой поступок, воровка! Первый раз вижу интеллигентную воровку! (Властно.) Ты уронила облигации...

Так... Теперь подними все. Рукав пальто

спрячь и придави коленом. Теперь пристегни ремнем. Вот и закрыто. Дай я тебе

взгляну в лицо, подлая. Воровка! И брошь моя! Воровка!

Но здесь мопс соскальзывает с рук хозяйки

и бежит через комнату в спальню. Скулит, лает. Хозяйка за ним. Видит страшную картину.
А тут еще и мопс доедает огрызок яблока и корчится в агонии.
Актриса дико кричит:
— Тварь! Тварь! Убийца! О! Я поняла тепер! Я все поняла!

Она вытаскивает откуда-то маленький черный револьвер, загоняет женщину в угол, наступает на нее. Бьет по лицу кулаком.
АКТРИСА: Я все поняла! Все! Ты, тварь, вообразила, что все возможно! Что ты действуешь по высшей инструкции! Что тебе, твари, все можно!

Из носа женщины течет кровь. Она потеряла всякое самообладание. Она испугана, раздавлена. Закрывается рукой от побоев.
АКТРИСА (целясь прямо в лицо женщине): Ты мне скажешь, кто ты! А? Ты мне... скажешь... тварь... Тварь!

Рука ее уже дрожит перед выстрелом. Женщина хватается случившуюся рядом большую хрустальную вазу. Замахнувшись, бьет ею по голове хозяйки дома. Та падает.
Женщина бежит по комнатам. Хватает чемодан. Выскакивает за дверь. Удар двери такой сильный, что взвывается штора, распаивается сквозняком окно. Скатывается на край подоконника одна из ваз, сталкивает другую. Другая — на пол, и разбивается.

ПОДЪЕЗД.

Женщина несется по лестнице вниз. Один пролет... Второй...
Пробегает мимо привратницы.
Та ее зло окликает, догоняет и уже в дверях кричит:
— Ты, такая-рассякая, наследила мне пол каким-то вареньем или вином красным, что ли? Вытирай!

Но женщина вырывается.
На полу, действительно, остались следы.
НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ.
Она бежит по улице.
Поворот — один, второй. Арка. Подворотня. Один двор. Другой. Она бежит.
В конце концов, она попала в какой-то глухой двор.
А юноши все нет.
Женщина прислонилась к стене. Пытается отдышаться. Стоит ни жива, ни мертва.
Вдруг слышит, как зашелестело дерево. Дерево, что было за забором, раскрыло ветки от ветра.

Она видит в раскрывшемся разрезе дерева какую-то поразившую ее вазу.

Амфору на пьедестале, стройную и одинокую.

Она заморожена, ей даже не захотелось плакать.

В это время вбегает встревоженный юноша. Он как бы все понимает. Он же видел из окон магазина, как вернулась машина... что что-то произошло. Он видит ее измученное лицо.

Она рукой показывает в сторону. Мол, смотри.

Юноша поворачивается, куда смотрит она. Видит шелестящее дерево.

Ветер набегаёт. Вот он очень сильный.

В конце концов дерево разъято ветром, отодвигается часть веток.

И сияющая ваза в лучах солнца. Над всем этим горит радуга.

Наши герои стоят, обнявшись.

ЖЕНЩИНА: Что это?

ЮНОША: Радуга... Прекраснейшая небесная дуга, украшенная множеством цветов, которая обыкновенно показывается в дождливое время в части неба, противоположной солнцу...

ЖЕНЩИНА: Что она означает эта дуга?

ЮНОША: А Бог, по бесконечной своей благодати, дал нам ее после всемирного потопа, как знамение... что уже никогда род человеческий... не истребит.

ЖЕНЩИНА: А разве до потопа радуга никогда не показывалась?

ЮНОША: Нет сомнения, что Ной часто видал подобные явления... и до потопа... Но на этот раз Бог употребил это явление природы для обозначения примирения своего с родом человеческим...

Они уходят со двора.

В руках у юноши большой новый чемодан.

ОПЯТЬ ЗАБРОШЕННЫЙ ДОМ.

Женщина и юноша идут к уже знакомому нам обшарпанному дому.

Оба они как-то преобразились, переодеты во все новое.

Входят в дом.

Торопятся вверх по лестнице.

Вдруг сверху, навстречу им, целая группа людей.

Возглавляет ее девочка, спускающаяся по лестнице.

Она шелестит приданным к платью шлейфом, каким-то пологом, то ли это скатерть, то ли занавеска муаровая.

Проходя мимо нашей героини, девочка говорит ей на ухо:

— Хорошо ли шуршит мой шелк?

И спускается дальше. На нижней площадке

останавливается.

Идущий следом мужчина наклоняет голову набок и с улыбочкой выслушивает настойчивый шепот девочки.

ДЕВОЧКА: Прошу повторить все-все сверху! Прошу Вас, очень прошу! Всех прошу подняться обратно! Иначе я не уеду! Я настаиваю.

Все поднимаются покорно назад. Мизансцена спуска по лестнице повторяется.

На этот раз девочка, проходя мимо, тихо произносит для женщины другое:

— Мне отмщение и Аз воздам!

И следует далее вниз. Невозмутимо.

Свита идет за нею.

Перед выходом девочка на какое-то мгновение посмотрела вверх.

Хлопает затем входная дверь.

Юноша и женщина молчат.

Затем приоткрывается дверь рядом, высовывается лицо соседки, и слышится ее торопливый шепот:

— Катерину Ивановну забрали в сумасшедший дом, в больницу, сказали, мальчишку в суворовское училище, тоже несколько человек приезжали, долго отбивался так, и в форму его нарядили, красивую, как военная, а девчонка делала ему замечания, мол, веди себя достойно, не унижай всех нас, мол, что делать, жизнь такова! Так и сказала, а сама-то, как говорят, бабушку убила, ее вроде в детскую колонию...

Не дослушав, наша пара спускается вниз...

ОПЯТЬ КАМОРКА СТАРИКА.

Они входят осторожно в скрипучую дверь. Женщина держит в руках большой плод. Это дыня. В дыню воткнута огромная бриллиантовая брошь.

Женщина протягивает дыню старику.

Он лежит в постели. Совсем слаб. Может, быть, пьян.

Почти разбужен прикосновением дыни и тихим шепотом женщины.

ЖЕНЩИНА: Михаил Абрамович, а, Михаил Абрамович!

СТАРИК: Кто это?.. Что это?..

ЖЕНЩИНА: Вот дыня... это дыня... это Вам от меня...

СТАРИК: Ты что... зачем мне этот плод... Я никогда эту ягоду не ел... никогда... Мне уж восемьдесят... скоро... (Потом, помолчав.)

Возьми, пожалуйста, назад... этот плод... Вот умру, увижу жену на том свете и скажу — без тебя не стал есть... эту ягоду... Забирай, пожалуйста, честное слово, не нужно...

Так она и уходит от старика, с дыней в руках.

УЛИЦА.

В такси неподвижно сидят женщина и юноша. Задумалась.

Вдруг спохватывается. Рукой по плечу шоферу — просит ехать.

Такси мчится.

Подъезжает к дому, где она жила раньше.

А там уже у подъезда черный ворон.

Мужчины в милицейской форме тащат старую узбечку к машине.

Она цепляется.

А они старуху отдирают от подъездной двери.

Она вцепилась крепко и кричит что-то по-узбекски.

Кричит. Ее хотят запихнуть в машину, а она все не дается.

Но молодая вырвалась. Побежала по улице с ребенком.

Тогда наша дама посылает шофера вслед за нею.

Едут следом. Нагнали ее в каком-то переулке.

Та рыдает и плачет. Бойтся.

А рука в перчатке протягивает ей большой флакон парижских духов.

Молодая узбечка смотрит на флакон в своей руке...

ВЕЧЕР. КОМНАТА ЮНОШИ.

Под звучащее оркестровое вступление к опере мы видим некие ритуальные приготовления к театру.

На машинке юноша перешивает или дошивает платье.

Это черное мерцающее платье для нашей героини.

На столе рядом лежит в тарелках разрезанная дыня.

Брошка так в нее и воткнута.

Юноша помогает надеть это великолепное длинное платье.

Потом он красит ей лицо.

ВЕЧЕР. ЦВЕТОЧНЫЙ МАГАЗИН.

Мрамор. Все богато. Большие букеты роз в вазах.

Женщина и юноша покупают букет цветов. Наша, совсем уже неузнаваемая героиня вдруг сминает рукой один цветок. Потом еще два.

ПРОДАВЩИЦА: Ах! Что Вы делаете? Ах! Что Вы делаете? Не нужно!

Женщине кажется, что ей удалось спокойно одним лишь взглядом ответить: «Я заплачу». Продавщица растеряна.

ФОЙЕ ПРЕКРАСНОГО ОПЕРНОГО ТЕАТРА.

Толпа. Оживление.

Театр переполнен офицерами.

Женщин совсем не видно. Только военные. Все одного, темного цвета.

Поднимаясь по лестнице, женщина и юноша также видят только огромное количество военных. Их — толпы.

Офицеры. Ухоженные и торжественные генералы в окружении адъютантов.

Появление нашей героини привлекает внимание всех.

Все оборачиваются... Смотрят... Приближаются...

Некий танец передвижений.

Наша героиня преобразается. Она ослепительно хороша.

Все как один восхищены ею. Она это понимает.

Тревога совсем покидает ее.

Ей нравится эта роль, она выступает в ней все увереннее и увереннее.

Юноша и женщина расходятся в разные стороны.

Каждый приоткрывает по двери...

БЕЛЫЙ КАФЕЛЬНЫЙ ТУАЛЕТ.

Женщина запирает за собой дверь.

Прислоняется к белоснежной стене и стоит молча какое-то время.

Смотрит на свое отражение в больших зеркалах.

Приближает свое лицо.

Замечает в глубине туалетной комнаты старушку.

Это уборщица.

Она со шваброй в руке проходит в свою каморку за стеклянной дверью.

Женщина подходит и сквозь стекло наблюдает.

Старушка сидит в углу за маленьким столиком. Трясущейся рукой обмакивает маленький сухарик в чашку чая.

Замечает женщину и улыбается ей слабой улыбкой.

Затем, смутившись, поднимается. Берет швабру и выходит в соседний туалет, мужской. Там видно проходящих офицеров.

Уборщица подтирает там пол шваброй.

Женщина незаметно проникает в каморку. Видит сквозь стекло, как старушка ведет свою швабру все дальше и дальше.

Из блестящей сумочки женщина вытаскивает большую пачку денежных купюр и ловко подсовывает их под чашку с горячим чаем.

Какие-то тысячи.

Затем закрывает за собой дверь каморки, а потом и дверь туалета.

Никто ничего не заметил.

А ЮНОША ЗАГЛЯДЫВАЛ В АРТИСТИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ.

Эти комнаты страшно притягивают его.

В проеме двери видна комната, обставленная дворцовой ампирной мебелью.

Видны еще две смежные комнаты анфилады. Юноша с огромным букетом не решается войти и стоит у двери.

Какая-то пожилая камеристка вдруг садится в поклоне.

Другая как-то разом присела на диван.

Из смежной комнаты величественно проследовала пожилая седая дама в черном вечернем платье из газа, длинном. Орден и орденские планки на груди.

Ни на кого не глядя, она прошла через комнату в третью. Стала там у рояля. Спиной ко всем — нам, юноше, камеристкам. Следом идет очень старый маэстро, седой и во фраке.

Садится в кресло у рояля. За роялем молодой аккомпаниатор.

Все, притихнув, слушают, как божественная распевается.

Маэстро слушает блаженно, дирижирует пальцем.

У старухи есть еще голос... почти юной девушки...

ЗАЛ ТЕАТРА.

Представление уже идет.

Публика взволнована. Ложи все полны.

Наши герои тоже сидят в ложе.

У юноши — букет.

На бархатном бордюре перед дамой — ее сумочка. Сверкает.

ОПЕРНАЯ СЦЕНА.

На нарастающем крещендо открывается занавес.

Огромная фантастическая декорация.

Неожиданно появляются три поющие певицы-сопрано.

Они появляются одна за другой, вместе со своими вступлениями в музыкальном тексте.

Одна — из-за занавеса. Другая поднимается из люка. Третья вообще спускается из поднебесья.

Вот они соединятся вместе. Все трое одеты в пышные боярские одежды, расшитые камнями.

Что это? Как бы сговорившись, они поют прямо в сторону нашей героини.

Какая-то невероятно мрачная, кричащая ария на три голоса.

Слова вроде бы русские, но разобрать не удастся.

Что-то вроде о том, что если идти направо — коня потеряешь.

Налево — то-то, прямо — то-то. Вот, мол, и выбирай!

И они, как три Парки, призывающие то ли к возмездию, то ли к раскаянию.

Так они громко и призывно поют, такая буря начинается в оркестре!
Наша героиня встает со своего места.
Вот она в зале. Завороженно идет к сцене.
Стоит сначала у оркестровой ямы. Пытается понять происходящее...
Потом начинает метаться по залу.
Парки явно поют для нее. Вслед за нею передвигаются. Смотрят на нее.
Одна даже начинает указывать на нее пальцем.
Женщина выбегает из зала, выскакивает.
Юноша за нею, с розами.
Опера продолжается.

ЛЕСТНИЦА ТЕАТРА.

Она бежит вниз.
По лестнице.
По лестнице.
Потеряла туфельку.
Потеряла сумочку.
Юноша за нею.
А она уже в фойе.
У входной двери. Выбежала.
Юноша с букетом за нею.

УЛИЦА.

Вихрь. Дождь.
Огни. Поток автомобилей.
Музыка все звучит. Смерть под машинами.
Юноша с букетом цветов издалека уже видит толпу.
Посреди мостовой что-то произошло.
Он расталкивает всех.
Откуда-то снизу мы видим его цветы.
Как будто были они для нее, потому что на нее они и посыпались.

РАЗРЫВ ПЛЕНКИ.

Перфорация косо застревает в кадре.
И аппаратом что-то неладное. Пленка высвечивается и бледнеет.
Рвется.
Музыка все звучит.
И вдруг изображение восстанавливается, но уже новое.
Мы видим через свет, через мигающие звездочки, в замедленной, с мелкими сбоями, пластике.
Одна из певиц, которая только что пела нам свою арию, в царственной одежде, держит в руках букет роз и кланяется всему залу. Еще раз кланяется.
Изображение снова меркнет, меркнет. Летят мигающие звездочки.
Пленка рвется опять.
Кончается эта история.

РАННЕЕ УТРО. ПУСТЫРЬ У ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ.

Мальчик бредет к своему дому.
Весь истерзан. Мокрый. Штанины задраны.
Уже нет шляпы, нет пальто.
Измятый смокинг, изорванная бабочка.
В подол рубахи собирает грибы.
Приближается поезд.
Юноша раздевается и обмазывается глиной.
Проходят вагоны.
Он успевает показать всему этому грохочущему поезду застывшую греческую статую.
Очень похоже.

КАК НАПИСАТЬ ХОРОШИЙ СЦЕНАРИЙ

и как его затем

ХОРОШО ПРОДАТЬ

научит книга Александра Червинского

«КАК ХОРОШО ПРОДАТЬ ХОРОШИЙ СЦЕНАРИЙ»

Тираж этого увлекательнейшего пособия

поступил в редакцию нашего журнала.

Ничего подобного на территории СССР, СНГ и ближнего зарубежья до сих пор не издавалось, этот учебник — первый, тираж небольшой и в ближайшее время переиздаваться не будет. По вопросу приобретения обращайтесь по адресу:

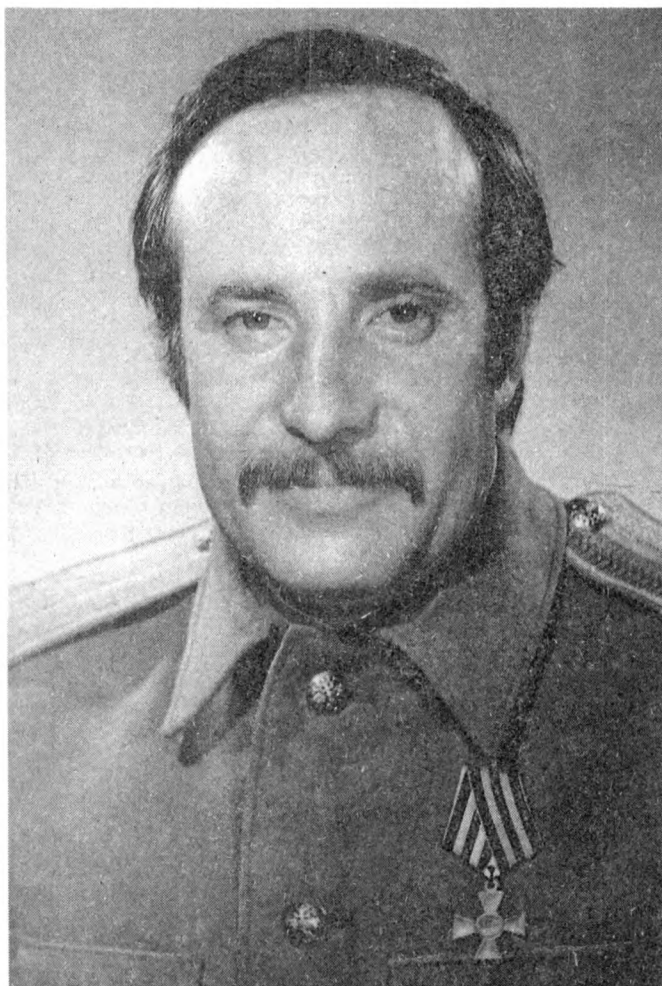
МОСКВА, Воротниковский пер., д. 12

Постарайтесь придти сами или прислать знакомых, так как почтовые пересылки дороги и не гарантируют получение книги.

Заодно у нас можно прикупить номера журналов, которых у Вас недостает.

Н а ш и т е л е ф о н ы : 299-11-78, 299-47-74 — с 11 до 17 часов,
209-60-23 — круглосуточно.

ЭДУАРД ВОЛОДАРСКИЙ



КИНОПРОБА К ФИЛЬМУ «КРЕСТЬЯНСКИЙ СЫН»
РЕЖ. И. ТАРКОВСКОЙ.

РУССКАЯ

СОБЫТИЯ, ИЗЛОЖЕННЫЕ В СЦЕНАРИИ, ОТНОШЕНИЯ К РЕАЛЬНЫМ ЛЮДЯМ НЕ ИМЕЮТ. ВСЕ СОВПАДЕНИЯ СЛУЧАЙНЫ.

А В Т О Р

По телевидению выступала сорокалетняя женщина. Красивая, большеглазая, с большим ртом и выразительно очерченными

губами, одетая модно, но без излишней крикливости — серый лайковый пиджак с широкими плечами, тонкий красный джемпер, корот-



кая юбка, открывающая длинные ноги. Она сидела в кресле, откинувшись на спинку, и с улыбкой смотрела в экран, сцепив на коленях руки с длинными, нервными пальцами. Напротив нее — ведущий — молодой, опрятный, вежливый.

— Катя, вы уехали из Союза в так называемые времена застоя, потому что вам стало здесь совсем уж невмоготу? Или были какие-

то другие причины? Вас не принимали в Союз художников? Не выставляли?

— Вы не хуже меня знаете, что это были за времена,— с улыбкой отвечала Катя.— Всем, в общем-то, приходилось несладко.

— Н-на-а, Катюнчик, как ты была душой, так и осталась...— вдруг раздался саркастический мужской голос.— Бог мой, люди с возрастом совсем не умнеют...

...Это говорил грузноватый, тоже сорокалетний человек, в свитере и засаленных джинсах. Он смотрел передачу по телевизору, сидя в кресле в полутемном кабинете, потягивая пиво из жестяной банки.

— Сейчас у вас здесь такие фантастические изменения, перестройка...— Катя говорила с заметным акцентом.

— У вас! — фыркнул мужчина.— А у вас?

— Только мне кажется, что реформы продвигаются слишком медленно... в людях так много усталости, неверия...

— Фу ты, идиотка! И ей кажется! — хлопнул себя по колену мужчина (назовем его Виктором) и взял с низкого столика пачку сигарет.— Но красива, как раньше... Боже мой, глупа, но красива! Да и удивляться тут нечему...

— Но вы ведь русская, Катя,— послышался голос ведущего.— Как же вам все-таки удалось без скандала уехать?

— Скандал был, правда, небольшой. Я вышла замуж за гражданина США. Влюбилась и вышла замуж,— с улыбкой отвечала Катя.

— И как вам жилось в Америке?

— Замечательно! Файн! У меня прекрасный дом за городом, есть квартира в Бостоне... Растет сын...

— Как зовут сына? — спросил ведущий.

— Иван. Ваня. Ему уже десять лет. Он учится в колледже. Такой специальный, закрытый колледж. Очень дорогой. Поэтому я редко вижу его и очень скучаю.

— Работать приходится много?

— Конечно. Америка — это страна, где нужно много работать, если хочешь добиться успеха...

— И вы добились успеха? — не преминул спросить ведущий.

— Немного... Больше мой муж... У него крупное дело в автомобильных и нефтеперерабатывающих компаниях...

— У вас были там выставки?

— О, да! Несколько. Они имели успех... Кроме того, я написала книгу. Это о своей матери, о прошлой жизни здесь, в Союзе. Получилась интересная книга. Я заключила контракт с издательством... И думаю продолжить занятия литературой...

— Ну, кретинка! Трех слов правильно написать не умела, а туда же — литературой! — Виктор в раздражении выключил телевизор, отхлебнул пива и задумчиво устался в пространство, будто вспоминал о чем-то. И тут зазвонил телефон. Виктор подошел к письменному столу и взял трубку.

— Можно, пожалуйста, Виктора? — спросил женский, с акцентом, голос.

— Кто это? — довольно грубо спросил Виктор.

— Это Виктор говорит?

— Да, да, Виктор Олегович. А это кто?

— Не узнал, да? — женщина коротко расмеялась. — Или притворяешься?

— Ящик сейчас смотрел, потому и узнал, — пробурчал Виктор.

— Ну и как я выглядела? — уже весело спросила женщина.

— Отвратительно! Молола чушь с умным видом.

— Почему чушь? — обиделась женщина.

— Приезжаете из-за бугра и поучаете, как нам тут жизнь перестраивать. Однако совсем вернуться что-то никто не хочет...

— Я сказала свое мнение. Разве я не могу иметь свое мнение?

— Тогда не ври! Застойная жизнь ее заела! Выскочила замуж за штатника и уехала — никто тебя тут не заедает! Ладно, забыли об этом! — Виктор улыбнулся. — Здравствуй, Катенька, ей-богу, рад тебя слышать!

...Они встретились в ресторане Дома кино, забралась в угол за колонной, чтобы не встретиться со знакомыми.

— Ну, рассказывай, мать, какие у тебя там роскошные виллы и кадиллаки. — Виктор закурил, уставился на нее пристально.

— Уверена была, что ты так скажешь, — засмеялась Катя и тоже закурила. — Ты же бывал в Штатах...

— И не раз, — усмехнулся Виктор. — И не только в Штатах.

— Да, да, слышала. Стал известным режиссером.

— Ну, слава Богу, а то я тут ночи не спал, все думал, слышала ты про меня или нет.

— Зачем ты так? Я часто вспоминала тебя — это правда. Всех вас вспоминала. Андрюшу Любавина...

— Он умер, — жестко ответил Виктор. — Три года назад.

— Это ужасно... — глаза ее расширились. — Почему?

— От водки. Пил, как зверь. Цирроз печени...

— Это ужасно... — она покачала головой. — Он такой веселый был...



— Мы все тогда были веселые... Потому что были молодые... Выпьешь или как? — Виктор взялся за бутылку.

— Ты знаешь, я теперь не пью. — Она чуть смутилась, улыбка сделалась растерянной. — Но с тобой, пожалуй, выпью немножко.

— Зачем, старуха? Раз бросила — начинать не надо.

— Я же сказала — немножко. Одну рюмку. За встречу.

— Ну, смотри, хозяин — барин.— Он разлил водку по рюмкам, взял свою.— Ну что? За встречу...

Катя пригубила свою рюмку, некоторое время смотрела, как жадно и быстро он ест.

— Извини, я голодный как черт,— прошамкал он с набитым ртом.

— Как ты? Женат? Есть дети?

— Был женат. И дети есть. Парень и девка.

— Почему развелся?

— Почему люди разводятся? — глянул на нее Виктор.— Надоели друг другу, вот и и... разбежались.

— Значит, ты теперь один? Свободный мужчина! — Она улыбнулась.— Да еще знаменитый режиссер.

— Ой не говори,— в тон ей насмешливо ответил Виктор.— От всяких зубастых щук отбоя нет! Прости за тупой вопрос, а чего ты приехала? На родину потянуло?

— На могилу матери.

— А-а... прости, как-то не подумал...— Он налил еще.— И наверное, все же какие-нибудь дела?

— Хочу предложить какому-нибудь издательству свою книгу.

— Это воспоминания, что ли? — Он усмехнулся.

— Да, мои воспоминания. Ты находишь это смешным?

— Да нет. Просто вряд ли твои воспоминания будут здесь кому-нибудь интересны.

— Как мою маму убило КГБ?

— Ты это точно знаешь? Есть доказательства?

— Больше никому. Они всю жизнь ее преследовали,— глаза Кати загорелись злым огнем.— Странно, что ты в этом сомневаешься. Я написала сценарий фильма. Игрового. Не хочешь снять?

— О чем?

— Обо мне и моей матери. Как мы с ней жили. Как я вышла замуж. Как ее убили.

— Любопытно. А маму играть будешь ты?

— Разумеется.

— Прости, Катенька, у меня другие планы.

— Есть продюсер. Заплатит в долларах.

— Кто этот продюсер?

— Я...— улыбнулась Катя.

— Заманчиво. Представляешь, сколько будет стоить такой фильм?

— Я уже советовалась. Мне сказали: в рублях — четыре-пять миллионов.

— По нынешним временам это немного,— пожал плечами Виктор.

— И у меня есть миллион долларов.

— Это уже серьезно, но...

— Тебе я заплачу сто тысяч долларов,— не дала ему договорить Катя.

— А оператору?

— Пятьдесят.

— Мн-н-да-а...— Виктор побарабанил пальцами по столу, потом налил в рюмки, чокнулся с рюмкой Кати и махом выпил.— Честно говоря, я собирался заняться другим, но...

— Кажется, мы с тобой были неплохими любовниками...— усмехнулась Катя и тоже выпила.— И хорошо изучили друг друга.

— Ошибаешься, моя милая... Хотя, если бы ты не сбежала к этому американцу, ты смогла бы узнать меня лучше...

— Я полюбила... По-настоящему полюбила,— перебила Катя.

— Естественно...— усмехнулся Виктор.— Если мы выходим замуж за богатых иностранцев, то, конечно, только по любви...

— Он тогда совсем не был богатым.

— Но все же — штатник! Да еще летчик!

— Ты издеваешься надо мной?

— Упаси Бог, Катюша. Я ведь до сих пор тебя люблю. Как память о прекрасной нашей молодости.

— Ну, будем считать, мы договорились? Ты принимаешь мое предложение?

— Ты серьезно?

— Совершенно серьезно.— Она требовательно смотрела на него.

— Черт его знает, Катюша...— Виктор на секунду задумался.— За сто тысяч зеленых и телефонную книгу снять можно...

— Ты стал циником, Виктор.

— Просто прагматические соображения,— возразил Виктор.

— Четырнадцать лет назад ты и прагматиком не был.

— Много воды утекло... Хорошо, что убийцей не стал... или аферистом... При нашей-то жизни...— усмехнулся Виктор.

— Ты очень... очень изменился...— Она вдруг сама налила себе водки, поставила бутылку.

— А мне? — весело спросил Виктор.

— Ты нахал. Хочешь, чтобы женщина за тобой ухаживала.

— Ты не много пьешь?

— Это мои проблемы, Виктор.— Катя выпила, поморщилась.— Ты хорошо помнишь мою маму?

— Помню... Сложная была женщина...— задумался Виктор.

— Я только теперь понимаю, какая она была... страдающая.— Глаза Кати затуманились.

— Страдалица,— поправил ее Виктор.— Ты стала русский забывать.

— Да, иногда я это чувствую...

...Она пришла в номер гостиницы поздно вечером, включила свет, обессиленно плюх-

нулась в кресло перед телевизором, тупо уставилась в мертвый экран, и только теперь можно было заметить, что она сильно пьяна. Нетвердой рукой она нашарила на журнальном столике пульт управления, нажала кнопку. Экран засветился, и через секунду появилось изображение рок-ансамбля в плавающем дыму и разноцветных лучах, и грянула музыка. Катя нашла в сумке пачку сигарет, закурила, тупо глядя на экран.

...Ей вспомнился дом в Нью-Джерси, красивый белый дом на громадной зеленой лужайке, с аккуратными белыми колоннами, двухэтажный, под красной черепицей. Перед раскрытыми воротами гаража сверкал под солнцем красный форд. По лужайке носился темно-желтый длинноухий спаниель. Людей не видно. Под белым зонтообразным тентом — белый столик, кресло-качалка, белый стул. На столике — недопитая бутылка виски, граненый хрустальный стакан, пачка сигарет. Рядом стоит мольберт, и на нем — натянутый на подрамник холст. Недописанный пейзаж. На траве — раскрытый ящик с тюбиками красок.

Из дома вышла Катя, нетвердыми шагами спустилась по ступенькам, шла босиком. Шелковый синий халат расстегнут, под ним — трусики и бюстгальтер, длинные волосы рассыпались по плечам. Спаниель бросился к ней, но Катя его не заметила, подошла к столику, налила в стакан виски, залпом выпила. Потом посмотрела на недописанный пейзаж на мольберте. Поморщилась. Взяла палитру, кисть и стала со злостью замазывать черным нарисованное... Потом опять налила виски, выпила, плюхнулась в кресло-качалку, дотянулась до пачки сигарет, закурила. Спаниель приплясывал возле нее, вставал на задние лапы, передними царапая голые колени. Она поморщилась, грубо отпихнула от себя собаку.

Откинув голову, закрыла глаза, курила... Потом рука с сигаретой безвольно упала, повисла неподвижно, и дым от сигареты поднимался вертикально. Было жарко и безветренно.

В глубине лужайки появился белый форд, подкатил по бетонной дорожке к гаражу, остановился перед раскрытыми воротами. Из машины выбрался высокий, крепкого сложения мужчина средних лет, в светлом летнем костюме. Сильное загорелое лицо с резким подбородком и выступающими челюстями, синеглазое. Это муж Кати — Джек Холлсон. Он медленно подошел к тенту, под которым в кресле-качалке спала Катя. Спаниель метался вокруг Джека. Джек подошел, взял почти пустую бутылку из-под виски, посмотрел на свет, сколько осталось, поморщился, пробормо-

лтал:

— Опять... О, черт возьми... Кэт, ты слышишь меня?

— М-м-м...— сквозь пьяную дремоту промывчала Катя. Голова ее свесилась на грудь, волосы закрывали лицо.

Джек посмотрел на замазанный холст на мольберте, потом присел на корточки, раздвинул завесу волос, пальцами за подбородок приподнял ее лицо, погладил по щеке. Рядом скулил и суелится спаниель.

— Кэт... что ты с собой делаешь?

— М-м-м, отстань...— снова мычит Катя. Полы халата распахнуты, висят по обе стороны качалки, открывая красивые длинные ноги. Джек погладил ее по ногам, бедрам, покачал головой:

— Что происходит, Кэт? Когда это кончится?

— Ваня...— пробормотала, не проснувшись, Катя.— Ваню позови...

— Ваня в колледже...— Джек выпрямился, медленно направился к дому. Голова Кати снова безвольно упала на грудь. Спаниель помчался за хозяином...

...А теперь лужайка многолюдна. Моложавые мужчины в костюмах, женщины в легких летних платьях или шортах и брюках. Две пары играли на лужайке в бадминтон, слышны крики и смех. Спаниель очумело носился между ними в надежде поймать волан. Несколько круглых белых столиков заставлены бутылками с виски, водкой и винами, фужерами и гранеными, из хрустала, стаканами, в чашках в воде плавали куски льда, стояли круглые и овальные блюда с маленькими бутербродами. Большинство гостей расположились вокруг тента на белых стульях, почти у всех в руках бокалы или стаканы с напитками. Несколько мужчин уединились группкой в стороне и о чем-то беседуют.

Катя пытается завладеть вниманием большой группы, расположившейся вокруг тента.

— Один чулка возвращается с партийного съезда,— на не очень складном английском рассказывает Катя, время от времени отпивая глоток виски с водой из граненого стакана.— Собрался знакомые, родственники, и он рассказывает: «Было очень интересно. Брежнев видел. Но что самое интересное — оказывается, Карл Маркс и Фридрих Энгельс не муж и жена, а четыре разных человека!» — Катя весело рассмеялась, но все остальные лишь натянуто улыбались, не понимая «соль» анекдота. Потом одна из женщин вежливо спросила:

— Чулка — это что-то съедобное, Кэт?



— Так, господа, с вами все ясно,— сказала Катя по-русски и тут же добавила по-английски: — Простите, господа, я сейчас...— и направилась к дому расслабленно покачивающейся походкой.

Катя зашла на кухню, где хлопотала у плиты служанка Джейн, расплывшая пятидесятилетняя женщина. Катя отыскала в подвесном шкафу за коробками початую бутылку виски, отхлебнула из горлышка и, выразительно

посмотрев на Джейн, приложила палец к губам:

— Пирог готов?

— Да, миссис Кэт, давно готов.

— Ну-ка...— Катя отломилла прямо с протвения кусочек, пожевала.— М-м, яблочный... как они мне осточертели, эти яблочные пироги и рождественские индейки... Ладно, тащи гостям...

— А вы, миссис Кэт? — Джейн испуганно смотрела на нее.

— А я буду позже...— Катя спрятала бутылку обратно за коробки, вышла в холл и тут же наткнулась на Джека.

— Почему ты ушла, Кэт?

— Ну их в задницу, Джек,— улыбнулась Катя.— Они мне осточертели.

— Так невозможно себя вести, Кэт, когда ты это поймешь?

— Ни-ког-да! — по слогам ответила Катя по-русски и повторила по-английски.

— Сколько лет мы вместе, а ты никак не образумишься...

— Ты хочешь, чтобы я была похожа на них?

— Я хочу, чтобы ты, наконец, стала нормальной американкой.

— Этого не может быть, потому что не может быть никогда,— улыбалась Катя.— Но я люблю тебя, милый, и счастлива, что хоть ты у меня стопроцентный американец.

— И твой сын.

— Нет, Джек, он — русский...

— Он — американец.— Джек поцеловал ее.— И я сделаю все, чтобы он вырос настоящим американцем. Потому что я хочу, чтобы он был счастлив. Вы, русские, к сожалению, не умеете быть счастливыми...

— Так, как вы? Да... к сожалению, не умею...— вздохнула Катя.

— Пойдем к ним, пойдем...— Джек потянул ее за руку.— Побудь хоть немного пайнкой. Что тебе стоит? Ведь ты можешь, если захочешь... Джейн, несите яблочный пирог! И приготовьте кофе!

...Долгие телефонные звонки разбудили Катю, заснувшую прямо в кресле перед телевизором. Она очнулась, взяла трубку, спросила охрипшим со сна голосом:

— Алло... слушаю...

— Катя? Это я, Виктор. Завтра жду тебя на студии в два часа. Познакомлю с оператором. Ты не забыла, где студия?

— Ты заедешь за мной,— холодно проговорила Катя.— И не будь хамом. Тем более, что я — продюсер, и доллары тебе и твоим засранцам платить буду я.— И Катя бросила трубку, тяжело поднялась с кресла, подошла к окну. Внизу была видна полутемная Тверская.

Редкие фонари, живые огоньки одиноких запоздалых машин. Катя курила и смотрела в окно...

—...Ты хорошо помнишь, как была одета мать, когда приехала за тобой? — спрашивал Виктор, расхаживая по комнате.

Катя сидела боком на стуле у канцелярского стола, заваленного бумагами, старыми фотографиями. На диване, напротив, сидели оператор Вадим, худой, желчного вида человек, носатый, с густой гривой полуседых волос, и пожилая женщина с блокнотом на коленях и карандашом в руке.

— П-помню...— не совсем уверенно ответила Катя.

— Пожалуйста, отправляйся с Ниной Константиновной в костюмерную и посмотрите одежды того времени. И отберите то, что нужно, я потом приду и посмотрю. Нина Константиновна, Леночка пришла?

— Ждет в соседней комнате,— ответила пожилая женщина.

— Позовите ее, пожалуйста.

Нина Константиновна вышла и скоро вернулась с долговязой, нескладной девчонкой лет четырнадцати.

— Катя, это Леночка. Она еще учится в школе, но девочка способная. Она будет играть тебя в то время, когда ты была в детском доме. Уверен, вы подружитесь. А сейчас отправляйтесь в костюмерную все вместе. Я скоро приду.

Когда Катя, Лена и Нина Константиновна вышли, Виктор молча прошелся по комнате, мельком глянув на развешенные по стенам фотографии, потом остановился напротив развалившегося на диване оператора Вадима:

— Ну, что?

— А что? — пожал тот плечами.— Ты сценарий-то будешь переписывать?

— Буду,— решительно кивнул Виктор.

— И кто, ты думаешь, убил ее мать?

— А черт его знает...— Виктор опять заходил по комнате.

— КГБ? — Вадим закурил, задымил сигаретой.

— Вряд ли... Ну зачем она им нужна? Чем она могла им так уж насолить? Несчастливая, старая женщина... И в политику она никогда не лезла... И отсидела ни за что...

— Но что мы снимать будем?

— Пока не знаю... Я ее хорошо помню. Придешь, звонишь в дверь — она три раза переспросит: «Кто там?» Хотя отлично меня знала и голос мой знала. Отвечаешь: «Это Виктор, Ольга Александровна». «Какой Виктор?» «Ну, Виктор Бредихин! Катин друг! Кончайте дурака валять, Ольга Александров-



на!» До истерики могла довести, пока открыт...

— Ну? — не понял, к чему клонит Виктор, оператор Вадим.

— Баранки гну! Это значит, что она знала убийцу. Или убийц. Голос знала! Поэтому и открыла сама...— Виктор говорил всё с большим волнением.— Вот это и есть главная загадка.

— И ты надеешься ее разгадать? — усмехнулся Вадим.

— По крайней мере, есть желание. А для фильма это многое значит.

— Может, в КГБ обратиться? Интересно, что они скажут.

— Пошлют тебя куда подальше. Убийца не найден, следствие закрыто — это все, что мне удалось узнать.

— То, что знают все,— усмехнулся оператор.— Ладно, будем мучиться вместе — нам не впервой.

— Пошли в костюмерную...— И Виктор первым направился к двери.

...Павильон представляет кабинет директора детского дома. Катя сидела на стуле у канцелярского стола, за которым громоздился плечистый, будто вытесанный из одной каменной глыбы, мужчина в военном кителе без погон. Катя нервно курила, глядя на дверь. На ней светлый габардиновый плащ, какие носили в конце пятидесятых, и черная шляпка с вуалью и красным искусственным цветком.

За камерой — Вадим, рядом стояли Виктор и ассистент оператора — долговязый, длинноволосый парень. Позади них толпились другие члены съемочной группы.

— Тишина на площадке! — громко приказал Виктор.— Камера готова?

— Давным-давно,— пробурчал Вадим, припадая к «глазку».

— Мотор!

К Кате подошла стройная девочка в брюках и кожаном пиджаке с «хлопушкой»:

— Кадр 76-й, дубль первый!

— Начали! — почти выкрикнул Виктор.

Катя закурила новую сигарету, вопросительно посмотрела на мужчину в кителе — это директор детского дома.

— Не нервничайте, Ольга Александровна, сейчас ее приведут,— густым басом проговорил директор.

Открылась дверь, и в кабинет воспитательница за руку ввела долговязую девчонку. Это Лена, которая играет маленькую Катю.

Катя порывисто встала, бросилась к девочке:

— Катенька!

Лена инстинктивно подалась назад, в раскрытую дверь, но Катя успела ухватить ее за рукав старенького заношенного пальто, притянула к себе, забормотала со слезами на глазах:

— Доченька, ты меня боишься? Ты меня не узнаешь? Совсем-совсем?

— Ты моя мама? — испуганно, тихо спросила Лена.

— Твоя мама... Ты меня не помнишь? — Катя заглядывала ей в глаза.

— Тебя отпустили из тюрьмы?

— Да...— Катя пальцем утерла слезу со щеки.

— Тебя амнистировали? — серьезно, как взрослая, спрашивала Лена.

— Нет, меня реабилитировали, доченька. И даже извинились...

— За что?

— Ну...— Катя растерялась, не зная, что ответить.— За то, что со мной поступили несправедливо... неправильно, понимаешь?

Девочка молчала, недоверчиво смотрела на мать.

— Доченька... моя доченька...— Катя прижала девочку к себе, всхлипнула.

Виктор напряженно следил, как «движется» сцена, и ожесточенно грыз ноготь.

— Ты меня забереешь отсюда? — спросила Лена.

— Заберу, доченька, заберу, родненькая моя! Мы теперь никогда с тобой не расстанемся, никогда, никогда...

— Стоп! — выкрикнул Виктор и только теперь заметил, что до крови обгрыз ноготь.

Катя выпрямилась, торопливо платком утерла слезы, одновременно размазав тушь с ресниц, грим со щек.

— Леночка, Катя, все хорошо! Отлично! Умницы! — отрывисто выкрикивал Виктор, потом глянул на Вадима.— Как у тебя?

— Как всегда — в норме,— ответил оператор.

...В гостиницу она приехала угрюмая, совершенно без сил. Долго открывала ключом номер. Вошла, включила свет, швырнула на диван сумку. Пошла в ванную, раздеваясь на ходу... Разделась... Забралась в ванну, включила сильный душ и долго стояла под теплыми струями, подняв лицо и закрыв глаза. Намокшие пряди волос прилипли к плечам и спине. Потом надела прямо на мокрое тело махровый белый халат и вышла из ванной. Достала из холодильника бутылку виски, маленькую бутылочку тоника, налила в бокал, разбавила. Медленно выпила бокал до дна, закурила и опустила ногу в кресло. Закрыла глаза, выгнула ноги. За темным окном светилась красно-синяя реклама на доме напротив, доносился шум машин.

И вдруг часто, прерывисто загремел телефон. Катя очнулась от полудремы, дотянулась до телефона.

— Алло! Алло! — донесся женский голос, говоривший по-английски.— Вас вызывает Бостон! Отвечайте! Госпожа Холлсон?

— Да, да, слушаю. Я у телефона,— по-английски ответила Катя.

Женский голос пропал, и через секунду раздался голос Джека:

— Алло, Кэт, это ты?
— Я. Здравствуй, Джек. Как поживаешь?
— Все хорошо. Много работы.
— Как Ванечка?
— Отлично. Начал играть в бейсбол. У него отлично получается. Я смотрел матч — я в восторге!

— Я тоже,— улыбнулась Катя.— Поцелуй его за меня.

— Обязательно. Как у тебя дела? Фильм снимается?

— Да, очень трудно, Джек. Я очень устаю. Это, оказывается, адская работа.

— Любая работа адская, если ее хорошо делать... Про убийство матери ничего нового не удалось узнать?

— Нет... Режиссер пытался что-то выяснить, даже ходил в КГБ, но пока ничего...— Катю вдруг охватила усталость.

— У них ничего нет или у них что-то есть, но они не хотят говорить? — допытывался Джек.

— Не знаю, Джек.

— Ты не боишься, что КГБ может помешать твоему фильму?

— Вряд ли, Джек. Здесь теперь другие времена. Во многом такие же, но... другие...

— Домой не собираешься?

— Пока идут съемки — не могу. Но я постараюсь вырваться хоть на недельку. Очень соскучилась по Ивану.

— А по мне не соскучилась?

— По тебе тоже...— Катя чуть поморщилась.
— Ты что-то скрываешь от меня, Кэт. Не хочешь говорить?

— По поводу чего?

— По поводу фильма... КГБ... режиссера... Мне так кажется...

— Тебе действительно кажется.— Катя снова чуть поморщилась.

— Я на несколько дней полечу в Нью-Йорк, позвоню через неделю. Бай-бай, Кэт!

— Бай, Джек...

Раздались короткие гудки, и Катя положила трубку. Поднялась, налила себе еще виски и тоника. Выпила. Закурила новую сигарету. Подошла к окну, курила и смотрела на рекламу...

...Ей вспомнилось, как они ехали из города домой. Вечернее шоссе был пустынным, и форд летел на бешеной скорости. Катя была за рулем, а Джек сидел рядом и с беспокойством поглядывал на спидометр, не выдержал, сказал:

— Гонишься за своей смертью?

— Почему за своей? За нашей! — рассмеялась Катя.

Из магнитофона гремела рок-музыка, ветер врвался через открытый люк на крыше.

— Можно без этих дурацких шуток? Сбавь скорость.

— Э-эх, летчик, а боишься скорости!

— Именно потому, что я — летчик. Глупо искать свою смерть — она сама тебя найдет... Вот заправка, заверни — у тебя бензин на нуле.

Катя притормозила, свернула на дорожку к заправочной станции. Остановились у бензоколонки, и тут же из стеклянного кафе выбежал паренек лет шестнадцати, подбежал к машине. Катя бросила ему ключи, вылезла из форда, сказала:

— Масло надо долить.

— О'кей, миссис,— кивнул паренек, отвинчивая крышку бензобака.

Джек тоже выбрался из машины, и они направились к кафе. Здесь было прохладно — работали кондиционеры и под потолком вращался большой вентилятор. За стойкой бара возвышался плечистый, с накаченными мускулами, парень лет тридцати, синеглазый, с копной соломенных густых волос. Он приветливо улыбнулся вошедшим.

— Чашку кофе,— сказал Джек.

— Виски с содовой,— сказала Катя.

— Ты за рулем,— укоризненно произнес Джек.

— Теперь ты будешь за рулем.

Бармен налил виски, разбавил содовой, поставил бокал перед Катей и включил кофеварку. Катя посмотрела на бармена, было видно, что он ей понравился.

— Вы женаты? — спросила она.

— Да, миссис,— улыбнулся бармен.

— А этот мальчик ваш сын?

— Это мой младший брат, миссис,— опять улыбнулся бармен.— Мой сын еще ползает на четвереньках.

— Его здоровье.— Катя в один глоток осушила бокал.

Катя раскрыла сумку, порылась в ней, достала четыре сто долларовые бумажки, бросила их на стойку:

— Купите вашему сыну от нас подарок.

— Кэт... что ты делаешь? — сквозь зубы процедил Джек.

Бармен растерялся, взглянул на Катю. Она залихватски подмигнула ему, послала воздушный поцелуй и пошла от стойки к выходу.

— Благодарю вас, миссис,— вслед проговорил бармен и хотел было взять деньги, но Джек успел раньше протянуть руку.

В это мгновение Катя обернулась, увидела, как Джек забирает со стойки деньги, и услышала:

— Извините мою жену — она немного выпила.— Джек отсчитал из своего бумажника несколько мелких купюр, бросил на стойку и направился к выходу.

...Они ехали по шоссе и громко ругались.
— Дура! Кретинка! Дикарь! Неужели ты не понимаешь, что только оскорбила его своей подачкой!

— Врешь, козел! Тебе просто стало жалко денег!

— Тебе не жалко! Ты никогда не поймешь, что это такое!

— Я плевать на это хотела!

— Плюешь на то, чего у тебя нет, ха-ха-ха! Вы все русские такие.

— Да, такие! Плевать хотели на вас и на ваши деньги!

— Ты — пьяная русская хамка!

— А ты — американский робот! И жмот! Да, мы — рабы! Всегда были рабами! Но мы — живые! Понял ты, компьютер!? Живые! Мы любим, плачем, смеемся, ненавидим! А вы — только работаете и деньги считаете! Вы даже с женами трахаетесь в служебном порядке! Амебы одноклеточные! Инфузории-туфельки! Семь лет с тобой живу — ни разу с книгой в руках тебя не видела! Козлы полуграмотные!

— Это ты говоришь про Америку? — презрительно улыбался Джек.— Куда каждый год привозят все Нобелевские премии!

— Эмигранты привозят! Евреи, поляки, немцы, мы, русские! Вы сами уже давно ничего не можете! Только покупаете! Таланты! Умы! Физическую силу! Но есть то, что вы никогда не сможете купить! Душу человеческую! Это не продается! Живая душа, понял, ты, робот?! Страдания не купите! Мечты! Переживания! Радости!

— Оставь это себе,— поморщился Джек.— Страдания — это ваша профессия.

— Но зато мы понимаем, что такое жизнь! Мы думаем о ней! О душе! О смысле этой жизни! А для вас жизнь — способ добывания денег! И всё по расписанию! Работа, уикэнд, телевизор! Ты даже трахаешься со мной по расписанию!

— Зато ты готова трахаться со всеми подряд, как последняя шлюха! — зло закричал Джек.— Думаешь, я не видел, какие у тебя сделались сексуальные глаза, когда ты увидела этого бармена?! Если б не я, ты бы уже трахалась с ним прямо на стойке бара!

Катя замерла, лицо окаменело.

— Останови машину,— потребовала она.

— Почему? Вы же любите, когда вам говорят правду? — усмехнулся Джек.

— Останови машину! Или я сейчас выпрыгну! — Она открыла дверцу, ветром дверцу прижало к корпусу, но Катя с усилием открыла ее и подалась всем телом наружу.

— Идиотка сумасшедшая! — закричал Джек, нажимая на тормоз. Машина с визгом начала останавливаться.

Катя выбралась из форда и пошла по шоссе. Джек подождал, потом медленно поехал,

поровнялся и продолжал ехать рядом. Выступил из машины с перекошенным от злости лицом:

— Я бы с удовольствием избавился от тебя. Но не таким способом! Я не хочу, чтобы меня обвинили в убийстве! Садись в машину.

— Пошел ты... к нехорошей маме! — Катя продолжала идти по шоссе. Остановилась, сдернула туфли и пошла босиком.

...Она не знала, сколько времени шла по шоссе. На подошвах ног вспухли кровяные пузыри, и теперь она шла, морщась от боли. Мимо проскакивали машины, иногда тормозили и водители спрашивали:

— Вас подвести?

— Мне тут недалеко! — старательно бодро отвечала Катя.

Потом на солнце напозлзи тучи, потемнело, послышались раскаты грома, и хлынул неистовый ливень, тяжелый и отвесный. Катя продолжала идти, подставляя лицо под холодные струи дождя.

И тут она увидела красный форд Джека. Он стоял на обочине шоссе. Катя поровнялась с машиной, открыла дверцу и села. Джек молча включил зажигание. Вода стекала с Кати на сиденье и резиновый коврик на полу.

— Ты делаешь успехи,— сказала Катя.

Джек не ответил, резко нажал на газ — форд рванулся вперед.

...В съемочном павильоне — декорация московской квартиры Кати, где она жила с матерью. Оператор Вадим и его ассистенты возились с камерой, устанавливая ее на треноге посередине декорации.

— Ну, что у тебя? Готово? — нетерпеливо спрашивал Виктор.

— Подожди, я не робот! — нервно ответил Вадим.— Мне эта точка не нравится.

— Почему?

— По кочану да по капусте! Не нравится и все!!!

— Хорошо.— Виктор не терял терпения и спокойствия.— Где тебе нравится?

— Не знаю! — уже зло отвечал Вадим.— Тупая какая-то декорация! Ни простора, ни глубины...

Виктор подошел к Лене и Кате, которые сидели на диване в простенке между окон, присел на корточки перед Леной, заглянул в глаза:

— Устала, Леночка? Что-то кислая, а?

— Жду, когда начнется съемка,— поспешно улыбнулась Лена.

— А ты? — Виктор взглянул на Катю.— Плохо выглядишь.

— Плохо спала... думала...

— О чем?
— О своей жизни. О чем я еще могу думать? О всеобщем разоружении?

— Много будешь думать — скоро как Баба Яга станешь, — усмехнулся Виктор. — Слушай, а когда мать начала собирать бриллианты?

— Н-ну... — Катя задумалась. — В общем почти сразу, как мы приехали жить в Москву.

— А на какие бабки?

— Ей же выплатили большую компенсацию. Потом назначили очень неплохую пенсию. Потом она почти сразу начала сниматься... Роли, правда, были небольшие, но... платили неплохо. — Катя закурила, протянула сигарету Виктору. — Как ты помнишь, бриллианты в те времена стоили дешево...

— Помню, она была просто на них помешана, — сказал Виктор, прикуривая.

— Если помнишь, мы жили очень скудно... Она на всем экономила, и почти все деньги тратила на эти чертovsky камни...

— Из-за них и погибла... — вздохнул Виктор.

— Да... это было, как проклятье... Каких-то старух разыскивала, торговалась с ними, обменивалась...

— Мы готовы! — из дальнего угла прокричал Вадим...

...Лена пылесосом чистила ковер, расстеленный на полу. Потом оставила пылесос, пошла к кровати, стоящей у стены, начала перестилать смятые простыни, взбивать подушки. Заправляя простыню под матрац, Лена приподняла его и вдруг обнаружила под ними какие-то свертки, матерчатые мешочки. Лена вынимает свертки, разворачивает их и морщится от неприятного запаха — это протухшие куски колбасы, ветчины, затхлая рыба, засохшие куски сыра. Лена развязывает мешочки и высыпает содержимое на простыню. И в это время за стеной декорации раздается бодрый голос Кати:

— Катюшенька, ты дома? Это мамка твоя пришла! — И в декорацию вошла Катя в габардиновом плаще и нелепой, с искусственным цветком и вуалью шляпке, с продовольственной кошелкой в руке. Она весело смотрела на Лену, потом перевела взгляд на кровать, где рассыпаны протухшие и заплесневевшие продукты, и взгляд ее сделался испуганным.

— Мама-а... — плачущим голосом произнесла Лена. — Зачем ты это делаешь? — Лена села на кровать, закрыла лицо руками, всхлипнула.

— Доченька! Катенька! — Катя бросилась к ней, уронив кошелку. — Ну что ты, глупенькая моя! Нашла, отчего плакать... Ну, перестань, перестань...

— Зачем, мама, заче-ем... — всхлипывая, повторила Лена.

— Доченька, а вдруг снова за мной придут? — сделал страшные глаза, зашептала Катя, и в эти секунды она походила на сумасшедшую. — Ты тогда будешь носить мне передачу... и все это пригодится... У меня еще в кладовке много спрятано, я тебе покажу.

— Мама-а... мама-а-а...

— Ты думаешь, я сумасшедшая, да? Не-ет, Катенька... Просто мне и теперь еда снится... А камушки, знаешь, зачем я покупаю? Когда я умру, у тебя будет, на что жить... Ты их всегда сможешь продать, миленькая моя... камушки не стареют и не дешевеют...

— Мама! — визгливо закричала и затопала ногами Лена, вскочив и отбежав к окну. — Нельзя так жить, мама!

— Не кричи, Катенька. — Катя тоже встала, торопливо подошла к старому застекленному буфету красного дерева, дрожащими руками открыла ключом дверцу, потом другим ключом открыла ящик, передвинула какую-то секретную задвижку и, наконец, вытащила из глубины буфета два глубоких ящичка, высыпала из них драгоценности — тут и кольца с бриллиантами, серьги и кулоны, браслеты и даже старинная бриллиантовая диадема. Катя дрожащими пальцами пересыпала их с руки на руку, и глаза ее вспыхивали радостным светом:

— Смотри, Катенька, это все тебе... все тебе... это будет твое приданое, когда соберешься замуж...

— Да не нужны они мне, мама! — закричала Лена. — Из-за них мы впроголодь живем! Ты же во всем себе отказываешь! Одеваешься, как... как домработница!

— Я хочу, чтобы у тебя было обеспеченное будущее, Катенька... чтобы ты жила лучше, чем я...

— Не хочу! Не хочу! — опять закричала Лена и затопала ногами, хотела еще что-то сказать, но тут раздался голос Вадима:

— Стоп! Пленка кончилась — перезарядиться надо.

Возникла мертвая пауза. Выпучив глаза, Виктор смотрел на Вадима, потом спросил сипло:

— Почему ты остановил съемку?

— Я же говорю — пленка кончилась.

— Козел! Я тебе в морду дам! Ты сценарий читал или не читал? — Виктор бросился на Вадима, сжав кулаки, но тот успел спрятаться за треногу, а потом кинулся за декорацию...

...Они сидели в ресторане, в укромном углу, и на столике уютно светила лампа под зеленым абажуром. Сидели втроем — Катя, Виктор и Вадим. Столик заставлен тарелками с заку-

ками, бутылками с вином, минеральной водой, отдельно стояла початая бутылка водки. Тарелки наполвину опустошены, пепельница полна окурков.

— Ты никогда не рассказывала, как мать отнеслась к тому, что ты влюбилась в штатника,— говорил Виктор.— В сценарии об этом ничего. А мы с тобой в то время уже разбежались.

— Хочешь сказать, в то время ты меня уже бросил? — усмехнулась Катя.

— Не будем уточнять, старуха, кто кого бросил,— тоже усмехнулся Виктор.— Помню только, что она на стенку лезла, когда слышала, что ты можешь выйти за меня замуж! «Катенька, он же пьяница! Хулиган! Антисоветчик! У него никогда не будет работы!» — подражая женскому голосу, проговорил Виктор.

— Она была недалеко от истины,— пробурчал Вадим.

Катя засмеялась, а Виктор свирепо посмотрел на оператора:

— Жаль, что ты сегодня остался живой...

— Как мама на штатника реагировала? Как всякий советский человек. Да еще отсидевший десять лет по пятьдесят восьмой. В ужас пришла, конечно. Была уверена, что и ее, и меня обязательно посадят. Отговаривала, кричала, плакала...

Вадим опрокинул рюмку в рот, поморщился, фыркнул:

— Интересно, из какого дерьма теперь большевики водку делают?

— А ты пей виски,— сказал Виктор.— Заказать?

— Виска кусается,— вздохнул Вадим.— И потом, русскому человеку виску пить неприлично.

— Почему? — улыбнулась Катя.

— Водка должна быть пшеничная, сволочи! — Вадим вдруг ударил кулаком по столу так что подпрыгнули тарелки.— Хлебная! Чистая!

— Ты уже напился, Вадюша,— заботливо сказал Виктор.

— Уже за одно это коммунистов люто ненавижу! Всю водку испоганили, подлещы!

Катя коротко рассмеялась. Виктор заулыбался. А Вадим мрачно сопел, жуя соленый огурец.

— Ты так далеко зайдешь, Вадюша,— усмехнулся Виктор.— До полного отрицания всего... общества.

— А я давно его отрицаю... Когда еще никакой перестройки не было, я все говно отрицал...

— Вы просто революционер со стажем, Вадим,— весело сказала Катя.

— Я не революционер,— вдруг зло ответил

Вадим.— Но и в Америку, как некоторые, не драпал.

Катя оскорбленно вскинула голову, будто ее ударили.

— Успокойся, Катя, он не тебя имел в виду. Ты ведь не Катю имел в виду, Вадюша? Наверное, Василия Аксенова?

— Ага... именно его,— мотнул головой Вадим, налил себе рюмку, выпил и стал тяжело подниматься.— Пожалуй, пойду... А то наговоришь грубостей — потом извиняться придется. А я терпеть не могу извиняться... Пока.

— Он меня не любит,— огорченно сказала Катя.

— Достаточно того, что я тебя люблю,— ответил Виктор.

— Разве? До сих пор? — удивилась Катя.— Или ты меня любишь, как... коллегу по работе?

— Конечно. Если учесть, что эта коллега заплатит мне сто тысяч гринов.

— Никогда не могла понять, когда ты шутишь, а когда говоришь серьезно,— нахмурилась Катя.

— Чем больше лет, тем меньше шутишь,— вздохнул Виктор.

— Женщины в моем возрасте любят серьезных мужчин,— утешила его Катя.

— Серьезных, но не скучных. А я, матушка, стал скучным, толстым... и глупею день ото дня...

— Ты меня устраиваешь и такой.— Она с улыбкой положила свою руку на его, легонько стиснула...

...Виктор гнал свои «жигули» по вечерним улицам.

— А помнишь, друг у тебя был? Маленький такой, тоже оператор. С рыжими усами.

— Шурупкин Валера...

— Валера, да! — Катя засмеялась.— Помнишь, мы в аэропорт в ресторан гулять поехали? Ему места в такси не хватило.

— И мы уговорили таксиста запихнуть его в багажник,— улыбаясь продолжил Виктор.— А он там заснул, а мы про него забыли... И таксист забыл...

Катя захлебнулась от хохота.

— Помнишь, какой разъяренный он влетел в ресторан! Усы торчали, как у kota! Боже, как он матерился!

— Еще бы! Два часа пролежать скрюченным в багажнике... — Виктор смотрел вперед и невольно улыбался, вспоминая. Катя смеялась.

— А помнишь, как ты по водосточной трубе лез ко мне в общежитие? И грохнулся с третьего этажа, сумасшедший! — Она опять засмеялась.

— До сих пор спина побаливает,— усмехнулся Виктор.

— А помнишь, как твой друг... сценарист... Как его на госэкзамене спросили: «Скажите три принципа социалистического реализма?»

— А он ответил: «А я откуда знаю»,— опять подхватил Виктор, и теперь они захохотали вдвоем.

Потом смех оборвался, и в машине стало тихо. Ровно гудел мотор...

...Они подъехали к гостинице, остановились напротив освещенного подъезда, у которого прохаживались молоденькие, модно одетые девушки, кучками стояли парни в кожанках и джинсах. Катя внимательно посмотрела на девушек, вздохнула, погасила сигарету в пепельнице:

— Ладно, Витя, я пойду. Спасибо за хороший вечер.

— Я провожу тебя.— Он взял ее за руку.

— Не надо...

— Почему?

— Потому что я знаю, что будет,— грустно улыбнулась она.— А нам надо еще много работать...

— Катя...

— До завтра, Виктор.— Она наклонилась, поцеловала его в щеку и открыла дверцу машины.

Виктор смотрел, как она шла к подъезду...

...Она пришла в свой номер, разделась, не включая свет, и легла в кровать. Заснуть не могла. Широко раскрытыми глазами смотрела в черное окно. Белки глаз серебристо блестя в темноте...

...В тот вечер она приехала с прогулки на лошади. Она хорошо сидела в седле, одетая в джинсы, куртку и на голове ковбойская шляпа с загнутыми полями. И лошадь была замечательная — тонконогая, с длинной, словно выточенной шеей и аккуратной маленькой головой. Было еще светло, солнце уходило за горизонт, и в его косых лучах масляно блестяли мокрые от пота желтые бока лошади. Катя подъехала к конюшне, стоявшей на краю поля. У ворот конюшни ее встретил пареньковбой, в джинсах, полуголый, но тоже в ковбойской шляпе.

— Отличный экземпляр, миссис Кэт, не правда ли? — Парень расстегнул подпругу, снял седло, чепрак.

Катя прошла через поле к дому, глядя на оранжевый, как апельсин, диск солнца.

Джейн возилась на кухне. Катя заглянула в столовую, увидела, что стол пуст, пошла на кухню.

— Почему не накрыто к ужину, Джейн? Мистер Холлсон скоро придет.

— Он придет поздно, миссис Кэт. Я могу вам накрыть одной, если желаете.

— Откуда ты знаешь? Он что, звонил?

— Да. Сказал, что у него деловая встреча и он будет ужинать в ресторане. Просил передать, чтобы вы не беспокоились.

Катя не ответила, побрела из кухни через холл в гостиную.

— Вам подать ужин, миссис Кэт? — спросила вслед Джейн.

— Нет, спасибо...— Катя легла на диван прямо в сапогах для верховой езды, задумчиво уставилась в потолок. Потом резко поднялась с дивана, пошла из дома...

...Она зашла в гараж, открыла ворота, завела машину, выехала и помчалась по узкой асфальтовой дорожке.

Она вырвалась на шоссе и погнала машину на бешеной скорости. Колеса шипели по асфальту, словно сало на раскаленной сковороде.

Катя заехала в один фешенебельный ресторан, вошла в зал, отстранив рукой швейцара, долго оглядывала зал.

Вышла, села в машину, поехала дальше, лавируя в потоке машин.

В другом ресторане Джека тоже не было. Но все же она нашла его. В центре города, в ресторане бизнес-клуба. Трое мужчин в вечерних костюмах и три молодые девушки в вечерних туалетах сидели за столом, о чем-то разговаривали, смеялись. Джек был среди них, и рядом с ним — полуголая, загорелая, черноволосая девушка, и рука Джека лежала на ее обнаженных плечах, гладила шею, пальцы перебирали завитки волос возле уха.

Катя подошла к столу — Джек сидел к ней спиной и не видел, зато увидели друзья, сидевшие напротив, и лица их окаменели.

— Привет, джентльмены, развлекаетесь? — весело сказала Катя и сбросила руку Джека с плеч девушки.

Джек обернулся, испуганная улыбка появилась на лице:

— О-о, Кэт...— только и смог выговорить он.

— Привет, киса,— Катя наклонилась и похлопала девушку по плечу.— Как ты себя чувствуешь?

— Отлично...— улыбнулась девушка, полуобернувшись.

— Я рада за тебя.— Катя вдруг взяла ее за волосы и резко ткнула лицом в тарелку с салатом и мясом.

Девушка взвизгнула — лицо было перепачкано сметаной и соусом, прилипли кусочки зелени. Катя развернула девушку к себе и



хлестнула ладонью по щеке. Раз, другой, третий! Девица вскочила, взвизгивая, стала отбиваться руками. Вскочил Джек, схватил Катю за талию, пытаясь оттащить в сторону. Катя дралась яростно и хладнокровно. Напоследок, когда Джек уже тащил ее от стола, она ударила девицу ногой в пах, и девица, застонав, повалилась прямо на стол. Полетели на пол тарелки, бутылки, вазочки с мороженым. Друзья Джека и их возлюбленные продолжали сидеть с каменными лицами, будто происходящее их не касается. Весь ресторан пялил на них глаза. Сбежались официанты. Рыдала девица, лежа на столе.

Джек вытащил Катю на улицу, сжимая в железных объятьях.

— Отпусти меня,— спокойно попросила Катя.

Джек отпустил. Катя повернулась к нему лицом и отвесила звонкую пощечину. Джек вытерпел, молча смотрел на нее. Катя повернулась, пошла к машине. Джек остался стоять у входа.

Взревел мотор, и белый форд рванулся с места. Джек постоял, глядя вслед умчавшейся машине, потом медленно побрел к своему красному форду. Сел в автомобиль, завел двигатель. Красный форд тронулся с места, влился в поток сверкающих огнями машин...

...Джек приехал домой ночью. Все окна двухэтажного дома были освещены, двери — нараспашку. Джек подогнал машину к гаражу, открыл дверцу, и под ноги ему бросился спаниель, подпрыгивая, стараясь лизнуть в лицо. Джек зло отпихнул собаку, направился к дому.

В гостиной горела большая люстра. Катя полулежала на диване перед гремящим на полную мощность телевизором. Курила. Рядом на столике стояла бутылка виски, несколько банок с тоником, разрезанный на дольки ананас.

— Где Джейн? — громко спросил Джек, но Катя не услышала, смотрела на экран телевизора.

Джек подошел к телевизору и выключил его. Спросил:

— Где Джейн?

Катя молча поднялась, включила телевизор и вновь устроилась на диване. Взяла со столика бокал с виски, отпила глоток. Задымила сигаретой. Вне себя от ярости Джек молча смотрел на нее. Наконец медленно проговорил:

— Завтра должен приехать из колледжа Иван. Но я позвоню и скажу, чтобы он не приезжал.

Это она услышала, вздрогнула. Сама выключила телевизор и посмотрела на Джека:

— Что ты сказал?

— Ты прекрасно слышала, что я сказал.

— Ты не посмеешь это сделать.

— Сделаю. Ему совсем незачем смотреть на всегда пьяную мамашу.

— А на папашу, который завел себе шлюху, ему можно смотреть?

— Он об этом ничего не знает.

— Рационально рассуждаешь. А если я ему скажу?

— Он тебе не поверит. А то, что ты пьешь каждый день до сумасшествия, он видит. Еще он видит, что ты бездарный, ни на что не годный человек. Что ты не хочешь, не умеешь работать, он тоже видит. Что за твою мазню никто даже и доллар заплатить не хочет, он тоже видит... И если я обращусь к врачам, чтобы тебя освидетельствовали и посадили в лечебницу для наркоманов и лишили прав материнства, он это одобрит...— Джек говорил холодно и спокойно, словно гвозди забивал, и страх медленно заливал сердце Кати, и задрожали губы.

— Нет... нет... ты не посмеешь...— Она сжалась на диване в комок, обхватила колени руками.

— А ты еще хотела, чтобы сюда приехала твоя мать.— Джек ядовито усмехнулся.— Мало мне одной сумасшедшей алкоголички. Да это просто невиданная удача, что ее пристрелили в Москве! — Джек повернулся и пошел из гостиной, в дверях обернулся: — Если бы этого не случилось, боюсь, что я пристрелил бы вас обеих здесь!

...За окном уже серел рассвет, а Катя так и не сомкнула глаз, лежа в гостиничном номере. Зазвенел телефон. Катя дотянулась до тумбочки, сняла трубку.

— Доброе утро. Ну, как ты, выспалась? — раздался бодрый голос Виктора.— Как самочувствие?

— Превосходное...— чуть охрипшим голосом ответила Катя.

— Может, позавтракаем вместе?

— Давай.

— Через час буду у подъезда.— И Виктор повесил трубку.

Катя тоже положила трубку и еще некоторое время лежала на спине, глядя в окно... Потом она тяжело выбралась из постели, набросила халат на голое тело, достала из холодильника банку сока, налила в бокал, медленно выпила и ушла в ванную.

Сильные холодные струи возвращали украденную бессонной ночью бодрость, хотя воспоминания не оставляли ее и сейчас...

...Она не помнила, сколько так просидела, скрючившись на диване перед телевизором. Потом поднялась, пошла на кухню, ступая деревянными ногами, двигаясь, как сомнамбула. На кухне, в одном из навесных шкафов была аптечка. Катя открыла дверцу, долго перебирала коробочки с лекарствами, читала названия. Наконец, нашла таблетки снотворного. Высыпала на ладонь целую горсть. Долго смотрела на них, словно набиралась решимости, и вот, высыпав всю горсть в рот, стала жевать, кривясь и запивая водой из кувшина. Потом высыпала на ладонь еще, просыпала таблетки на пол, на стол, остальное с трудом проглотила. Вновь запила водой. И пошла обратно в гостиную, легла на диван на спину, вытянула ноги, сложила руки на груди, как покойник, и закрыла глаза.

Джейн прошла на кухню, хотела выключить свет, но вдруг увидела желтоватые таблетки, рассыпанные на полу и столе, пустую коробку, прочитала название снотворного и кинулась через холл в гостиную.

Джейн увидела Катю, лежащую на диване со сложенными на груди руками. Она подбежала, дотронулась ладонью до лица, потрясла

за плечо, вскрикнула и бросилась на второй этаж, в спальню:

— Мистер Холлсон! Мистер Холлсон! Миссис Кэт отравилась! Скорее, умоляю вас!

Джек со сна с трудом соображал, что произошло, а Джейн уже с визгом кричала в телефонную трубку:

— Мистер Лоусон! Немедленно выезжайте к нам! Миссис Кэт отравилась! Да, без сознания! Реаниматор нужен! Скорее!

...Она пришла в себя в больничной палате. Открыла глаза и просипела голосом, которого сама не узнала:

— Пи-и-ить.

Бесшумно возникла медсестра — высокая, худая негритянка, заботливо приподняла голову Кати, поднесла ко рту фаянсовый чайник с узким носиком.

В палату вошел Джек. Негритянка строго взглянула на него, зашептала:

— Она еще очень слаба... ей нельзя разговаривать...

— Одну секунду, одну секунду,— зашептал Джек.— Я только скажу ей два слова...— И отстранив негритянку, он прошел к кровати. Остановился, наклонившись, долго всматривался в белое, безжизненное лицо Кати. Потом проговорил тихо:

— Кэт, ты слышишь меня? Не говори ничего, только открой глаза, если можешь...

Катя открыла глаза.

— О'кей, Кэт... Я только хотел тебе сказать, что все будет так, как ты считаешь нужным. Ты прости меня, Кэт. Ты выздоровеешь, и мы хорошо решим все проблемы. Как ты захочешь.

Катя хотела что-то ответить, сделала усилие, но Джек жестом остановил ее, проговорил:

— Не надо, Кэт. Выздоровлявай. В следующий раз я приеду с Иваном, о'кей?

— О'кей...— прохрипела Катя, и глаза ее были полны слез.

Джек ободряюще подмигнул ей, погладил по плечу и вышел из палаты...

...Вскоре Катя поправилась, и они ехали домой, и ветер через открытый люк в крыше врывался в салон автомобиля. Катя и Ваня сидели обнявшись на заднем сиденье. Джек вел машину, время от времени смотрел в зеркальце на отражение жены и сына, улыбаясь.

— Нас поднимают в шесть утра,— рассказывал Иван.— И мы час делаем упражнения, а потом обливаемся холодной водой. После этого — завтрак, потом — занятия до пяти

вечера. Ленч — в двенадцать, обед в половине пятого...

— Да, у вас там порядки хуже, чем в армии.— Катя поцеловала его.— Ты слышишь, Джек?

— Все в порядке! — отозвался Джек.— Только так он сможет стать настоящим американцем! Да, Кэт, чуть не забыл. Тебе пришло письмо. Догадайся, откуда.

— Понятия не имею.

— Из Москвы. Из КГБ. Ты прости, но я прочитал.

— И что они пишут?

— Они ответили на твое письмо. Ты интересовалась результатами следствия.

— И что же?

— Убийцу найти им не удалось. Следствие зашло в тупик.— В зеркальце Джек внимательно наблюдал за Катей.

— Конечно,— зло процедила она.— Сами убили, и сами найти не могут.

— Что ты сказала? — переспросил Джек.

— Я напишу об этом книгу,— сказала Катя.— Как ты думаешь, она будет иметь успех?

— Стоит ли тратить на это силы? — усомнился он.

— Ты упрекал меня, что я ничего не делаю. Вот это и будет мое дело.— Катя загорелась родившейся идеей.— А потом снимем фильм. Найдем продюсера в Голливуде и снимем?

— Я рад, что ты полна решимости чем-то заняться,— улыбнулся Джек и прибавил скорости...

...Словно вернулись времена любви, когда они только поженились.

— Тебе хорошо со мной, Кэт? — обжигающим шепотом спрашивал он, и она выдыхала с закрытыми глазами:

— Д-да...

— Я счастлив, Кэт... счастлив, что мы снова вместе...

...Ночью, когда уже занялся рассвет, она встала и пошла в детскую. Там спал сын Ваня. Катя присела на стул у кровати и долго, с мучительным счастьем смотрела на мальчика, ласково гладила его ладонью по щеке, по спутавшимся длинным волосам...

— ...Значит, вы закрыли следствие? — спрашивала Катя, зло глядя на следователя КГБ — молодого тридцатилетнего парня в светлом костюме и белой рубашке с красным галстуком.

— Следствие приостановлено,— ответил следователь.— За отсутствием новых улик и

данных. А то, что у нас пока есть, не дает возможности ухватиться за какую-нибудь ниточку... Тут работал или очень класный профессионал, или...— Следователь замолчал, помешивая ложкой в мельхиоровой вазочке растаявшее мороженое.

— Или? — переспросила Катя.

— Или очень удачливый дилетант. Одно могу сказать с уверенностью: покойная хорошо знала убийцу... доверяла ему... поэтому открыла дверь... разговаривала с ним... даже чай пила...

Виктор молча курил, слушал.

— Скажите честно, вы не можете найти убийцу или... кто-то в вашем ведомстве не хочет его искать?

Следователь взглянул Кате в глаза, усмехнулся:

— Я читал вашу книгу...

— Как, разве ее уже перевели?

— По-английски читал... Что я могу вам ответить? Сейчас можно всех собак вешать на КГБ. Мы, естественно, заявим протест по поводу ваших обвинений в наш адрес, но мое мнение — органы тут действительно ни при чем...

— Вы это точно знаете?

— Это мое мнение,— пожал плечами следователь.— И поверьте, следствие велось по всем правилам... Мне пора.— Он достал блокнот, ручку, быстро написал номер телефона, имя и отчество, вырвал листок и подал его Кате.— Это мои координаты. Если понадобится, звоните. Помогу, чем могу.— Он поднялся, раскланялся с Катей, пожал руку Виктору и пружинистой спортивной походкой направился к выходу из кафе.

— Вот так живут Америка с Европой,— глядя ему вслед, раздумчиво проговорил Виктор.— А мы по-прежнему в глубокой ж...

— Ты думаешь, он лгал? — спросила Катя.

— Если не лгал, значит правду говорил... Понимаешь, Катюша... В жизни убийца может быть и не найден. Так бывает часто. Но в кино... в художественном произведении он должен быть найден... иначе зрители нам этого не простят...

— Нам надо его выдумать? — улыбнулась Катя.

— Найти.— Виктор серьезно смотрел на нее.— Среди героев детективной драмы, которую мы разыгрываем... И у меня по этому поводу есть кое-какие мыслишки...

...Они ехали в густом потоке машин, а на Садовом кольце, вблизи площади Восстания совсем остановились. Перед ними до светофора тянулась бесконечная цепочка автомобилей.

— Ну, выкладывай...— сказала Катя.

— Что?
— Свои паршивые мыслишки,— усмехнулась Катя.

Виктор долго молчал, потом спросил:

— Скажи, пожалуйста, летчик гражданской авиации США хорошо зарабатывает?

— Очень неплохо.

— И может накопить столько, чтобы начать свое солидное дело?

— Солидное — вряд ли... Но кусок земли вполне может купить... стать фермером... открыть свой магазин или что-нибудь в этом роде...— отвечала Катя.

— Насколько я понял, твой муж, уйдя из авиации, открыл солидное дело?

— Да. Сначала он стал совладельцем нефтеперерабатывающего завода. Это более чем солидно...

— У него родители миллионеры?

— Нет, что ты. Отец у него умер, когда ему было семнадцать лет. Мать работала учительницей в государственной школе. Давно на пенсии...

— Где же он взял столько денег, чтобы начать сразу крупное дело? — Виктор пристально посмотрел на нее.

— Я никогда не спрашивала его об этом... Это его проблемы.

— А может быть, и твои?

Наконец, поток машин медленно тронулся.

— Что ты хочешь этим сказать? — резко спросила она.

— Ты никогда не задумывалась, почему твой муж начал свое более чем крупное дело почти сразу после смерти твоей матери?

— Нет,— резко ответила Катя.

— Катя, не надо врать старому другу...

— Нет! — крикнула Катя.

— Ну, хорошо... А скажи, пожалуйста, много камушков было у матери?

— Не знаю... Вообще-то много. Ведь она много лет собирала. У разных старух скупала... У тех, кто в Израиль уезжал...

— И в Штатах эти камушки можно заложить в какой-нибудь банк и получить крупную ссуду? — попытался Виктор.

— Прекрати свой грязный допрос, мне противно.

— Если б ты знала, как мне противно,— невесело вздохнул Виктор...

...Они вошли в режиссерскую комнату, и навстречу им со стула поднялась ассистентка Нина Константиновна и молодая женщина, лишь отдаленно напоминающая девочку Лену. Высокая, красивая женщина лет двадцати пяти.

— О, хорошо, что ты уже здесь. Катюша, познакомься, это Таня Саблина. Она будет изображать тебя в пору зрелости. Хотя трудно

считать это зрелостью, если ты втюрилась в американца.

— Ты считаешь, что мне надо было втюриться в араба? — весело проговорила Катя, протянув Тане руку...

...— И ты что, хочешь выйти за него замуж? — спрашивала Катя.

Теперь они были одни в комнате-декорации.

— Почему сразу замуж, мама? Мы просто дружим.

— Он же американец, Катенька,— с затаенным страхом произнесла Катя.— Тебе что, русских мало?

— Не нужны мне твои русские, себе забирай.

— Ты думаешь о последствиях, Катя? Тебя же с работы выгонят.

— Пусть только попробуют.

— Они и пробовать не будут, выгонят — и всё.

— Ну и плевать я хотела на эту работу! Я с ним в Америку уеду.

— Что ты говоришь, Катя? — уже не таясь, ужаснулась Катя.— Ты же советский человек.

— Лучше подумай, что ты говоришь! — с ноткой истерики крикнула Таня Саблина.

— Оставь родину? Как ты можешь даже говорить об этом?

— А ты как можешь? — сжав кулаки, Таня в ярости наступала на мать.— Что тебе родина? Десять лет лагерей? Где ты чуть с голоду не издохла! Расстрелянный муж? Детский дом, где я жила хуже скотины?! Что еще дала нам Родина?! Вот эту поганую нищенскую жизнь!

— А что ты дала Родине? — оскорбленно спросила Катя.

— Да не хочу я ей ничего давать! В гробу я ее видела, понятно? И власть эту поганую в гробу видела! Нашу родину, мама, лучше любить на расстоянии. И на очень большом!

— Катя-а-а...— простонала Катя и обессиленно опустилась на стул, обхватила руками голову.— Что же я без тебя делать буду? Я же совсем одна-а... как я буду жить? Для чего-о? И Катя заплакала.

Стало тихо. Лишь раздавался слабый стрекот камер...

...Съемки закончились поздним вечером. Катя умывалась в гримерной, когда зашел Виктор.

— Поужинаем вместе, Катюша?

— Нет. Устала. Хочу побыть одна.— Катя смотрела на себя в зеркало, стирая леггинном остатки грима.— Ты мне не дашь свою машину до завтра?

— Ради Бога. Зачем, если не секрет?
— Секрет,— улыбнулась Катя, глядя на него в зеркало...
— Я обещал Тане отвезти ее домой,— сказал Виктор.— Тогда это придется сделать тебе.
— О'кей,— ответила Катя...

...Пустые ночные улицы Москвы. Редко проскакивали такси с зелеными огоньками, лишь редкие окна в домах были освещены. Катя вела машину и, казалось, не слышала болтовни Тани Саблиной, погруженная в свои мысли...

— ...Кэт, прости, что я спрашиваю об этом: у твоей матери много драгоценностей? Ты как-то говорила об этом... Ты слышишь меня, Кэт?

— Слышу...— сонным голосом отвечала Катя.

— А она не могла бы привезти их сюда? В Штаты.

— Ты что, Джек? Ее на таможне схватят.— Катя проснулась, зевнула сладко, обняла лежащего рядом Джека, чмокнула его в щеку.— Зачем они тебе, Джек?

— Есть возможность начать свое дело. Очень выгодное. А у меня нет денег... Мы могли бы заложить эти бриллианты в банк или продать... Зачем они ей?

— Я же объяснила — на таможне все отнимут. И будет скандал.

— Я бы мог помочь ей... обойтись без таможни...

— Ты что? Она такая законопослушная, она же всего боится. Сколько времени? Семь утра? Ты с ума сошел, Джек, будишь меня в такую рань. Ты прости, я еще посплю часок...— И Катя повернулась на другой бок и мгновенно заснула...

...А это произошло (она вспомнила) на вечеринке у кого-то из друзей Джека. Все уже крепко выпили, и часть гостей танцевала, а поскольку было много великовозрастных гостей, то танцевали старомодное танго. И тут Катя увидела на открытой груди у одной шестидесятилетней дамы громадный бриллиантовый кулон. Она несколько раз взглянула, даже пришлось обернуться. Джек перехватил ее взгляд, тоже посмотрел на бриллиант, сказал с усмешкой:

— Нравится? Хотела бы такой?

— Ой, подумаешь! У моей мамы больше есть! Каратов на тридцать!

— На тридцать? — выпучил глаза Джек.— Ты шутишь, Кэт?

— Нисколько! Она купила его по дешевке у

одной старухи. Какая-то древняя графиня. Ей было не на что жить, и мама покупала ей еду, убирала у нее в квартире, ухаживала за ней... И в благодарность она продала матери за копейки этот фамильный бриллиант. Говорила, что такой второй есть только у королевы Нидерландов...

— И он у твоей матери?

— Ну да! В буфете, в ящичке. Там все ее сокровища! — Катя засмеялась, потянула Джека за руку к длинному столу, где стоя выпивали и закусывали гости. Катя схватила чей-то фужер с вином, залпом выпила, и они вновь начали танцевать. Лилась томная мелодия старого танго тридцатых годов. Джек крепко прижимал к себе Катю, а глаза нетнет, да и метнутся к шестидесятилетней даме, на груди которой сверкал и переливался громадный кулон.

— Ты знаешь, сколько стоят тридцать каратов? — тихо спросил он.

Она, успев забыть о разговоре, с недоумением взглянула на него.

— Больше двух миллионов долларов,— улыбнулся Джек и поцеловал Катю в губы...

...Воспоминание это словно обожгло Катю, и она резко затормозила. Таню Саблину бросило вперед, и она ударилась лбом о ветровое стекло.

— Ой, что случилось?!

— Простите...— пробормотала Катя, приходя в себя.— Померещилось, что кто-то на дороге стоит... Нам еще далеко?

— Нет, сейчас направо в переулок, и у второго дома остановите, пожалуйста,— морщащая и потирающая ушибленный лоб, ответила Таня.

Катя тронула машину, свернула в темный переулок, проехала метров пятьдесят и остановилась у девятиэтажного кирпичного дома.

— Вот тут я живу,— сказала Таня.— На шестом этаже.

— Вы замужем? — спросила Катя.

— Ой, а вы что, не слышали? Я же рассказывала,— заулыбалась Таня.— И про детей, и про мужа...

— Извините,— смутилась Катя.— Задумалась о своем...

— Да ладно! В другой раз расскажу. Спасибо, что подвезли. До завтра.— И Таня выпорхнула из машины, побежала к освещенному подъезду...

...Теперь она ехала одна. Пошел дождь, и струйки воды, искривляясь, поползли по стеклу. Катя включила «дворники», и перспектива ночной улицы сразу прояснилась, стала сверкающей от дождя, ясной. Катя вела машину,

сосредоточенными отсутствующими глазами глядя перед собой. И вдруг она еще вспомнила. Как же она могла не обратиться тогда на это внимания. Забыть о таком?!

...Они тогда забрали Ивана из колледжа и ехали домой. На одной из улиц остановились у супермаркета. Джек протянул Ивану деньги:

— Возьми мне бутылочку виски на твой выбор. По случаю твоих каникул я должен выпить.

— А на автоматах поиграть я смогу? — спросил Иван.

— Только недолго.

— А что тебе купить, ма?

— На твой выбор, Ваня, — улыбнулась Катя.

Иван выскочил из машины и тут же пропал в людской толчее у входа в маркет. Катя закурила, опустила окно. Джек поморщился от дыма:

— Какие сигареты ты куришь?

— Дешевые... — усмехнулась Катя.

— Очень противный дым...

— Ты же все время говоришь, что мы должны экономить.

— Толку от моих разговоров мало, — вздохнул Джек. — К сожалению, я всего лишь летчик...

— Но сына ты определил в самый дорогой колледж в штате.

— Я хочу, чтобы он получил настоящее воспитание.

Катя взглянула на него, улыбнулась, потянулась к нему и поцеловала в щеку:

— Мне очень нравится, что ты летчик, Джек. В России — это одна из самых престижных профессий.

— Мы не в России, дорогая...

— Ты прав — в России летчики получают гораздо меньше.

— Это хоть немного утешает, — усмехнулся Джек.

Из супермаркета выскочил Иван с нагруженным целлофановым пакетом, подбежал к машине, забрался на заднее сиденье. Поехали. Джек включил музыку.

— Твои любимые битлы, Иван, — сказал Джек.

— О-о! — Маленький Иван восторженно закатил глаза, стал двигать руками в такт музыке, прищелкивать пальцами.

— Скажи, Кэт... — осторожно заговорил Джек. — Ты не могла бы попросить у матери ее бриллианты?

— Ты с ума сошел... — пожала плечами Катя. — Она умрет, но не расстанется с ними. Я же рассказывала тебе...

— А если попросить в долг? Здесь мы их заложим в банке и возьмем ссуду под про-

цент. А потом, когда разбогатею, выкупим и вернем твоей матери.

— Нет, Джек, это невозможно... — Катя помолчала, глядя на мелькавшие мимо рекламные огни. — Прости, милый, но она нам не поверит. Лагерная жизнь воспитала ее по-своему. Ты никогда не сможешь себе представить, что это такое — просидеть десять лет в советских лагерях...

...Катя подъехала к освещенному подъезду гостиницы, с трудом нашла свободное место у тротуара...

Когда она вышла из лифта на своем этаже, дежурная, сидевшая за конторкой и читавшая книгу, подняла голову, улыбнулась:

— Вас там ожидают...

— Кто? — удивилась Катя, забирая ключи от номера.

— А вы сами увидите. Надеюсь, ночевать они у вас не останутся?

Катя, не понимая, взглянула на нее, пошла по коридору. Толстая ковровая дорожка скрадывала звуки шагов.

Возле номера Кати был небольшой холл с двумя креслами, телевизором и журнальным столиком. В одном кресле спали, обнявшись, как родные братья, режиссер Виктор и оператор Вадим. И слышался мирный кудрявый храп. В кресле напротив, раскинув толстые огромные ноги, обтянутые засаленными джинсами, в расстегнутой кожаной куртке и тельняшке под ней, спал бородатый громила. Рядом на ковре лежала гитара.

Катя оглядела их и тихо рассмеялась. Открыла дверь номера, потом вернулась к креслам, потормошила за плечо Вадима:

— Эй... Вадим...

— Наконец-то... ты где шляешься?

— К любовнику ездил... — Виктор тоже проснулся. — Завела себе любовника и шастает к нему по ночам.

Катя вновь рассмеялась, потянула Вадима за руку:

— Пошли, пошли, здесь нельзя...

Виктор и Вадим тяжело поднялись, потрясли головами.

— Катька, дай выпить — башка трещит, ужас, — сказал Вадим.

— Сейчас. Пошли. А это кто? Какой страшный...

Из глубины коридора за ними наблюдала дежурная.

— Это наш... знаменитый поэт... бард... — сказал Вадим.

— И художник, — добавил Виктор. — Дворянин, между прочим... И картинки его в Париже и Лондоне висят...

— И в Нью-Йорке, — добавил Вадим.

— Может портрет твой написать,— сказал Виктор.

— Ну, будите же его.

— Дохлое дело,— вздохнул Вадим.— Его теперь из пушки не разбудить.

— Да пусть себе здесь дрыхнет, кому он мешает?

Катя оглянулась на маячившую в глубине коридора дежурную:

— Скандала не будет?

— Будет,— ответил Вадим.— Но он — классный скандалист.

Катя обреченно махнула рукой и пошла в номер. Вадим и Виктор двинулись за ней, захлопнули дверь. Громила в тельняшке и куртке остался храпеть в кресле...

...— Шикарный номерок, шикарный...— гудел Вадим, развалившись на кожаном диване перед телевизором и оглядываясь по сторонам.— Буржуи чертовы! И здесь устроились.— Он отлебнул из бокала, который подала ему Катя.

— Вся ваша беда, мальчики, в том, что у вас отсутствует чувство собственности,— сказала Катя, подавая второй бокал Виктору.

— Нам это чувство коммунисты за семьдесят лет начисто отбили,— ответил Виктор.

— Зато у нас есть чувства глубокого удовлетворения и законной гордости,— усмехнулся Вадим.

— Чем же? — спросила Катя.

— Я другой такой страны не знаю,

Где так вольно дышит человек...— пропел Вадим.

— Надышались до обморока,— заметил Виктор.— Мы полуобморочные дети застоя.

— А мне кажется...— сказала Катя,— вам это даже очень нравится.

— Что «это»? — не понял Виктор.

— Ну, всё это... быть несчастными... бедными, угнетенными...

— Вадик, слушай рассуждения преуспевающей американки!

— Жрать хочу...— меланхолично заметил Вадим и допил содержимое своего бокала.

— Я русская, Витюша,— возразила Катя.— Русская...

— Была. А стала...

— Была и есть,— вздохнула Катя, закурирая.— И буду... и от этого очень несчастна...

— Ты же говорила, что безмерно счастлива,— усмехнулся Виктор, наливая в бокалы виски себе и Вадиму.

— Я тебе о душе говорю, дурак...

Из коридора донесся шум, громкие неразборчивые голоса, а потом — резкий стук в дверь номера:

— Откройте! Дежурный администратор!

Катя открыла — на пороге стояла дежурная,

а за ней четверо дюжих парней в штатском с трудом удерживали барда и художника Григория Круткова, заломив ему руки за спину. У одного из парней был разбит лоб и струйки крови стекали на щеку. А под ногами лежала гитара со сломанным грифом.

— Ваш? — издевательски улыбнулась дежурная.

— Наш! Наш! — кинулся к двери Виктор.— Отпустите его!

— Документы ваши попрошу,— откуда-то сбоку появился взъерошенный лейтенант. Один рукав форменной рубашки у него был оторван у плеча и сползал вниз. Лейтенант то и дело подтягивал его вверх.

Все это время Григорий Крутков глухо рычал, делал конвульсивные движения, пытаясь сбросить с себя парней в штатском, навалившихся на него, и выкрикивал:

— Фашисты! Козлы вонючие! Волки позорные! Палачи!

— Это наш артист! Отпустите! — Виктор сунул удостоверение лейтенанту.— Он завтра сниматься должен!

— Он у нас снимется,— со значением пообещал лейтенант.— По всей форме снимется.

Парни в штатском на секунду ослабили внимание, и Григорий рванулся и сумел сбросить их с себя. И тут же началась драка. Григорий с медвежьим проворством месил пудовыми кулачками налево, направо, хотя и парни в штатском в долгу не оставались.

По коридору к дерущимся бежал наряд милиции.

...Рано утром Катя поехала в «Березку» и набрала там два картонных ящика — набила их бутылками виски, блоками «Мальборо», пакетами с разной дефицитной снедью. Попросила продавца, дюжего парня, отнести ящики в «жигули». Расплатилась, сунула парню десятидолларовую бумажку. В порыве благодарности он даже собственным носовым платком протер ветровое стекло.

...Катя подъехала к отделению милиции, остановилась рядом с желто-синим «воронком», выбралась из машины.

...В дежурке ввиду раннего утра было еще спокойно. В закутке за решеткой мирно спали на лавках три растрепанные девицы. У двери на лавке сидели два длинноволосых парня. Головы свесились на грудь. В дверях скул милиционер. Еще двое сидели за отгороженным углом. Один — за столом с телефонами и пультом радиосвязи, другой — у стеклянного окошка.

— Здравствуйте,— улыбнулась Катя, заглянув в стеклянное окошко.

Лейтенант хмуро посмотрел на нее, бурчал что-то неразборчивое, продолжал писать в толстый, затрепанный журнал.

— Вот мои документы.— И Катя протянула в окошко американский паспорт.

Иностранный паспорт вызвал интерес. Лейтенант взял его, посмотрел, вернул и спросил:

— Вы что хотели, гражда... как вас... госпожа?

— Миссис...— улыбнулась Катя.— Я объясню. Это здесь, у подъезда...

— Что «это»? — еще больше насторожился лейтенант.

— Я объясню. Пожалуйста, пойдемте...

Они вышли из отделения, медленно направились к «жигулям». Катя открыла багажник, приоткрыла картонные ящики и что-то сказала лейтенанту. У того невольно округлились глаза, и он даже слюну проглотил и теперь с интересом смотрел на Катю, внимательно слушал, потом закивал с готовностью, громко позвал сержанта:

— Еремин! Давай сюда!

Сержант не спеша подошел, тоже увидел все это бессмысленное изобилие в ящиках, моргая, вопросительно уставился на лейтенанта.

— Волоки в дежурку,— приказал лейтенант.— Гуманитарная помощь от гражданки из США.

Сержант вытащил из багажника тяжелый ящик, взвалил его на плечи и понес ко входу в отделение.

— Ладно, отпустим... Но по двести колов штрафа я на них наложу,— решительно проговорил лейтенант.— На каждого.

— Да, да, конечно, я заплачу. Но у меня нет с собой советских денег...

— Можно в свободно-конвертируемой,— ответил лейтенант.

— Это что, по двести долларов за каждого? — прищурилась Катя.— Да ты чокнулся, лейтенант!! Да за такие бабки я убийц выкуплю!

— Да на них дело целое заведено! Статья им светит! — ожесточился лейтенант,— двести шестая, часть вторая, между прочим, вот так! По три года запросто влепить могут!

— Это же грабловка, лейтенант, по двести зеленых! Ты что думаешь, я их сама рисую? — яростно торговалась Катя.

— Пойдем, я тебе протоколы дам почитать, пойдем — сама поймешь, что к чему. Мне ведь еще делиться надо, а ты как думала? То-то!

— Нет, по сто пятьдесят — и ни цента больше!

— Э-эх, ляд с тобой, уговорила,— махнул рукой лейтенант.— Только из личной симпатии к тебе, гражданка!

Катя вынула из машины сумку, достала оттуда бумажник, раскрыла.

— Что это ты прям здесь собралась? — забормотал лейтенант, пугливо озираясь по сторонам.— Давай в машину сядем.— И первый открыл дверцу, забрался внутрь...

...С побитыми физиономиями Виктор, Вадим и Григорий Крутков теперь сидели в машине. За рулем — Катя. Виктор то и дело выглядывал в раскрытое окно:

— Да здравствует свобода! — Ветер яростно трепал ему волосы.

— Прошу учесть на дальнейшее,— прогудел Григорий.— Если кто-нибудь посмеет обидеть эту женщину — будет иметь дело со мной...

...Они приехали в мастерскую Григория.

Катя подошла к распахнутому окну и увидела старую Москву — водоворот островерхих, покатых и горбатых крыш, башенки и ротонды, шпили и купола церквей, внизу — кривые переулки, московские дворики с дряхлыми тополями и зарослями сирени, лавочками и скамейками... Широко раскрытыми глазами смотрела на старую Москву Катя.

Сзади подошел Виктор, обнял ее за талию, прижал к себе и склонил голову ей на плечо, спросил:

— Что, подруга, по Москве затосковала?

Катя не ответила, продолжая смотреть в окно.

За их спинами хлопотали у стола Вадим и Григорий, слышалось позвякивание тарелок, вилки и бульканье жидкости.

— Сегодня я почувствовал, что ты осталась прежней Катей,— так же тихо сказал Виктор.

Она опять не ответила.

— Катюш, я хочу изменить сценарий,— сказал вдруг Виктор.— Мы снимем, что... убийца твоей матери — твой муж...

Она резко отстранилась, со страхом посмотрела на него. Виктор попытался улыбнуться:

— Ведь это художественное произведение, и мы имеем право на художественный вымысел.

— Но...

— Успокойся, к твоему реальному мужу это не будет иметь отношения.

— А какой же будет финал фильма? — так же тихо спросила Катя.

— Пока не знаю... Но убийца — твой муж. Это точно,— улыбнулся Виктор.— Пойми, у картины нет финала, если убийца не будет найден.

— Так какой же, по-твоему, должен быть финал? — повторила вопрос Катя.

Ответить Виктор не успел, сзади подошел

Григорий, по-свойски хлопнул Катю по плечу:
— Катерина, я должен написать ваш портрет.

— И сочинить в ее честь песню,— добавил Виктор.

— Само собой...— развел руками Григорий.— Но портрет в первую очередь... Эх, жаль, не знал вас в молодости.

— А то бы? — улыбнулась Катя.

— А то бы отбил вас у всех и женился,— тряхнул головой Григорий.

— А теперь что же? Такая уже старая?

— Я старый — больной, замученный совковой жизнью...

— Прибедняется...— усмехнулся Виктор.

— Это не человек,— сказал из глубины мастерской Вадим.— Это племенной бизон.

— Ну, мы тоже... кое-что можем...— скромно потупив взор, заметил Виктор.

— Я — импотент! — ударил себя в грудь Вадим.— И прекрасно себя чувствую!

— Это он так говорит, чтобы потом алиментов не платить,— сказал Виктор.

— Ну-ка, дайте мне тоже выпить! — засмеявшись, потребовала Катя.— Джентльмены называются!

Виктор, Григорий и Вадим одновременно кинулись к столу, столкнулись, стали вырывать друг у друга бутылку виски. Победил громила Григорий. Налил в мутный захватанный стакан, галантно раскланялся, встал на одно колено и подал стакан Кате...

...А потом Катя звонила в Штаты. Вадим и Григорий спали на продавленном диване, а Катя сидела в кресле с телефоном на коленях, на подлокотнике пристроился Виктор.

— Хелло, Джек! Рада тебя слышать! Откуда я звоню? Из отеля. Это по телевизору музыка... Как Ваня? Ты навещал его? Обо мне спрашивал? Да?! — Глаза Кати радостно вспыхнули.— Я счастлива!

Она говорила по-английски, и Виктор не понимал, только пьяно пучил глаза и кивал.

— Видишь, он все равно любит меня! Хотя ты очень стараешься, чтобы было наоборот. Нет, я трезвая. Просто я очень веселая. Режиссер нашего фильма придумал новый сюжетный ход. Знаешь, кто окажется убийцей моей матери? — Катя залилась радостным смехом.— Ты! Да, да, он уверен, что это ты убил мою мать! — Она опять засмеялась.— Он говорит, что в таком случае фильм будет иметь большой успех! Но это художественное произведение, Джек, что ты так испугался? Успокойся, это никак тебя не коснется. Даже имена будут другие...— Катя захихикала, потом проговорила вкрадливо: — А может, ты и вправду убил мою мать, а, Джек? Например, мой режиссер уверен, что это сделал ты.—

Она опять пьяно захихикала, подмигивая Виктору. Тот не понимал, о чем идет речь, но тоже заулыбался, закивал.

На том конце провода мужской голос повысился до крика.

— Зачем ты так нервничаешь, Джек? Я же про наш фильм говорю, а не про нашу реальную жизнь. Ведь в фильме по-всякому может быть, правда, Джек? А ты уже решил, что я заявлю на тебя в полицию? — Катю прямо распирало от истерического хохота, она корчилась в кресле, и, наконец, хохот прорвался, Катя просто захлебнулась им.

Гремел магнитофон, словно заведенные куклы, танцевали две девушки. Джек с того конца прокричал несколько гневных фраз и бросил трубку. И Катя мгновенно перестала смеяться, черты лица напряженно застыли. Она мгновенно сделалась трезвой. Виктор с пьяным недоумением смотрел на нее.

— Ты прав, Виктор...— после паузы серьезно и трезво проговорила Катя.— Это он убил...

...И вновь поздний вечер. Катя вела машину, рядом, свесив голову на грудь, дремал Виктор. Вспыхивали и гасли разноцветные огни реклам, медленно двигался густой поток автомобилей.

— Витя, проснись...— позвала Катя.

— М-м-м...— Виктор продрал глаза, глянул по сторонам.

— Как дальше ехать? — спросила Катя.

— Где мы? А-а, понял... За светофором — на улицу Чехова, потом выедешь на кольцо... Неужели правда не помнишь? Притворяешься?

— Я давно разучилась притворяться, Витя...

— Это у вашего брата в крови,— возразил Виктор.

Катя улыбнулась, не ответила. Она уверенно вела машину в густом потоке, меняла ряд, прибавляла и гасила скорость. Наконец она свернула с Садового кольца в глухой переулок, сплошь заставленный машинами у бордюра тротуара. У подъезда старого пятиэтажного дома Катя остановила машину, выключила двигатель. Стало тихо.

— Проводить тебя? — спросила она, протянув ему ключи.

— Проводи...— Он посмотрел ей в глаза.

— Хочу посмотреть, как ты живешь...— пробормотала она, уводя глаза в сторону.

— Я так и подумал,— усмехнулся Виктор, выбираясь из машины...

...В полумраке слышался горячий, взволнованный шепот Кати:

— Я боюсь, Витя... ты ведь любил меня

молодой, красивой... а теперь я старая... мне страшно, Витя.

— Ты глупая... Только теперь я полюбил тебя по-настоящему,— так же шепотом отвечал Виктор.

— Отвернись, пожалуйста... пока я разденусь...

— Я и так ничего не вижу... только твои глаза...

— Отвернись...

Виктор послушно отвернулся, послышалось быстрое шуршанье одежды, стукнул об пол один туфель, потом второй, в густом полумраке молочно забелело обнаженное тело. Катя легла в постель, накрылась тонким одеялом.

— Иди ко мне...

И он с лихорадочной торопливостью начал раздеваться, запутался ногой в штанине и упал, ударившись коленом об пол. Катя тихо рассмеялась. Потом он никак не мог расстегнуть пуговицу на рукаве рубашки, рванул — пуговица оторвалась. Виктор сбросил рубашку и шагнул к кровати...

В эти короткие, мучительно-сладостные минуты они забыли обо всем и всей душой, каждой клеточкой плоти своей ощущали, жили друг другом...

— Милый, мой... милый... милый...

...Потом они лежали, обессиленные и влажные, обнявшись, курили одну сигарету, которую держал Виктор. На столике светил ночник под красным абажуром.

— Ты это сделала, чтобы отомстить ему? — вдруг спросил Виктор.

— Ему я отомщу по-другому... Это мои проблемы, Витя... Но твой вопрос — гадкий...— Она погладила его по щеке, поцеловала.— Я очень хотела быть с тобой. Я часто вспоминала, как мы это делали тогда... в юности... мне часто снилось...

— Тогда мы это неплохо умели, а? — усмехнулся Виктор.

— Ты и сейчас неплох...— Она крепче обняла его, подняла голову, поцеловала в губы.— Очень-очень неплох...— И глаза ее лучились счастьем.

— И ты...— сказал он.— Ты тоже очень-очень...

— Правда? — Она легла на него, с улыбкой смотрела сверху, и огромные глаза, губы были совсем близко, волосы ее упали ему на лицо.

— Честное пионерское...

Катя тихо, счастливо рассмеялась, стала осыпать его лицо поцелуями...

...В аэропорту Шереметьево Виктор проводил Катю до таможенного турникета. Катя

была без багажа, лишь кожаная сумка перекинута через плечо. Попрощались, пожав друг другу руки, потом все же обнялись, поцеловались.

— Через пять дней жди обратно,— тихо сказала Катя.

— Учи, съемки отменяем до твоего возвращения. Пока посижу, помонтирую...

— Бай-бай...— Катя поцеловала его еще раз, пошла к таможеннику, доставая на ходу паспорт.

— Бай-бай...— машинально повторил Виктор, глядя ей вслед...

...Она полулежала в кресле, откинувшись на спинку и закрыв глаза. Ровный сильный гул турбин самолета успокаивал, усыплял.

Она заснула, и ей снился сон... Будто катится она на водных лыжах по изумрудной глади озера, а в катере — Джек и сын Ваня. Она с трудом стоит на лыжах, вцепившись в трос, за который ее тянет катер. Она устала, кричит Джеку и Ване, чтобы они остановились, но они не слышат из-за грохота мотора. Джек с улыбкой оборачивается, крепко держа руль, что-то говорит Ване, и тот смеется, пальцем показывая на мать, неловко стоящую на лыжах.

— Остановитесь! Я не могу больше! — кричит Катя, но они не слышат, смеются.

И вот у нее подвертывается нога, и она падает, больно ударившись о воду и подняв фонтан брызг. Захлебнувшись водой, Катя молотит руками и сквозь водяные брызги, всхливаящие на солнце, видит, что катер не остановился, а мчится на скорости по синей глади озера, удаляется, удаляется...

...В аэропорту Катя взяла такси. Стоял яркий солнечный день. Автомобили стремительно и бесшумно скользили по автостраде.

Уже в городе Катя попросила таксиста остановиться у оружейного магазина.

Войдя в магазин, она остановилась в растерянности — на стеллажах, на прилавках под стеклом лежали и висели винтовки, ружья, автоматы и пистолеты. Из глубины магазина вышел плечистый парень в майке, из-под которой выпирали бугры мышц, в джинсах и с белозубой улыбкой на загорелом лице...

...Потом она заехала в другой магазин, где на стеллажах и прилавках было разложено огромное количество самых разных замков — ключевых, электронных, цифровых, с шифрами. Маленькие замки, средней величины и огромные, к банковским сейфам. Среди стел-



лажей ходили покупатели, рассматривали, выбирали.

Катя подошла к старшему продавцу, лысому, в очках в золотой оправе, спросила:

— Харрисон сегодня работает?

— Пройдите туда,— с вежливой улыбкой старший продавец указал, куда пройти.

Катя прошагала вглубь магазина, открыла дверь и оказалась в складском помещении. В углу, в закутке среди ящиков и картонных коробок, за столом, освещенным сильной лампой, сидел худой, бородатый и длинноволосый парень и возился с замком.

— Хэлло, Патрик! — весело поздоровалась Катя, подходя к столу.

...В кабинете Джека был сейф, вделанный в стену. Наружу выходила лишь квадратная стальная дверца с цифровым набором, стальным колесиком и скважиной для ключа. Прислонившись ухом к стене, Патрик медленно вращал цифровое колесико. Катя ждала, нервно курила.

— Есть четверка... и семерка... — пробормотал Патрик, вращая колесико. — Ага... кажется, единица... Так... вот это девятка. Уверен — девятка, — улыбнулся Патрик. — И кажется — ноль... Сейчас проверим. — Патрик достал из плоского черного кейса связку ключей, стал медленно, терпеливо подбирать.

— Ты побыстрее не можешь? — сказала Катя.

— Я и так быстро, Кэт, — обиделся Патрик. — Если б эта система не была мне знакома — до следующего утра провозиться можно...

И вот один из ключей подошел. Патрик набрал цифровой код и повернул в скважине ключ. Дверца сейфа медленно открылась.

— Патрик, ты гений! — захопала в ладоши Катя.

— За это, между прочим, мне тюрьма светит, — усмехнулся Патрик.

Катя заглянула в сейф. На верхней полке лежали тонкие папки с деловыми бумагами,

на второй — чёковые книжки, блокноты, ключи, на третьей — стопками сложены пачки банкнот. Катя взяла одну пачку, протянула Патрику.

— Спасибо за услугу, Патрик.

— О, это очень много, Кэт, — слегка растерялся Патрик.

— Бери и проваливай побыстрее. Таксист устал ждать.

— Спасибо, Кэт. Ты всегда была щедрой женщиной. — Он закинул пачку в карман куртки, закрыл кейс и направился к выходу из кабинета. — Меня тут не было, Кэт.

Через некоторое время за окном взревел двигатель. Катя сверху видела, как форд-такси стремительно покатило по узкой дорожке через лужайку. Она вернулась к сейфу, вытащила тонкие папки, раскрыла верхнюю и принялась перебирать бумаги, внимательно прочитывая...

...Служанка Джейн вернулась из поездки в город за продуктами, остановила машину перед гаражом. Когда она открыла дверцу, первой из машины выскочила собака и опрометью бросилась в дом. Только сейчас Джейн обратила внимание, что парадная дверь в дом распахнута. Вслед за собакой Джейн заторопилась в дом.

Спаниель пулей влетел на второй этаж и натолкнулся на закрытую дверь кабинета. Собака заметалась, заскребала лапами, закулила.

Катя открыла дверь, и собака, тьякнув от счастья, высоко подпрыгнула. Катя подхватила ее на руки, подставила лицо, зажмурившись. Пес, истерично повизгивая, быстро облизывал лицо.

А у подножья лестницы остановилась Джейн, всплеснула руками:

— Какая радость, миссис Кэт! Вы приехали!

— Да, Джейн, приехала. Как вы тут поживаете без меня?

— О-о, миссис Кэт, плохо. Очень скучаем без вас.

— Ну-ну...— Катя вошла в кабинет, оставив дверь приоткрытой.

Подождав немного, Джейн осторожно поднялась по лестнице, подошла к приоткрытой двери кабинета. Она увидела Катю, склонившуюся над столом и перебирающую бумаги в папках, увидела открытую дверцу сейфа. Джейн затаила дыхание. Вот Катя нашла какую-то бумагу, прочитала ее. Разогнулась и прочитала еще раз. Рука Кати обессиленно упала, она смотрела невидящими глазами в пространство, проговорила громко:

— Боже мой, какой ужас... это правда — он...

Джейн бесшумно скользнула к лестнице, спустилась вниз, вбежала в свою комнату, плотно закрыла дверь, взяла телефонную трубку, быстро набрала номер:

— Мистер Холлсон? Это Джейн. Миссис Кэт приехала,— приглушенно заговорила Джейн.— Да, да. Я ездил за покупками, вернулась, а она уже дома. Одна. У вас в кабинете. И сейф ваш почему-то открыт, мистер Холлсон. Она смотрит какие-то бумаги...

...Форд Джека с ревом влетел на лужайку, но заворачивать к гаражу не стал, а подкатил к самому дому. Джек выключил двигатель, секунду сидел, закрыв глаза. Потом вынул из внутреннего кармана пистолет и положил его в боковой карман пиджака. Открыл дверцу, выбрался, медленно пошел к дому.

В холле его встретила перепуганная служанка Джейн, молча смотрела на него.

— Где она? — хрипло спросил Джек.

Джейн глазами показала наверх. Джек стал медленно подниматься по лестнице, остановился перед дверью кабинета и толкнул дверь. Она отворилась, и он увидел Катю, сидящую за письменным столом, разбросанные папки и деловые бумаги. Позади нее видна была открытая дверца сейфа. Катя курила, остановившись взглядом смотрела в пространство.

— Кто открыл сейф? — спросил Джек, входя в кабинет.— Патрик? Я упрячу его за решетку на десять лет.

— А себя ты не хочешь упрятать за решетку? — спросила Катя и взяла со стола бумагу.— Здесь перечислены все бриллианты, ко-

торые были у моей матери. Может, ты объяснишь мне, каким образом они попали к тебе?

Джек молчал, и только желваки напряглись под скулами. Катя протянула руку и подвинула к себе свою сумку, лежавшую на столе. Глаза Кати заблестели от слез. Она прошептала:

— Боже мой, Джек, как ты мог это сделать? Убить старую несчастную женщину... неужели ты не понимаешь... ты же и меня убил... и своего сына...

— Я это сделал ради нашего будущего,— сквозь зубы процедил Джек.

— Какое может быть будущее, если ты... убийца, Джек?

— Это все слова... пустые, никчемные слова... А жизнь — штука жестокая. Я просил ее отдать бриллианты в долг. Под проценты. Я говорил ей: ради вашей дочери, вашего внука... Она указала мне на дверь... Безумная старуха! Какая польза от ее жизни? Зачем ей дальше было жить?

— А тебе?! Зачем тебе жить!? — крикнула Катя.— Убийца! Робот! Негодяй! — Она схватила сумку и, выдернув оттуда пистолет, направила его на Джека. И грохнул выстрел.

Секунду Катя удивленно смотрела на свой пистолет — как он мог выстрелить? Ведь она не нажимала курок.

А Джек держал в руке свой пистолет, который успел выхватить из кармана пиджака, и из ствола тянулся едва заметный синеватый дымок. Удивление на лице Кати сменилось гримасой боли — на груди на красном джемпере вдруг появилось и стало расплзаться черное пятно.

— Дж-же-ек,— выдохнула она и плашмя упала на стол, в уголке рта появилась тонкая струйка крови...

И в предсмертном, затухающем сознании ее мелькнул детский дом, когда мать приехала за ней... как она прижалась к ней, и мать плакала, целуя ее, гладила ее плечи, волосы, щеки, и она близко видела ее сияющие счастьем, полные слез глаза...

И в самый последний миг она увидела своего сына... Он только родился, розовый, плачущий, и врач держал его над кроватью, в которой лежала она, смотрела на него сквозь слезы, тянула к нему руки и улыбалась... Пожалуй, только тогда она единственный раз в жизни была счастлива...

Рисунки Светланы Титовой

ЮРИЙ АРАБОВ

ЮНЫЕ ГОДЫ ДАНТА

Хроника середины века

Часть II

А безмолвствовал народ оттого, что не только не знал, где теперь Чапай, хотя он был рядом, но и знать не хотел. Потому что с народом всегда так, то есть если бы ему выложили Чапая на блюдечке, сказали бы: «Вот он, поклонитесь ему, как самому себе», то, конечно бы, народ поклонился, вернее, сделал бы вид, что кланяется, а сам бы думал про себя: «Не тот это Чапай, не тот. Подменный!» И слушок бы пошел гулять по всей Руси. А нет чтоб самому найти этого Чапая, поехать на Урал, выяснить, как и что, чтобы дознание исключило саму возможность подмены, нет! Томятся, маются, зовут Чапая, а как придет, так и не узнают, а может, и того хуже, распнут.

Что, скажете, очерняю? Лью воду на мельницу и всякое такое? Как бы не так. Разве Чапая не выбрали, предположим, в Президенты? Выбрали. А ведь и года не прошло, как стали про Чапая языком трепать: «Не тот, не наш. У нашего Чапая после «Ч» «а» идет, а у этого «е». И получается вместо Чапая чепец, а наш-то через «а» должен был и чапать, и чапать в грязи по бурелому... Подменили, сволочи, подменили!» Так-то вот, товарищи. Неча, как говорится, на зеркало пенять. Ищите не правду, а истину, и воздастся тогда каждому по чапаю.

Все эти мысли, пусть смутно, пусть в виде трансцендентных сущностей, которые не поддаются интерпретации дневным сознанием, проносились в голове Вулены Петровны, когда она волокла собственного сына на очную ставку с директором школы ниже среднего.

Да, дневное сознание ее в этот смутный момент оказалось не на высоте, зато ночное, загнанное дневным в подвал, в подсознание, заворочалось в берлоге, как тот же медведь, и потребовало интерпретации в каких-то им-

пульсах, головных спазмах, в устных проклятиях и визуальных конвульсиях. Однако против ночного сознания у нас есть клетка культуры, которая должна держать это подлое сознание в узде. Поэтому первым словом, которое вырвалось из груди несчастной женщины, когда она переступила порог учительской, было слово для нее самое неожиданное. Она даже вздрогнула, когда уста произнесли с идеологическим напором:

— Обскурант!

Энгр Георгиевич тут же выключил радиоприемник, по которому неслась морзянка, и усталился, не мигая, на маленькую белокурую женщину.

— Обскурант и мракобес!

Энгр Георгиевич взял трубку и начал набивать ее табаком.

— Великий инквизитор!

От этого последнего определения Филипп затоптался, запыхтел, пошел радугой, так что мать (1923—1980) была вынуждена крикнуть ему:

— Выйди отсюда!

А ведь он, между прочим, и не настаивал на аудиенции.

— Вот именно, выйди!.. Выйди отсюда!! — заорал директор, хватаясь за эту фразу, как за соломинку.

Филипп подчинился приказу, но, очевидно, от испуга открыл дверь в шкаф, перепутав его с выходом, и упал в пальто, запутавшись.

— Выйди отсюда! — кричала мать.

— Вон! Вон! — поддержал ее Энгр Георгиевич, и их общее требование, превратившись в вихрь, вынесло несчастного Филиппа из учительской.

— Вот,— пробормотал директор, выпуская из себя кольцо вонючего дыма.— Тратишь на них жизнь, готовишь педагогический подход, а они... какие-то обскуранты!

Против своей воли, в чувствах, в которых

он утопал, Энгр переправил это явившееся вдруг слово совершенно по другому адресу.

Но страннее всего, что и сама Вулена Петровна его поддержала, очевидно, запомнятовав первый адресат:

— Конечно, обскуранты! Бегают по ночам! Двойки — в дневнике. Ботинки — в грязи.

Энгр Георгиевич кивнул бородой.

— Я очень вас понимаю... И — сочувствую.

— Спасибо,— сдержанно поблагодарила Вулена и призадумалась.

До нее вдруг дошла подмена адресов. Недоумение от странно начавшегося разговора начало перерастать в злбу.

— Я вас понимаю. У мальчика, наверное, нет отца?..— Голос директора стал бархатистым и необыкновенно доверительным.

— У него не отец, а шкура,— бегло возразила Вулена Петровна.

Энгра Георгиевича передернуло. От живота к бороде прошел болезненный разряд электрического тока, который подтверждал худшие его опасения.

— Медвежья шкура?..

— При чем здесь шкура?! — взревела женщина, выезжая, наконец, на главную колею.— Это не он мракобес, а вы! Вы — обскурант и шкура!

— Почему? — беззлобно спросил Энгр.

— Потому что моему сыну вы сняли скальп!..

Директор призадумался. Ему вдруг показалось, что где-то бьют барабаны, раздаются гортанные крики и грубая натруженная рука в мозолях поправляет тяжелый патронташ. То старина Хенк выходил из засады на тропу войны.

— У вас очень способный мальчик, очень,— сказал директор, отгоняя голосом призраки минувших эпох.— Однако способности его какие-то странные...— Он сделал дымящей трубкой таинственный полукруг, будто хотел затащить в него недостающее слово.— Странные способности... «Нон румпо дибалли», как говорили древние.

— Хватит! — прикрикнула Вулена.— Прекратите свой... обскурантизм!.. Если надо,— добавила она устало,— я до Никиты Сергеевича дойду!

Энгр Георгиевич на это открыл тяжелый сейф и выбросил перед ней, словно козырную карту, тетрадку наивного цвета.

— Вы откройте... Откройте и посмотрите!

— Что такое? — не поняла Вулена, но подчинилась.

На нее глянула кривая латынь. Что-то щелкнуло в голове, и в памяти всплыли латинские слова, кончавшиеся обязательно на «ус», «ребус», «люпус», «бабус», «лопatus».

Холодный пот выступил на лбу.

— Это его планы на лето,— объяснил ди-



ректор.— Мне обещали снять копию. Оригинал будет у меня, а копию вы сможете забрать...

Осторожно, за краешек, чтобы не оставлять явных отпечатков пальцев, Энгр Георгиевич кинул тетрадь в узилище, щелкнул замком и начал вытряхивать из трубки пепел.

— Это... Н-нет... Не знаю...— Вулена никак не могла подобрать нужных слов.

— Желудок? — помог ей директор.— Неправильная работа эндокринной системы? Тяжелые ночные поллюции?

— Да нет у него никаких поллюций! — сказала женщина со взрыдом.— И желудка — нет.

— Мозг,— подсказал Энгр Георгиевич.— Поражение участков головного мозга. Такое бывает, например, при обморожении.

Глаза его затуманились. В них снова возникла пурга, оскаленные собаки... В окно учительской ударил черный ветер.

— Один мой приятель обморозил мозг,— пробормотал директор.— Требовалась срочная пересадка. Он умирал...

Тишина. Ветер гудит за окнами...

— И... что же? — Вулена внутренне содрогнулась от страшной догадки.

Директор вдруг приблизил к ней свое лицо, вытянув шею. Взгляд был прямой, в упор, как удар кастета.

Вулена Петровна отшатнулась. Только сейчас она увидела, что лоб директора пересекает глубокий шрам.

— Да,— сказал он, поднимаясь,— вы не беспокоитесь, это не больно... Особенно когда вместо наркоза — неразведенный спирт.

Подошел к окну и молчаливо уставился во мрак, в черноту. Тяжелая, как свинец, слеза шипела на щеке.

— И что же... что же случилось с приятелем? — сказала Вулена, чтобы прикрыться от тишины хоть каким-нибудь глупым вопросом.

— Он стал академиком,— просто признался Энгр Георгиевич.

— Да-а...— удовлетворенно протянула оранжевая фемина,— трудно, наверное, быть донором?

— Чепуха,— отрезал доктор,— мозг нарастает. Только сердце... сердце нет...

И только на женщину короткий, всепроникающий взгляд.

Она покачала головой недоверчиво. Думаю, качала в том смысле, что сердце, конечно же, не нарастает, но и мозг, мозг-то ведь тоже нарастает с трудом, разве не так?

— Я могу...— сказал директор,— могу все отдать. Но когда забирают последнее, когда забирают единственное, память забирают о товарищах, честь твою забирают, это уж... Какой уж тут мозг! — И рукой махнул.— Какой уж тут...

— Кого? — не поняла Вулена Петровна.

— Шкуру,— разъяснил Энгр Георгиевич.— Но я... Ничего. Переживу. Как сказано у древних: «Старику снились львы»...

— Вы что? — удивилась оранжевая фемина, взглянув на портрет Хемингуэя, ибо знала, что про львов написал именно бородатый Хем.— Какая шкура? Нет у нас никакой шкуры!

— Есть,— сказал директор.— Мне голос был...

— Нету. Честное слово, нету! — Вулена Петровна даже развеселилась.— Можете сами прийти и посмотреть!

Директор улыбнулся. Было что-то трогательное, глубоко наивное и чистое в том, как эта женщина, напоминаяшая девочку-подростка, особенно со спины, прижала маленькие руки к своей плоской груди.

— Придите и посмотрите!

Энгр Георгиевич, улыбаясь, потрепал ее по щеке. И Вулена Петровна, неожиданно для самой себя, на секунду прижалась к этой руке, как кошка.

Директор, чтобы скрыть свои чувства, повернулся к ней спиной и включил радиоприемник.

— Не надо сейчас ничего говорить,— пробормотал он, настраивая приемник на морзянку.— А по поводу вашего мальчика... Выясните контекст!

— Выясню! — пропела оранжевая фемина и, словно птичка, выпорхнула из учительской.

— Какой же ты у меня... обшарпанный! — пропела она, увидев сына.

На следующий день они пошли покупать ему новые ботинки. Отчего душа у ней пела, отчего? От человеческого отношения душа у ней пела. А не от секса, как подумали некоторые, который сам по себе является неизменным и животным. От секса душа не поет. А от человеческого отношения поет. Это, к примеру, прекрасно знали отцы, когда пели в компании по вечерам ту же «Катюшу», или «Орленка», или «Ехал на ярмарку ухарь-купец...» А ведь с сексом тогда было плохо, точнее говоря, совсем ничего не было. А сейчас, когда с сексом хорошо, никто не поет. Ни поодиночке, ни с дружбаками своими. Глухо, как в танке. А вы говорите: любовь и магия...

Филипп стеснялся, что идет вместе с матерью, идет, как маленький, хоть и был на две головы выше ее. Поэтому нарочито отставал, а иногда забегал вперед, мол, какая мать? Где она? Я — сам по себе. И не знал, переросток, что потом всю жизнь он будет вспоминать это со стыдом, с горечью... И если бы только это, если бы только это...

Пришли в магазин. Тогда во всех магазинах стояли чудесные суконные ботинки, черные, на молнии, под условным названием «Прощай, молодость». Но, несмотря на условное название, эти обрезанные валенки носили все, и глупые щенки, и простреленные навывлет воробышки. Носили долго, с ранней осени до поздней весны, и когда молодость снашивалась, когда начинал лезть войлок и молния застегивалась лишь на треть, то покупали новые, ядреные, мышиноного цвета, с тупым носом, чтобы носить их от ранней весны до поздней осени... И если бы, скажем, мне сейчас предложили: «На тебе, паршивец, ботинки твои и молодость в придачу», то я бы, возможно, и согласился. А если бы предложили одни ботинки, а молодость нет, то я бы еще подумал, ох, как подумал!..

— Покажите нам вот эти... С остреньким носом,— попросила Вулена Петровна.

— Какого размера? — откликнулась продавщица зевая.

Оранжевая фемина замялась, потому что не была готова к такому вопросу.

— Ну... Какого-нибудь... Среднего...

— Вы что? Среднего? Ха! Среднего! Ха! А у нас нет среднего! Ха! И не бывает среднего! Ха! Марусь, ты слышала? Среднего! Ха! Среднего, говорит! Ха! А если нет среднего? Ха! Если не бывает среднего? Ха! Если одни не среднего, ха?!

— Филипп! — истошно вскричала Вулена, потому что поняла — продавщицу заклинило и средний изыск может продолжаться до бесконечности.

Филипп, который делал вид, что он здесь

ни при чем, что он здесь случайно, просто зашел почитать социалистические обязательства, повешенные на стене, покраснел, как девица, и вынужден был подойти.

— У тебя какой размер? — шепнула ему мать.

— Сорок второй...

— Сорок два! — доложила Вулена Петровна продавщице.

— Ма... Может, не надо, ма?... Может, пойдём, ма?..

— Молчать! — приказала Вулена Петровна и на всякий случай добавила со значением: — Всем молчать!

Продавщица с отвращением, будто собирается сблвнуть, кинула им войлочную чепуху.

— Меряй!

Сын покраснел еще больше и завернул ноги винтом.

— Что такое?! — не поняла Вулена Петровна и почти насильно сорвала с него то, что еще недавно считалось обувью.

Причина смущения явилась тут же: носок на правой ноге был совершенно дыряв и походил на невод.

Мать от азарта сняла носок и заставила мерить на босу ногу. Спросила с требовательным смущением:

— Ну как?!

— Так как-то...

— Заверните,— потребовала Вулена от продавщицы, которая продолжала петь:

— Средние, ха! Средние! А если нет средних, ха?

Однако же уложила ботинки в коробку и перевязала бечевой.

— Носи на здоровье! — пожелала мать Филиппу.

Сын понял, что пришла пора благодарить. Попытался поцеловать Вулenu Петровну, но сделал это, как чукча, носом, потому что не привык.

— Пожалуйста! — громко произнесла гордая собою Вулена и демонстративно, на глазах у средней дыры смачно поцеловала сына в щеку.

Прочел я это все и изумился: а ведь славно, черт побери, написано, и главное — правда. Порнографии нет, а житейской мудрости навалом, есть лирические отступления, есть положительные образы, герои — простые советские люди со своими заботами, проблемами, недостатками, которые прорастают в достоинства. Я даже знаю, отчего получается так славно, это оттого, что мы все учили в школе про энциклопедию русской жизни. Сочинение пишешь — энциклопедия, экзамен сдаешь — опять энциклопедия. Юность проходит со скоростью краткого мифологическо-



го словаря, а потом, когда тряхнешь головой, вспоминая, что тебе на днях стукнет сороковник, то, окидывая взглядом небесцельно прожитые годы, понимаешь, что наложили тебе всякого дерьма столько, что ни в одну подписку не влезет и ни одна энциклопедия этого не вместит. И тогда приходит тоска. Тоска оттого, что дерьмо это появилось ведь не от каких-то захватчиков, а от тех же простых советских людей, и наложили тебе это дерьмо не просто кучей, не просто на ходу и мельком, а наложили, блин, в форме энциклопедии с пронумерованными страницами, в алфавитном порядке и с цветными иллюстрациями. А я разве хотел, чтобы мне накладывали в форме энциклопедии? Разве я просил, блин, делать это в алфавитном порядке, разве я библиотека города Александрии, разве я унитаз?

Нет, не могу я об этом, устал, душно мне. Поэтому я на ходу меняю героев. Теперь это простые итальянские люди, члены простой итальянской семьи. Живут они в простом итальянском городе, где добывают простую итальянскую руду. Ходят в простой итальянский магазин и покупают простые итальянские ботинки из серого войлока под названием «Арривидерчи, Рома». И вообще, кто поумнее, тот пишет исключительно производственную прозу или комиксы, а никакие там энциклопедии с навязным привкусом.

Я закрываю глаза и вижу, как простой итальянский мальчик Филипп сгребает крошки со стола своей огромной негнущейся ладонью. Они только что отобедали, то есть всей

итальянской семье. Сынишка, воспитанный как подлинный францисканец, а может быть, даже и доминиканец, пошел на кухню мыть посуду, а итальянка Вулена Петровна, которую, заметьте, я и раньше называл не иначе как оранжевой феминой, довольная тем, что потратила первую половину дня на благо собственного сына, спросила свою итальянскую мать:

— Матьер моя итальянская, какие успехи у твоего итальянского внука?

— Два,— ответила ей матьер ее итальянская и пояснила, чтобы доступней было, по-итальянски.— Между уно и трэ.

— А почему не кватро? — не поняла дщерь ее итальянская.— Почему не кватро или хотя бы трэ?

— Потому что тутти-фрутти,— объяснила матьер ее итальянская.

— Может быть, попросить падре,— задумчиво сказала дщерь ее итальянская,— чтобы он как следует выпорол этого падроне?

— Падре — в запое,— сказала матьер ее итальянская.— Он выпил слишком много кьянти.

— В запое,— словно в бреду, повторила дщерь ее итальянская,— кьянти, чинзано... Головка бо-бо, денюжки тю-тю?

В голосе дщери послышалась явная угроза, и итальянская аура, с таким трудом соткавшаяся черт знает из чего, вдруг треснула надвое по невидимому шву.

— Бо-бо и тю-тю,— подтвердила матьер ее итальянская.

— Послушай, старая кочерга,— обратилась к ней по-душевному дщерь ее итальянская.

— Как ты меня назвала, дщерь? — не поняла матьер и приложила ладонь к уху, чтобы лучше слышать.

— Я назвала тебя, о матьер, старой переженной кочергой. Ибо только старая переженная кочерга, которую никто не берет, потому что пачкает руки, може: ставить собственному внуку оценку между уно и трэ!

— Дольче рагаци! — ласково сказала ей матьер.— А пошла-ка ты в задницу собственного падре!

Здесь та, которую назвали дольче рагацией, она же оранжевая фемина, она же дщерь ее итальянская, взяла в руки тарелку, которую не успел убрать со стола нерасторопный падроне, и аккуратно, со смаком разбила ее об пол.

Матьер же, недолго думая, «престо», как могли бы мы заметить по-итальянски, кинула в морду собственной дщери скомканную салфетку.

Страшный крик потряс преисподнюю — это дщерь с невообразимой силой вцепилась в конские волосы своей итальянской.

— Я трачу последние деньги на твоего

внука... Ботиночки ему купила... «Арриведерчи, Рома!».. А ты, бессовестная кочерга, оставлешь его на второй год?!. Он же — идиот! Если он не закончит восемь классов — ему одна дорога — в узилище!

— Не могу я! — кричала матьер, отдирая от себя руки дщери, отдирая вместе с волосами.— Если я ему буду ставить трэ или кватро, то меня заподозрят в протекции и блате!

— Вон! — заорала Вулена Петровна.— Вон из моего дома, бессовестная! Видеть тебя не могу, видеть!! У-у!! Паразитка!

Зарыдала, забилась в конвульсиях. И от стыда, что не сдержалась, от предчувствия стыда еще более жгучего, например, через час после этой безобразной сцены, сама ушла за перегородку, в тишь, в кабинет, где рукописи писателя Свешникова тихонько пели ей о былом.

Положила голову на роман. Прошептала в тишину:

— Мы же будем разорены... Нас никакая публикация не спасет...

И забылась. Забылась так, как только может забываться долъче рагаци в лучшие свои годы.

...тук-тук-тук!

Вулена Петровна подняла голову с романа. Перед нею стояла бабка. Волосы ее были растрепаны и коротки. В руках находилась отрезанная коса.

— Продашь,— сказала она, кладя косу на письменный стол.

И пошла на цыпочках вон, как птица. Как настоящая матьер.

Звонок. Лязг замков. Помутненный Филипп, заходящий в комнату с нечленораздельным звуком:

— Та-а-м-м...

Недоумение. Что, как?!

И огромная кондитерская коробка, всплывающая в комнату, с кем бы вы думали? Со стариной Хенком, с полярником, с донором мозга... В общем, Энгр Георгиевич к ним пришел, если говорить по-простому.

— Мама! Мама! — кричала возбужденно Вулена Петровна.— У нас гости.

— Цветы с изголовья,— меланхолически заметил директор, протягивая Вулене букет гвоздик.— Сладкое со стола... Пришли, незваные. Уйдем, недранные.

Он был подшофе...

Из кухни зашла бабка.

— Поставь в воду,— распорядилась дочка, передавая букет.— Садитесь, Энгр Георгиевич... Не стесняйтесь. Что это вы... в шляпе?

— Шрам,— пробормотал гость,— шрам боюсь застудить.

— Вы бы хоть сдвинули ее на затылок,—

сочувственно посоветовала Вулена, — а то мы чай будем пить. Шляпа может испачкаться в варенье.

— Я не могу сдвинуть. Она приклеена, — объяснил Энгр Георгиевич.

— И ладно. И хорошо, — согласилась Вулена, решившая ни в чем ему не прекословить. — Тогда вытирайте об нее руки.

Печеная дева тем временем понесла гвоздики на кухню, развернула целлофан, чтобы поставить букет в вазу, и опешила — в букете было четыре цветка, то есть четное число.

— Чего это ты делаешь? — не понял Филипп, когда увидел, что бабка сует цветы не в вазу, а в мусорное ведро.

— Эти цветы — с могилы, — пояснила свои действия печеная дева.

— ...вот так и живем, — сказала Вулена Петровна, обводя будуар сиротливым жестом. — Не ворует, зато совесть чиста.

— Какое имя у вас интересное, — заметила она, — Энгр... Что это значит? В святцах есть такое имя?

— Есть, — кивнул Энгр Георгиевич. — Это простое русское имя. Оно означает: Энгельс и Революция.

— Хорошо, — согласилась Вулена Петровна.

— Я давно собирался вам сказать, — как-то вяло, неохотно признался директор, — еще давно собирался... Еще когда вы являлись мне в светлых снах отрочества...

Его мутный взгляд в это время оцупывал комнату и не мог ни на чем зацепиться. Вещи, его любимой, его дорогой вещи, не было.

— Это когда же я вам являлась? — нахмурилась лоб Вулена. — А! Помню! В детстве мне часто снился спящий мальчик. Будто я подхожу к нему и пытаюсь присниться. Значит это были вы?

Наверху в далекой ноосфере зазвучали венчальные колокольцы. Лицо директора было скорбно.

— Только имя у вас какое-то... странное, — пробормотал он в задумчивости. — Вулена... Может, Елена? Или Селена?

— Это — простое русское имя, — объяснила хозяйка дома. — Оно означает: Владимир Ульянов-Ленин.

— Ясно, — сказал директор. — Хорошо-то как... Я очень много воровал, — продолжал он в задумчивости. — Я был беспризорным в те далекие годы. Меня спас Дзержинский.

— Вы знали Феликса Эдмундовича?!

В глазах Вулены Петровны возник охотничий блеск, шар сам шел к ней в лузу.

— Мне ли не знать его, — усмехнулся директор.

— Ну и какой он был? — с подозрительностью вождя спросила из дверей печеная дева.



Ей был неприятен этот незванный гость. После могильного букета дева была уверена: между ними не может быть ничего, ни-ни-ни... Только дружба и светские отношения.

— Вы что, не можете сами вообразить, глядя на меня? — с какой-то многозначительной мрачностью пробормотал гость.

Жуткая тайна обожгла Вулenu. Еще не понимая ее, не отдавая отчета в том, к чему она прикоснулась, спросила:

— Вам нужно писать мемуары. У меня большой редакторский опыт. Первую главу можно было бы назвать так... Ну, предположим, «Чистые руки».

— А вторую: «Горячее сердце»? — желчно осведомился директор. — Не стоит, дорогуша... — В его тоне появилась сладкая фамильярность. — О родственниках — только хорошее. Руки, кстати, у него были всегда в песке.

— В каком песке?

— В сахарном, — сообщил Энгр, заглядывая под кровать.

Но и там не было шкуры, не было...

— Ничего не понимаю. Но если вы — родственник Дзержинского, то почему вы были беспризорным?

— А разве не может ближайший родственник Дзержинского быть беспризорным?! — взвыл директор от полного непонимания со стороны грубых толстокожих людей, которые его окружали. — Особо когда отец не хочет признавать своего ребенка?!.

Вулена окаменела. Ее пронзило неожиданное прозрение, как вурдалака протыкает насквозь деревянный кол. В самом деле, человек, волею судеб оказавшийся в ее доме, был страшно похож на Дзержинского, он был почти полной его копией, в том не оставалось никаких сомнений. Только покойный Дзержинский был худой и с козлиной бородкой. А этот же был толстым и с бородой капитана. «А если ему похудеть и отрастить клинышек? — почудилось ей.— Сходство будет полным. Удручающим будет сходство. Это все равно что Хемингуэя заставить побриться и похудеть. Ведь тогда и получится не Хемингуэй, а Дзержинский! Дзержинский!»

— Вы не волнуйтесь! Мы обязательно напишем эту книгу! Напишем вдвоем. А потом обратимся в комиссию ЦК. К самому Никите Сергеевичу обратимся! И школу назовем вашим именем.

— Да книга уже написана,— отмахнулся Энгр, открывая чемодан, который он вытащил из-под кровати.

Но шкуры не было и там. Не было шкуры... — Где?! Кто написал?! — вспыхнула Вулена Петровна.

Она не переносила конкуренции. Поэтому была всегда одна, всегда одна...

— Сервантес,— сказал Энгр и закрыл чемодан.

В комнате воцарилась неловкая пауза.

— Сервантес жил в восемнадцатом веке,— неуверенно сказала из дверей бабка.

Даже она была подавлена этим последним признанием могильного гостя.

— Чепуха,— отрезал директор,— это нам так сказали. А мы, дураки, верим. Мы, бараны, верим!! — вскричал он.— Во!! — И ударил несколько раз по лбу костяшками пальцев.— «Дон Кихот» написан в 25 году. В Лубянской тюрьме!

— А не попить ли нам чаю? — напряженно предложила Вулена Петровна, потому что чувствовала — еще одно мгновение, и она будет сломана, сломана чистыми руками и горячим сердцем.

От этой фразы все в комнате пришло в облегченное движение, будто камень с души сняли: бабка убежала на кухню, Филипп придвинулся к столу, а Вулена разрешила бечевку и сняла коробку с торта.

— Мама! Мама! Посмотрите, какая прелесть! — не смогла она сдержать своих чувств.

Торт изображал Кремль. Часы на Спасской башне, сделанной из шоколада, показывали двенадцать. Кремовые могилы героев таили в себе клубничную начинку. Вулена Петровна повнимательнее взгляделась в мармеладную дорожку, ведущую от Спасских ворот во внутренние покои. По ней ехал автомобиль. Лег-

кий дымок вырывался из выхлопной трубы. Строгий конвой отдавал честь.

— Где вы купили это чудо?!

— В распределителе. Да разве в этом дело?! — вздохнул директор.— Разве в этом?!

— Да что вы такой грустный?! Просто невозможно! — И Вулена Петровна потрясла гостя за плечи.

Внутри директора что-то звякнуло.

— Так, ничего. Просто вспомнил... похороны отца.

— Да что вы все о похоронах да о похоронах! — вскричала повеселевшая фемина, уже как бы и позабыв пассаж о Сервантесе, потому что предполагаемая сладость торта перебила нечаянную скорбь.— Ну-ка, Филипп,— распорядилась она,— порадуй нас. 6 октября!

— Восход солнца в 6.41, заход в 17.53,— как заведенный, пробормотал Филипп.— Долгота дня 11.11.

— Во! — гордо подтвердила мать.— А вы его гнать хотите. А что с луною, сынуля? Что с луною?

— Новолуние 8 октября,— продолжал Филипп, наблюдая, как бабка разливает чай.— Восход 4.44. Заход 16.50.

— Гениально,— вынесла вердикт Вулена и отрезала сыну мавзолей.— Правда ведь, гениально? — спросила она гостя.

— Вы меня извините,— с учтивостью Дзержинского произнес Энгр Георгиевич.— Но здесь ошибка. Восход солнца не в 6.41, как нам тут было заявлено этим самоуверенным молодым паном, а в 6.42.

Вулена искренне расхохоталась.

— Не смешите меня! Уж ему-то лучше знать, когда восход!

— Что же, из уважения к вам я могу согласиться. Даже Галилей соглашался с заведомой неправдой, даже Джордано Бруно пылал на костре. Что ж, разжигайте свой огонь, разжигайте!

— Что вы такое плетете? — грубо спросила мать.— Ведь это курам на смех.

— Может быть, и курам. Но никакие куры не заставят меня назвать белое черным, а восход солнца 6 октября убавить на целую минуту! На целую минуту!!

И директор выплонул на блюдце рыбную косточку. Бог знает, откуда она взялась в торте.

— Это — из Москвы-реки,— успокоил он присутствующих.

— А вам-то откуда знать, когда восход 6 октября? — с откровенной ненавистью спросила Вулена.

Энгр Георгиевич только усмехнулся.

— Мне ли не знать, милочка. Мне ли не знать!

— Мама! — вскричала Вулена Петровна, наконец-то выходя из себя.— Несите кален-

дарь! Сейчас будет стыдно,— обратилась она к директору,— очень стыдно!

— Мне уже стыдно,— признался он. И уточнил: — За вас!

Печеная дева принесла календарь. Руки Вулены Петровны дрожали, когда она листала слипшиеся страницы. Листала и не могла найти проклятую дату.

— Тут вообще нет 6 октября,— простонала она, заплакав.— Этот календарь — без 6 октября!

— Дайте сюда! — И директор вырвал у нее пухлым численник.

— Да вот! — вскричал он, тыча пухлым пальцем.— Просто он здесь помечен 7-м! Восход — в 6.42. Заход...

— Как ты мог перепутать! — набросилась Вулена на сына.— Как мог?! Ничего не знаешь, ничегошеньки!.. Вон отсюда, вон!..

— Не бейте его,— заступился за чадо директор,— у него такое странное имя... Кстати, что оно означает? — добавил он с подозрением.

— А вы сами догадайтесь! — гневно заявила мстительная Вулена.

Директор помял губами.

— Фурье, Ильич, партия? — предположил он.

— Нет. Это простое русское имя. Означает Филипп. Вот и все.

— Я буду звать его Липой,— смиловился Энгр Георгиевич.

Комнату потряс взрыв. Лампа под потолком в газетном абажуре, которая заменяла люстру, закачалась, как при землетрясении. В окна брызнул ослепительный свет.

— Это — салют,— первым догадался Филипп.— Ур-ра!!

— Ур-ра!! — поддержала его бабка, чтобы уберечь внука от несправедливого возмездия.— Ура!

— Ну что же,— скромно заметил Энгр,— ура так ура!

— Полезем на крышу,— предложила Вулена Петровна, зардевшись.

Филипп тем временем уже открывал окно. Ура!

Крыши и без них уже были заполнены народом.

Ура!!...

Стояли кормящие матери с грудными ребенками на руках и не могли наглядеться на оранжевые сполохи.

Ура!!

Такого уже не бывает, товарищи депутаты, чтобы все люди, объединенные одним, можно сказать, порывом, а можно и уточнить, как бы порывом, порывом к правде, к освобождению от ига капитала и прочего ига, так вот кричали в сто глоток одновременно — ура!! И в том, что они теперь уже не те, эти люди, и глотки

у них не те, виноваты именно вы, товарищи депутаты, именно вы, так я скажу. Правда, конечно, глаза колет, зато не надо было варежку раскрывать, товарищи депутаты, а то бы до сих пор кричали бы все «Ура!», как эти сейчас кричат, нагишом и на крыше,— ура!

Ур-ра!!

Энгр Георгиевич, хоть и был на голову выше племса, а тоже ведь варежку открывал, чтобы присоединиться к общему чувству. Однако звука из себя не выпускал, таил в себе этот звук, потому что берег легкие.

И видит: стоит на противоположной крыше медвежья шкура. Стоит на задних лапах и тоже кричит вместе со всеми: Ура! Ур-ра!!

Тут челюсть директора совсем поползла вниз и долго еще не могла прийти в подобающее положение.

Разве нормальный человек станет отчимом? Скажем, Манолис Глезос? Или Галилео Галилей? Нет, не станет. Только зачем нам нужна эта фантазмагория? Ведь и без нее ладно было. Действие текло. Узел завязывался. Конфликт зрел. Вот смотрю я на этого типа и даже не знаю, как его назвать: директор там, старина Хенк, донор мозга... А ведь это все уловки. Потому что я твердо знаю, что ихнего брата зовут Барбудос. Отчимы все Барбудосы. По-другому еще Камарадасы. Потому что когда они приходят в дом, то наступают никарагуанские тропики. Со стрельбой, скорпионами и жарким дыханием уходящего дня.

Вижу я из своего прекрасного далека этого пылесоса, этого Барбудоса. Бороду его вижу, свитер, под свитером — трусы. Больше на нем ничего нет. Кладет этот Барбудос папку на живот своей новой жены, а папочка р-раз — и падает на пол. Кладет, дотошно поправляет, чтобы папочка была в равновесии, чтобы никто не сказал, что она упала случайно... Р-раз — и папка снова падает. И сыпятся из нее рукописи покойного писателя Свешникова.

— ...жив,— сказал Энгр Георгиевич.

— Мне страшно,— призналась с тихой улыбкой его новая жена, та, которую совсем недавно мы называли оранжевой феминкой.— Мне кажется, наступит день, когда папка не упадет.

— Чепуха,— отрезал Барбудос.— Думаешь, запятой в твоём животе не хочется жить? Думаешь, этой ижице можно запросто рассосаться?

— Поцелуй меня,— и Вулена Петровна простерла директору свои руки.

Лежала она за ширмой на брачном ложе, была в комбинации и в черных чулках, между прочим, перекрученных, но это неважно.

Важно было то, что либидо Энгра Георгиевича, по-видимому, не находившее ранее достойного применения, уплотнилось в нем

до такой степени, что ввергло оранжевую фемину в состояние трепета, не проходившего ни днем, ни ночью.

— Поцелуй меня!

Энгр надел на лицо марлевую повязку, или, если говорить по-медицински, нарыльник. Поцеловал ее, теплую, через этот нарыльник, через эту марлю.

Вулена Петровна хоть и сплюнула нитку, которая попала ей в рот, но все равно была счастлива.

— Гигиена — прежде всего,— пояснил директор свои действия, снимая нарыльник и поместив его в спиртовой раствор.— Ижицы — они такие чувствительные, такие запятые... Дохнет инфлюэнца — нам ничего, а ему — тью-тью. Ижица превращается в твердый знак.

— Я вот что думаю,— заволновалась Вулена Петровна.— Твой эксперимент с папкой. А вдруг ее не ребенок сбрасывает?..

— А кто? Черт?

— Сам ты черт! Ну, не знаю... Просто падает и все. Он закона всемирного тяготения...

Энгр Георгиевич пустил по лицу складку. Чтобы рассеять лукавое сомнение, предложил:

— А мы сейчас проверим.

И вышел с папкой из-за ширм.

Там, на вольной воле в пятнадцать квадратных метров, спала на полу та, которая дала жизнь его новой жене и которую мы уже никогда не назовем печеной девой с косой, потому что косу она отрезала и лишилась вместе с ней всей своей несвежей красоты.

Дева похрапывала. Вулена Петровна высунулась из-за ширм. Директор приложил указательный палец к губам и пристроил папку на животе печеной девы.

— Ну что, мамочка? — прошептал он торжествующе.— Видишь? Лежит. А ты говорила, что...

Р-раз! И папка грохнулась на пол.

Печеная дева застонала и перевернулась на правый бок. Энгру Георгиевичу стало нехорошо.

— Странно,— пробормотал он,— странно!

— Я же тебе говорила! Говорила, что это чепуха! — накинулась на него по старой своей привычке оранжевая фемина.

— Странно,— повторял директор, не находя объяснения.

— Да ладно тебе, экспериментатор хренов,— по-простому, по-душевному сказала ему Вулена.— Айда на кухню чай пить!

— Сначала двадцать приседаний для ижицы,— потребовал от жены Энгр Георгиевич,— а потом десять поднятий ног для запятой...

Приседали вместе.

Затем Вулена села на стул, заложила руки за голову и стала поднимать ноги. Энгр Геор-

гиевич стоял рядом и подавал, как ему казалось, разумные советы:

— Дыши ровно. Ноги — в линейчку. Носки тяни! Носки, говорю!

Филипп на кухне жарил картошку.

Пока Вулена Петровна принимала ванну, директор явился перед Филиппом во всем великолепии. Свитер, трусы... Свитер пушистый. Трусы новые. И никакого, в сущности говоря, натурализма.

— Солил, Липа?

— Угу.

— Хорошо,— сказал директор (1919—1970).— А если соли не было, что тогда?..

— Ум-м,— выпустил из себя Филипп и пожал плечами.

— На антарктической станции, когда кончалась соль, мы солили инеем. Иней в Антарктиде соленый. Жареная картошка с инеем очень полезна.

— Гр-ру-м-м,— сказал Филипп.

— Именно,— согласился отчим.— Гры-ы... Гр-у-у-м-м! Мя-а-а! Мя-а-а!

— Тебе что, хвост прищепили? — осведомилась жена, выходя из ванной.

— Плохо дело, Вуля. Оч-чень плохо. Вот этот,— и Энгр Георгиевич показал пальцем на пасынка,— совсем говорить разучился. Но мы умеем развязывать языки.

— Не этот, а Филипп! Филипп! — прикрикнула на мужа Вулена Петровна.— Не выношу, когда ты вместо имени говоришь «этот»... Ну-ка, сынуля... Что с тобой? Ты плохо себя чувствуешь?

— Мра-м-ма-а.. ом! — сказал Филипп, пробуя картошку на вкус.

— Слава Богу, придуряется! — рассмеялась Вулена и чмокнула сына в лоб.

Пошла в комнату, чтобы напялить на себя платье и увидела, что ботинки сына, бывшие еще неделю назад совершенно новыми, те, которые она купила на последние деньги из последних сил, стоят мерзкие, грязные. И отвратительный запах, как от убитой кошки, ударяет в нос.

— С добрым утречком! — пробормотала бабка, вытягивая вперед свои пухлые руки.— Я, кажется, проспала?

— У тебя в животе кто-то...— сказала Вулена Петровна задумчиво.

...Чмок!

Чмок!!

В щечку, в лоб.

— Пока!

— Пока! Береги плод.

— Постараюсь!

Потому что оказался один. Потому что оказался свободен. А одиночество позволяло ему заняться любимым делом, любимым трудом.

Этим трудом был телевизор, похожий на разрезанного больного, оставленного на операционном столе. Хирург пошел к заведующему ругаться по поводу тринадцатой зарплаты, сестра встала в очередь за крупной, санитар сделал мат в два хода, а больная в это время, блестя лиловыми внутренностями, толковал с Богом о трансцендентных сущностях.

Энгр Георгиевич вынул из телевизора лампу и, воровато оглянувшись, спрятал ее под матрац. Счистил с кинескопа копоть, потом — насыпал вовнутрь битого стекла из специального мешочка.

За спиной послышалось стенание, рык...

Оглядывается и видит: лежит у окна медведь и пасть неприятную скалит. На крыше лежит. С неприятной слюной.

Директор на всякий случай попятился, открыл холодильник и бросил медведю кусочек мяса.

Видит, медведь есть. Съел и срыгнул. И смотрит вопросительно. И клыки выказывает. Будто еще хочет.

Директор дал ему пельмень из морозильника.

Медведь съел. Но не ушел. Морду свою просунул в комнату и повел очами, мол, что бы еще на зуб перекусить. Телевизор увидел и вырвался.

Тогда Энгр Георгиевич снял телефонную трубку.

— Звони, звони,— сказал ему зверь.— А ведь напугал. Борода лопатой. Рот — без зубов. Тушинский вор.

— Да ладно вам, Николай Николаевич,— пробормотал директор с досадой,— вечно вы в шкуре... Зверинный облик имеете.

— Ты мою шкуру не трожь — отрезал Н. Н. Крабов.— Я бы уже загнул без шкуры. Вчера ночью заморозки ударили. Думал, очокурюсь. Ан нет. Только через пасть дует. Приходится ее шарфом затыкать.

— Алло, алло... Милиция?! Участковый?! Алло! — говорил между тем в трубку Энгр Георгиевич.

— Давай, давай. Только номер внимательнее набирай, а то я провода перерезал,— сообщил зверь.

— Зачем?

— Я из проводов корзины плету.

— Чтоб в милицию звонить, провода не нужны,— отрезал директор и снова накрутил двузначный номер.

— Почему?

— Потому что связь здесь не косвенная, а прямая, — туманно объяснил директор, дуя в трубку.— О! — воскликнул он и протянул трубку Крабову.

Зверь вытянул вперед свое рыло и слышит: в самом деле гудит! Загудел проклятый аппарат!

— Чего же я тогда резал? — в сердцах спросил отец.

Энгр Георгиевич щелкнул выключателем. Свет не зажегся.

— Электричество,— сообщил директор,— электричество вы резали, гражданин.

Отец грязно выругался.

Простонал, будто раненый:

— Ну не могу я! Не могу я с этой сволочью говорить!

— Я не сволочь. Я люблю ее... Милиция?! Дежурного мне... Дежурный?!

— Ладно,— сказал зверь,— клопа танками не раздавишь.

И пополз по крыше вспять.

— А кто клоп?! Кто клоп?!— крикнул ему напоследок директор.— Милиция?! Дежурный?!.

— Пошел в ...! — душевно сказали из телефона.

Энгр Георгиевич осекся и возвратил трубку на рычаг.

В дверь постучали.

Оглядываясь, на мягких ногах, шаркающей кавалерийской походкой старина Хенк приблизился к двери.

— Кто?!

В ответ ему что-то прощebetало. И от этого, казалось бы, невинного щибета перехватило дыхание, и щеки наполнились слюной...

Из-за двери говорили по-итальянски!

Энгр Георгиевич открыл... Точнее, как ему показалось, дверь сама отворилась без всякого с его стороны прикосновения.

На пороге стоял монах!

Самым ужасным было то, что монах оказался не нашим советским монахом, которых Энгр Георгиевич знал по картинкам, а монахом ихним, таким монахом, про которого и знать-то не полагалось, и никакие картинки про таких монахов не рассказывали.

— Вот вы как..! — страшно прошептал директор.

— Нон румпо дибалли,— произнес монах с очаровательной улыбкой.

— Си,— согласился с ним на всякий случай Барбудос Хенк.

Монах был одет в черную походную рясу, подпоясанную обыкновенной бечевкой. Протянул Энгру Георгиевичу конверт без адреса. Сказал, все так же улыбаясь:

— Грации.

— Арриведерчи! Арриведерчи, Рома! — помахал ему вслед Энгр Георгиевич, как обычно машут рукой пионеры, когда тяжелый поезд уносит их в какие-нибудь лагеря.

Всё. Кончилось. И шаги нелепого, как граммофон, монаха умолкли, пропали. И можно было, как пишут в романах, прислониться к дверному косяку, вытереть холодный пот со лба, а потом...

А потом, если рассуждать логически, требующий зачеркивания и сокращения.

Ведь мы, блин, не какие-нибудь Прусты, писать-то ведь не умеем. И не будем писать. Тем более, писать сюжет, тем более, писать последствия посещения какого-то монаха, осложнения на сетчатке глаза, вызванного его черной рясой, доискивание, дотенькивание чего-то, поиск логики, смысла... Все это мы вымарываем. И вымарываем самым натуральным образом.

Вычеркиваем.
Вычеркиваем.
Вычеркиваем.

Вычеркиваем.

Вычеркиваем.

Вычеркиваем.

Мы ее просто опустим.

Свежий утренний вечерок, подобный газовому шарфу, подобный поцелую ребенка, когда воздух чист, прозрачен и свеж, но все-таки более ветерок, потому что в первый ветерок пробралась опечатка, а с устной точки зрения — оговорка, которая, согласно Фрейдю, выражает глубинные слои бессознательного, но истинного в том смысле, что мы проговариваемся о сокровенном, в том смысле, что мы все уже в вечерке, а не в ветерке, весь мир, вся вселенная в вечерке, и пора чай пить, последний, так сказать, подслащенный чаек, в общем, Энгр Георгиевич шел по крышам вне себя.

Представить это визуально, что значит «вне себя», я не могу и не дерзаю. Может быть, это какая-то тень над физическим телом Энгра Георгиевича, которая более жива, чем сам директор, то есть волосы всклокочены, глаза бегают, как машины в час пик, а тело же идет механически, с неподвижным лицом манекена, а может быть, нет.

В общем, шел он по крышам, влез в какое-то слуховое окно, ободрав о рамы часть пуговиц с пальто. И оказался в одном унылом учреждении, которое мы уже описывали в наших хрониках: с нарукавниками, счетами, куревом и шерстяными платками, заматанными вокруг толстых бедер.

Переход, окно. Звук спускаемой воды. И Энгр Георгиевич оказался возле нужника.

Но учреждение на то и зовется учреждением, потому что чего-то учреждает, чего-то навязывает обществу бескровным насилием, то есть себя, свою самость и суть, и получается учреждение, то есть оно само с фундаментом, чаем и нужниками. Но и среди нужников попадается телефон.

Это был настенный железный аппарат с тяжелой, как гиря, телефонной трубкой, сня-

тый в свое время с атомной подводной лодки «Пионер».

Около него висела железная табличка, намертво ввинченная в холодный камень стены:

«Говорить не более 3-х минут аппарат радиоактивен».

Энгр Георгиевич вертанул тяжелый диск, ощущая в пальцах приятное покалывание.

— Седьмой слушает, — раздалось в трубке.

— Мне восьмого, — сказал директор.

Послышался короткий писк.

— Восьмой на проводе.

— Здесь девятый, — сказал Энгр Георгиевич. — Жду в секторе 13а.

— Не понял, — отозвалась трубка в сомнении. — Какой сектор?

— 13а. Льетса кран. Битый кафель. Запах. Приходи.

— У нас нет сектора 13а.

— В сральне я тебя жду, в сральне! — дико закричал директор и длинно выругался польски, помяная в середине досточтимую матку боску.

Швырнул трубку на рычаг и посмотрел на часы. Разговор занял полторы минуты, значит доза облучения оказалась в пределах допустимого.

Прикидывая в уме микрорентгены, директор забрался с ногами на унитаз. Бог знает, отчего он так сделал. Возможно, сказывалось влияние его дебильных учеников. Закурил. Выстрелил зажженной спичкой в потолок. Вверху образовалось черное пятно.

Дверь в туалете открылась. Человек в сатиновых нарукавниках неподвижно устался в лицо старины Хенка. Ответом ему была марка, выгашенная из кармана пальто, — та самая, которую принес подпоясанный бечевою монах.

Ни слова не говоря, человек в нарукавниках снял со своей физиономии очки и приставил их к марке наподобие лупы.

— Что?! — нетерпеливо спросил директор.

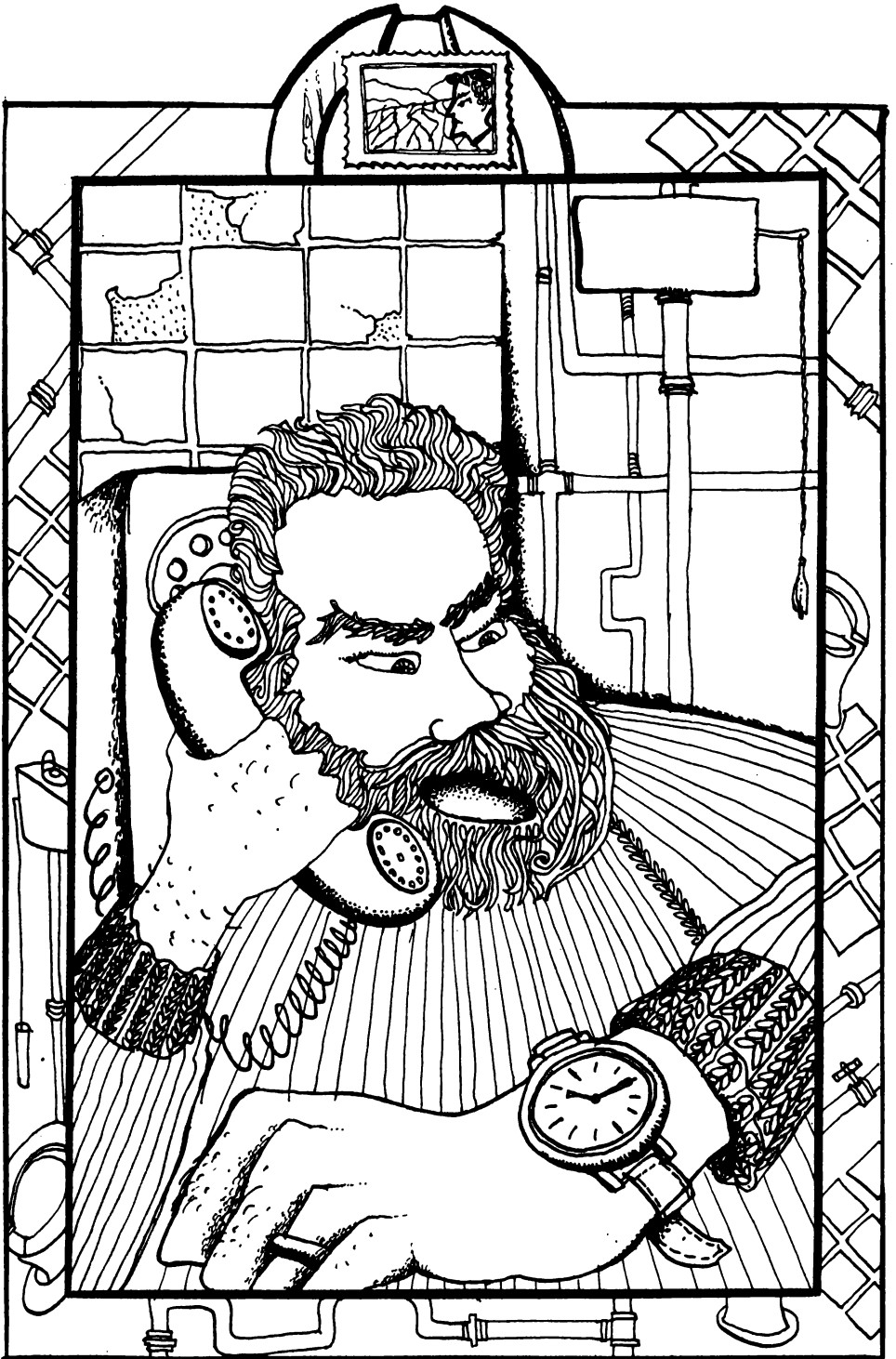
Человек в нарукавниках пожал плечами и ушел.

Директор остался на нужнике, ожидая развязки. За окном падал мокрый снег. Паутина на потолке покачивалась от ветра.

Человек в нарукавниках вернулся через минуту. Вручил Энгру Георгиевичу толстый альбом марок. Директор мельком его пролистал. Колониальные животные. Профили королей. Цветущие толпы свободного Китая.

— Нет, — ответил директор, возвращая альбом. — Это — неравноценный обмен.

• • •



Света не было. А когда света нет, то зажигают свечи и возвращаются в век девятнадцатый, в золотой, что ли, век, и даже женщины тогда, особенно если они феминны, приобретают сходство, ну, например, с Михаилом Юрьевичем или, на худой конец, с Петром Ильичом.

— Значит, косу отрезаем,— сказала Вулена Петровна, вымарывая из рукописи покойного литератора Свешникова целый абзац.

— Отрезаем,— согласилась вдова Дуся, поправляя прелестную челку на своей голове.— Какую прическу делаем?

— Мне кажется, она должна быть коротко подстриженной,— предположила Вулена, инстинктивно трогая свои волосы.— Например, как Мерилин Монро.

— Не знаю такую,— сказала Дуся.— Это как? Как у тебя, что ли?

— Потом расскажу.— И секретарша поставила в рукописи галочку.

— А по-моему, лучше под Бриджит Бардо. — Нужно приходить к согласию, Дуся. Нужно приходить к согласию. Или — или...

С кухни неслись детские крики, звон разбитой посуды и свист перегревшегося чайника.

— Ну давай тогда перёд — под Мерилин, а затылок — под Бриджит?

— Синкретизм.

— Чего?

— Это по-научному,— объяснила Вулена Петровна,— то есть делаем собирательный образ. Этакую Бриджит Монро, так?

— Так,— неуверенно согласилась вдова.

Вулена быстро зачирикала карандашом по бумаге. Спросила, останавливаясь:

— А чулки?

— Вычеркнуть чулки! — кровожадно вскричала Дуся.— Пусть она ходит без чулков. Бояся!

— С блестящими твердыми икрами,— мечтательно добавила бывшая секретарша.— Как бильярдный кий.

— Правильно.

Они начали писать в две руки.

— А шары? — спросила Дуся.

— Какие шары?

— Ну, ты же предложила кий,— напомнила вдова.— Может, нужно и шары?

— Не нужно шаров,— отрезала Вулена.— В шарах есть что-то... неприличное.

— Он мне вчера снился,— сказала вдова.— Будто я сижу на кровати и взбиваю расческой волосы.

— Как Бриджит,— подсказала мстительная секретарша.

— А он подходит. Тихий такой. Весь в сланцах и марганце... Я даже вся окаменела.

— Ну и дальше что?

— Поцеловал...— выдохнула печальная Дуся.

— Поцеловал и кое-что оставил! — раздался у них над ухом трубный глас.

Обе вздрогнули. Пламя свечи дернулось и чуть не погасло. Над ними навис Энгр Георгиевич в сланцах и марганце. Так, во всяком случае, им показалось в первую секунду. На самом деле, он был в черном снегу.

— Ты что?! — заорала супруга.— Что ты людей пугаешь?! Он, что ли, тоже к тебе приходил?!

— Ха-ха-ха!! — было им ответом и ответом, надо признаться, совершенно сатанинским.— Ха-ха-ха!!

Продолжая размеренно, по-шалаяпински, испускать этот романтический звук, Барбудос Хенк стал мерить комнату гигантскими шагами, на ходу снимая с себя одежду и расшвыривая по углам.— Ха-ха-ха! Хо-хо-хо!! А-а!!

— И часто это с ним? — испуганно прошептала Дуся.— Я бы с таким жить не смогла...

— Уж ты-то помолчи! — прикрикнула на нее Вулена.— Ты уже пожила! Мужик от тебя в сланцы полез...

Из кухни несся визг и рев детей. Гигантские тени метались по черной комнате, совершенно забыв о своем источнике.

— Ты толком объясни,— сказала жена,— а то не докончил и начал хототать!

Директор к тому времени остался в своей фирменной одежде — в спортивных трусах с красной полосой и вязаном свитере из съеденного кобеля.

— Был,— подтвердил он,— еще бы не был!

— Вот видишь, значит шахтеры правду говорят,— пискнула вдова.— Каждый вечер у них...

— Как он был одет? — требовательно спросила Вулена.

— Во всем черном.

— Как на свадьбе...— бесцветно, вяло, я бы заметил, гипнотически-вяло довершила за директора Дуся и громко всхлипнула навзрыд.— Это чтоб пролежней не было видно,— предположила она.

— Верно,— согласился директор.— Тут такое дело, что того... Такое дело...

Сформулировать точнее свою мысль он не смог.

— Нужно заказывать молебен! — вывела за него жена.

— Тут молебном не отделаться, тут надобно...— И директор таинственно понизил голос.—...кардинальные меры! Кардинальные!..

— Кардинальные!! — заворуженно повторили за ним две женщины.

Пламя свечей опять дрогнуло, потому что в дверь требовательно постучали.

— Есть! — сказал старина Хенк, трясаясь



всем телом.— Он! Собственной персоной!..

— Да провались ты! — дико закричала Вула, потому что даже на нее напал средневековый страх.

Шепча и причитая, пошла открывать. Директор показал Дусе свои запястья, сложенные крестом. Однако, что сие значило, не объяснил.

В комнату вошел недовольный человек в спецовке и поставил на пол две пустые корзины, сплетенные из проволоки.

— Это электрик! — сообщила счастливая Вулена Петровна.— Я совсем забыла... Я же электрика вызывала!

— Это вам будет дорого стоить, мамаша,— бесцветно сообщил человек в спецовке, вынул из голенища заточенное лезвие с рукояткой, обмотанной изоляцией, и начал резать принесенные корзины.

— Вы зачем это, а? — не поняла Вулена.

— Провода, — пробормотал электрик.— Провода во всем доме перерезаны. Провода буду плести из корзины.

— А где корзины взял?

— Где взял, где взял... Купил! У одного ханыги. Это будет вам стоить еще дороже.

— Я согласна,— сообщила будущая мамаша, а впрочем, и прошлая.

Директор расправил свои полярные плечи, чувствуя, что опасность миновала. Сообщил как бы между прочим:

— Пойду пройдуся.

И, напевая под нос фривольную песенку под названием «Моя машинка»*, подался на кухню.

А на кухне был к тому времени уже форменный бедлам, так что не могла бы проехать никакая машинка. Дети писателя Свешникова количеством в пять, может быть, даже и в шесть душ, боролись друг с другом на полу среди рассыпанной крупы и сахарного песка, который, как ни крути, водился тогда в домах в изобилии. Я это не к тому, чтобы, скажем, оплевать, очерняя, демократические идеи, допустим, Джеферсона. И не к тому, чтобы очернить, оплеывая, идею общественного договора, допустим, Жан-Жака Руссо. Я это к тому, что когда не было, положим, общественного договора, то сахар был, а когда этот, положим, договор потихонечку нарисовался, то сахар тю-тю, утек к бездомным старушкам, торгующим у метро своим скупым телом. А вы все варежкой хлопаете, товарищи депутаты, все варежкой хлопаете, а хлопая, хаваете, хлопая, хаваете! Вот что обидно...

* Моя машинка, моя машинка,
Что украшает мой салон,
Моя машинка, моя машинка

Системы чудной «Ремингтон». (Прим. автора.)

Филипп не принимал участия в бедламе. У самых его ног лежала лирнейская гидра, сделанная из законнорожденных тел, и извивалась, и пыхтела, и грызла в азарте саму себя.

Увидев эту античную склоку, Барбудос Хенк захохотал. Кровь прилила к его бороде, бесцветные и мудрые, будто у свиньи, глаза наполнились густым, как сперма, азартом. Он оказался в сердцевине ристалища. А уж в ристалищах он, будьте уверены, знал толк.

— Боксовать! — закричал он дико.— Боксовать!

И тяжело запрыгал перед Филиппом в своих спортивных трусах. Зазвенела на полках посуда. С потолка сыпалась известка. Дощатый пол прогнулся, словно батут. То старина Хенк, большой ловец своего маленького счастья, махал кулаками перед носом Филиппа, то есть, выражаясь объемно, боксовал, и в этом своем боксовании не знал ни удержу, ни смысла.

Филипп попятился и напоролся спиной на край серванта.

— На!.. На! На! — посыпал ему директор азартные звуки, а тяжелые кулаки все ближе и ближе приближались к носу.— На! На! На!..

Шутил ли он? Играл ли он? Ответы с осторожностью: да, поначалу шутил, поначалу играл. Но процесс боксования, да будет вам известно, обладает такой всеобъемлющей бесовской силой, что даже если бы святой Франциск Ассизский начал заниматься в шутку этим странным делом, то, будьте уверены съехал бы в конце концов в обыкновенной дебош или в то же античное ристалище.

И когда Филипп во второй раз услышал дикий вопль-приказ «Боксовать!», то понял — кранты, шуточки для уточки, а для нас — ни минуточки.

— На! — сказал ему директор и, не удержавшись, ударил по правой щеке.

Филипп подумал, что надо подставить левую. Подумать-то он подумал, но еще академик Павлов заметил, разрезая любимую собаку: есть кекс, а есть рефлекс. Потому что каждой суке жить хочется.

И Филипп ударил его наотмашь. Ударил не сильно. Причем не в дальний попал, а в плечо. Детский, знаете ли, получился ударчик. Но, как выяснилось чуть позже, ударил навсегда.

Директор поскользнулся на сахарном песке. Упал навзничь, смяв своим мощным задом лернейскую гидру, которая оказалась сделанной Самоделкинным.

— Ах, вот ты как!! — закричал он, поднимаясь, еще не чувствуя, что в голове что-то треснуло, надломилось, однако упорная пружина толкала этот футляр к последнему действию.— Боксовать!!

Но сколько бы он ни кричал теперь, сколь-

ко бы ни махал кулаками этот признанный Богом и людьми охотник, все было напрасно: на его шее, ногах, руках, лодыжках и ягодицах повисли остатки лернейской гидры: сумасшедшие дети писателя Свешникова.

Скрутили. Склеили. Загрунтовали. И, распахнув ванную, втолкнули туда разъяренного Барбудоса. И дверь на крючок заперли с внешней стороны.

«У меня не дети, а выблядки»,— любил, по слухам, говаривать А. С. Пушкин. Выблядки срезали старину Хенка, превратив охотника в дичь.

Сначала Энгр Георгиевич стучался и звал на помощь. Никто не открывал. Более того, в квартире наступила гнетущая тишина. Так, во всяком случае, показало директору.

— Ну ладно,— решил он про себя,— хватятся — откроют. Жеребец из стойла пропал, все стойло — на слом. А пропала соломинка из копны — только сторож чихнул. Хватятся — будут искать. А не хватятся, стойло — на слом, им же хуже, им же хуже...

И так, путаясь в несуществующих поговорах и удлинняя вялые, явившиеся некстати мысли, Энгр Георгиевич начал успокаиваться. А когда успокоился, то понял, что у него болит все тело, особенно правый висок и плечо.

— Надобно зажечь колонку,— подумал он,— будет светлее. Да и согреюсь. А то холодно что-то, холодно...

Нащупав в темноте спичечный коробок, всегда лежавший на липкой полке рядом с зубными щетками с выпавшей рыжей щетиной, с кусками невкусного мыла разной величины, он чиркнул спичкой и открыл газ.

Раздался реактивный гул. Хлопок, и стены осветил сиреневый адский огонь. Директор сел на край ванной и огляделся.

Комната была огромной, таких комнат больше нет, я точно говорю. Потолок высок и черен, под такие потолки раньше вешали велосипеды, чтобы с колес падала сухая глина прямо на человека, решившего помыться. Пыльное окно, наполовину замазанное белой краской. Облупившиеся, вечно гудящие трубы. Если долго смотреть на них и вслушиваться в канализационный бас, то неизбежно в голове всплывают какие-то мрачные картины, например, Есенин в строгом фраке, обвязывающий вокруг трубы американские подтяжки, или Иван Грозный, приманивающий своего сына пальцем, мол, пойдём, сынок, в ванную и послушаем, о чем гудят трубы. Гитлер, греющийся у батареи. «Титаник», плывущий к канализационному сливу.

Энгр Георгиевич начал приседать, разминая, как ему показалось, затекшие суставы. Скорчился от боли, еле-еле приняв вертикальное положение. Снаружи послышалось

щелканье задвижки. Директору почему-то стало не по себе.

— Кто здесь? — выпалил он в темноту.

Дверь со скрипом открылась.

— Вуля?!

Но это была не жена. Это был электрик, вошедший в ванную комнату без стука, без предупреждения. Вошел и начал озираться, поводя вокруг мутными глазами. Только сейчас Энгр Георгиевич заметил, что у электрика тоже была борода.

— Что? Проводку смотрите? Тут тоже... того! Не горит.— Директор почувствовал девичье смущение.

— Сядем,— глухо предложил электрик, прикрывая за собой дверь.

В душе Энгра Георгиевича захолонуло. Синие языки пламени играли в бороде гостя, пауза затягивалась, приобрета совершенно зловещее значение.

Старина Хенк прислонился к батарее. Пробормотал совершенно неожиданно для себя самого:

— Я жену позову! Она — рядом...

— Вуля — хорошая женщина,— глухо сказал электрик, замолчал, как бы обдумывая про себя тяжелую думу. На его щеках Барбудос Хенк различил темные крапинки веснушек.

— Правда, без платья она выглядит более перезревшей, чем когда одета.

— Как? — потрясенно спросил Энгр Георгиевич, не веря своим ушам.

— Я тут рыбки принес,— сообщил гость, вручая директору целлофановый мешок с какими-то щупальцами.— Держать только в морозильнике. Потому что океаническая рыба очень прихотлива.

— Вы... это сами поймали? — предположил донор мозга, принимая мешок.

Электрик только усмехнулся.

— Я помню, как ты станцевал с ней первый танец,— сообщил он.— Как она терлась об тебя своим животом. Ты подумал: а должно быть, под платьем она более перезревшая, чем когда одета. Было?

Директор в ответ проклацал что-то зубами.

— Ты попал в яблочко. Но запах пота и духов вскружил тебе голову, и ты убедил сам себя, что тело ее крепко, как у пятнадцатилетней девочки. Было?

— Было! — выдохнул Энгр Георгиевич и даже сам в это поверил, хотя и твердо знал — с Вулей он не станцевал ни одного танца. Ни единого.

Где-то наверху спустили унитаз. Трубы сладко зачмокали и засвистели.

— А как она истекала соками? — с садистским удовольствием продолжал электрик.— Как шептала: «Не могу больше, но еще немножечко!» Скажешь, не было?

— Да,— промычал Энгр Георгиевич, как на

допросе.— Да-а!! Было! — дико вскричал он.

Электрик, не раздеваясь, влез в ванную и блаженно потянулся, заломив руки за голову.

— Было, все было. Для вас тайн нет.

Энгр начал, наконец, догадываться, кто на самом деле был перед ним. Потому что от синего света газовой колонки бывают иногда такие прозрения, что хоть Бойль, хоть Мариотт, бывшие на самом деле сиамскими близнецами, покажутся в этом газовом свете детьми не более, чем детьми.

— Нету тайн для вас. И знаю я, почему... Знаю!

Электрик включил воду, ожидая продолжения. Из крана брызнула темная ржавая струя.

— Потому что вы — великий психолог. И книга жизни для вас открыта.

Вода была, по-видимому, очень горячей. Вверх, под недоступный взгляду потолок попользи клубы плотного пара.

— Это было в Испании,— сообщил тот, кто представлялся электриком.— Мой знакомый матадор пригласил меня на арену после представления. Тело быка было еще теплым. Кровь вытекала бурными сгустками. Что бы ты сделал на моем месте?!

— Знаю! — страшно сказал Барбудос.— Все знаю!!

— Я стал пить кровь прямо из раны!

Горячая вода хлестала гостью на сапоги. Ржавая пленка начала прикрывать колени.

— Я сам пил, пил однажды... На скотобойне, когда был маленьким,— решил оправдаться директор.— А на Полюсе мы ели собак!

— А какой подтекст? — строго спросил гость.

Здесь Энгр Георгиевич тушевался и опустил голову, как раненый бык.

— Я в этом деле слабоват... В смысле текста — приемлю, но в смысле подтекста — ни-ни-ни...

Электрик потрепал его по щеке своей мозолистой рукой.

— Это ничего,— успокоил он.— Как говорит команданте, какой текст, такой и подтекст.

— А он как?... — на всякий случай спросил Барбудос.

— Кто?

— Ну этот, команданте!

— Все в порядке,— успокоил электрик.— Он — Моисей революции и уже спустился с гор... Вы с ним скоро увидите,— докончил он.

— Моисей, Моисей... — недоверчиво прошептал старина Хенк.— Я вот что... Вы, конечно, другое дело. Но Моисей... Не люблю я этого. Не верю ихнему брату.

— Ему многие не верят,— согласился электрик и мокрой губкой начал растирать себе ватник.— Но увидишь, и сорока лет не пройдет, как он выведет свой народ к океану.

— Через сорок лет меня не будет,— грустно предположил Энгр Георгиевич.

От перспективы своего неведения по поводу предполагаемого триумфа некоего команданте захотелось рыдать.

— Ты будешь всегда,— заверил электрик, окончательно переходя на брудершафтный тон.— Опасность для тебя идет только с одной стороны. Ты знаешь, с какой,— гость метнул на хозяина короткий, как молния, взгляд.

Энгр Георгиевич смутился окончательно.

— Намек принял,— заверил он.

В общем, этот намек соответствовал тому, что творилось в его собственной душе, но был все равно дик, унизителен и, в светском смысле, неприемлем. А Барбудос был человек светский. Светский он был человек...

— Намек принял. Но не понял. Разве может с его стороны быть какая-то угроза? Тем более мне, полярнику, с обмороженной головой?

— Ты в контекст смотри,— пробормотал электрик, погружаясь в воду по плечи.— И в подтекст.

— Не могу. Не могу я,— застонал директор.— Не разбираю. Теряюсь и путаюсь.

— В контексте — мечтательность.— И гость начал загибать пальцы на руке, чтоб нагляднее было.— Воздушные замки. Вздор. А в подтексте?

— Что?

— У г р о з а. Но мы-то с тобой мужчины!

— Я вот что, вот что... — Директор странно засуетился, начал семенить ногами, будто собрался куда-то бежать. Однако же не сдвинулся с места.— Я к жене... Надобно стол накрыть. Холодец есть. Да и щупальцы ваши,— он показал мешок,— могут пойти... Раз у нас такой гость, то надо культурно... С выпивочном...

— С водочкой,— передразнил его гость.— Ты учти, я мочить буду, если что. Если надо, я сделаю! Сделаю, говорю! Слушай сюда.— Он вдруг перешел на блатной говорок, и в ванной запахло чесноком.— Гляди, какая гадость нарисована: бабка перед ним на цырлах. Мать слюни пускает. Петя-Лена его. Не твоя, слышишь? А — его. Того гляди, вместе на дело пойдут. А я ведь не резиновый! Меня на все не хватает! — У электрика появился визг, голос начал ломаться, как у истеричной женщины.— У меня ведь делов — полон рот. А ты?

— Я? Я — гений,— неожиданно признался Барбудос.— Я — великий организатор.

— Говно ты, а не гений,— отозвалась ванная.— Если ты гений, так чего ты его не оставишь? Чего ждешь?

— Ну я же не знал... что это так серьезно!

— Дальше некуда.— Гость был к тому времени почти полностью закрыт водой. На по-

верхности оставались лишь губы, но и в них постепенно начала затекать вода, так что слова выходили с пузырями и присвистом.— Со сириос, что и кричать нельзя... Буль... Экзактли!

— А? — не понял директор, приняв последнее слово за ругань.

— Рили сириос! Вы маст притенд... буль-буль... маст гэзер ол сур павер, коз зис мэн ис вери дэнжирус...

— Эй!.. Ты куда? Стой...

— Чего дуру гонишь, кореш? — ответила на этот крик вода.— Чего мазуту тянешь?.. Буль-буль... Хвостом не стучи... Спрячь буркалы, халаявник на замок и — в дело...

Оболочка электрика полностью ушла под воду. Теперь на поверхность всплывали лишь пузыри, и в их чмокание и гуле директор смутно улавливал столь дорогие его сердцу слова.

— А кого мне звать, если что?.. Эй, не тони!.. Кого звать?

— Для тебя я всегда буду папа Хем,— сказала вода, и последний пузырь беззвучно лопнул на поверхности.

Настала гнетущая тишина. Энгр Георгиевич сунул дрожащую руку в воду, нащупал пробку, которая затыкала слив, и осторожно вытащил ее. Вода резво, как дети, устремилась в трубу.

Через несколько минут все было кончено. Только рыжая полоска на эмалированных боках ванной говорила о том, что здесь мылись.

Гость исчез. Наверное, вместе с водою ушел в таинственные толщи канализации.

Покачиваясь, директор отправился на кухню. Детей не было. Под потолок горел тусклый свет, значит электрик, или как там его, все-таки починил проводку. Хрустя рассыпанной по полу крупой, Энгр Георгиевич положил подаренный ему пакет на стол и наконец-то в свете лампочки различил его содержимое.

Щупальцы таяли. Сливаясь и путаясь друг с другом, они образовали отвратительную слизь, напоминавшую стоячую воду, подернутую тонким слоем осеннего льда. Однако сердцевина подарка оставалась крепкой. Директор наклонил ниже свою увечную голову и понял, что перед ним — примерзший Океан со впечатавшимися в его толщу телами рыб и моллюсков.

Энгр Георгиевич ощутил жгучее желание отломить кусочек Океана и съесть его. Желание было столь остро, что все тело напряглось, как струна, и он на секунду ощутил музыку сфер.

И видит — по замерзшему берегу, по самой ледяной кромке, нависшей над черной водой, мчится какая-то точка. Сначала пришла догад-



ка об баракане, и плечи передернуло от отвращения. Но, взглядевшись в ледяную равнину повнимательнее, он понял, что точка, мчавшаяся вперед, иного происхождения.

Это был человек, ехавший на санях, в которые были впряжены три черные лайки. Борода человека была выставлена вперед и рассекала воздух, как нож. Кнут с веселым свистом хлестал худые бока собак, и они неслись все быстрее, подымая вверх ледяную пыль. На плечах человека была накинута медвежья шкура, махавшая складками, словно крыльями.

Энгр Георгиевич узнал седека — это несся в морозную даль писатель Хемингуэй, оставляя за собой длинный угарный след...

Воровато оглянувшись, директор отрезал кусок берега столовым ножом и с лету отправил его в свой отверстый рот.

Горело все, что может гореть на этом свете,— близлежащие бараки, подсобные помещения, в которых хранили ворованное — голубей и кур, салопы и медную трубку, оставшуюся от других эпох. Горели люди, а люди, которые не горели, толпились на остывающих пепелищах и обогревали на них помороженные руки. Дети пекли здесь картошку. Пожарные защитного цвета сновали туда и сюда, как пятна в закрытых глазах, не давая огню угаснуть. Кто подливал в пожар

керосинчику из бутылки, спрятанной за пазуху, кто подкладывал головешек в уже утихающий огонь, а один вообще принес зажигалку с американской голой женщиной, выменнанной во время фестиваля молодежи и студентов у какого-то негра на плакат «Правильным путем идете, товарищи!», и теперь бессильно щелкал ею, пытаясь зажечь последний квартал. Но зажигалка не работала, потому что кремень у нее стесался задолго до того, как построен был аэропорт «Шереметьево-2», с которого и зачалась История Нового Времени. Но мы-то ведь рассказываем о старом, о тех же пожарных, которые делали все, чтоб пожары утихали не сразу, чтобы было детворе место, где жарить картошку в мундире, чтобы было светлее в длинные зимние ночи...

Потом возникли какие-то помехи, какие-то сбои пространства и времени. Пожары сжужжились и сошли на нет, оставив после себя лишь горстку остывшей золы. Вместо них в пространстве воцарились две женщины. Были они ростом до облаков, хоть и сидели в креслах, а если бы встали, то тогда, думаю, проткнули бы насквозь небосвод и выперли бы головами в космос, распутивая искусственные спутники земли, тех же Белку и Стрелку, запертых в консервную банку космического снаряда. Белка стала бы выть и грызть собственные лапы, а Стрелка бы прижалась ей наконец, что никакая она не сука, а всего лишь кобель Дружок, и что бы потом было между ними — сказать не берусь.

Хотя женщины эти оделись в цветастые платья, но выглядели серо, напряженно. На лик одной из них все время набегала черная полоса, а другая двоилась и тряслась, словно в эпилептическом припадке. Вопросы им задавал таинственный голос невидимого Демиурга, и они отвечали, улыбаясь и пуская по щекам серый румянец.

— Как, по-вашему мнению, Мастер разрешал проблему частного и типического?

— Мастер собирал много частного. Складывал, соединял, и получалось типическое. Например, с одной женщины — частное, а с другой — индивидуальное. Сложит, обобщит, и получается общее, то есть типическое.

—...мать вашу! — внезапно сказал на это совершенно посторонний голос, не принадлежащий ни этому пространству, ни этому времени.

Но женщины, что вели беседу на облаках, не услышали вдоха замученной твари, потому что, коли мы сами кого не замучили, так и не слышим ничего. А если даже услышим, то не поверим.

— Много ли человек требовалось Мастеру для того, чтобы создать один полноценный образ?

— Что вы... А фантазия? А творческое во-

ображение на что? Например, чтобы создать полноценный женский образ, требовалось совсем немного. Например, черты двух женщин. Или трех... Не более. Помните образ Ольги из «Весенней степи»? Ее белесые, выжженные солнцем короткие волосы, пахнущие степной росой?..

— Конечно, это забываемо!

— А помните, как она, впервые приехав в большой город, входит в переполненный трамвай? Белый воротничок, аккуратное платье, подпоясанное тонким кожаным ремешком, черные ажурные чулки, обтягивающие ногу... Заметьте, они никогда не бывают перекрученными!

— Да, да...

— Весь ее вид, резко контрастирующий с аляповатой небрежностью отрицательного персонажа, с этими вечно перекрученными чулками...

Вдруг оба фантома исчезли из поднебесья. Вместо них среди белых облаков и клубящихся архетипов возник худощавый небритый человек в белой рубашке, выпущенной на портки. Покачиваясь, оставляя за собой черно-белый кровавый след, он шел к реке и твердил под нос пересохшими губами:

— Врешь! Не возьмешь!..

Из космических сфер Лейбница и Пифагора на истекавшего кровью человека набросилась трагическо-бравурная музыка и, словно голодный лев, начала грызть его плоть и рвать на куски. Где-то наверху застрочил пулемет. Где-то внизу зорал грудной ребенок. Лицо героя было просветленно.

— Врешь,— сказал он, входя в ледяную воду.— Не возьмешь!

— Та-та-та-та-та!!

Свист пуль. Нетерпеливый трепет голодной воды.

И здесь Николаю Николаевичу Крабову пришлось выключить телевизор.

— Мундштук,— сказал он просто.— Ты зачем битого стекла в телевизор насыпал?

Но не получил на свой каверзный вопрос удовлетворительного ответа. Только на кушетке вздохнуло и зашевелилось наваленное тряпье. За ширмами плакал ребенок.

Крабов пошел по крыше. В колыбельке, сделанной из электрических проводов, лежал новорожденный неизвестного пола и орал во всю свою мощь, как это свойственно новорожденным, заявляя о своем грядущем царствии. Печеная дева (1898-1963) склонилась над ним, как птица, и трясла электрическими пробками, нанизанными, как четки, на черный кабель.

— Жрать хочет,— предположил Крабов и дал младенцу соленый огурец из кармана брюк.— Какой-то он у тебя несвежий... Ты его брила сегодня?

— Уйди к чертовой матери!! Уйди, убийца! — заорала бабка и замахнулась на Н. Н. Крабова электрическими четками.

— Да ладно, мамо. Это я так, к слову... Ради справедливости. Я ж по себе сужу. У меня щетина росла с трех месяцев.

— Лучше игрушку ребенку купи,— попросила бабка.— А то от твоих четок у него озноб.

— Я ему танк сделаю,— пообещал Николай.— Из распределительного щита.

— Гляди, прибьет тебя. Током прибьет.

— Не, мамо. Меня ток не трогает. У меня ампер ведет, как ласточка.

И Крабов, выйдя из-за ширм, стал напевать свою любимую песенку о том, как кто-то зарезал сам себя, но получился почему-то лишь веселый разговор.

— Вставай, Челюскин! Вставай, мунштук! — обратился он к кушетке.— Пора дышать свежим воздухом!

Кушетка застонала. Тряпье, накинутое горбом и комом, дернулось.

— Лентяй! — сказал Крабов.— Лежебока! А если на сборы призовут? А если минером отпишут, предположим, на Кубу? Бороться с сахарным тростником? Я тебя в танке возить не буду. Я тебя в окопы пошлю на передовую. Вставай, слышишь?! Вставай!

Кушетка издала лишь жалкое мычание. Пришлось Николаю самому откинуть салоны. Под ним оказался Энгр Георгиевич по кличке Барбудос, вернее, вялая тень его, какая-то пародия на человечество, по выражению классика. Как хвалят скелета за то, что он толстенный, так и Энгра Георгиевича могли бы похвалить за то же самое: он сбросил с себя килограммов тридцать и вместе с этими килограммами потерял главную свою особенность: дар гениального организатора. Организатора своих мыслей. Пропагандиста своих же чувств.

Николай вытер с его губ пену, завернул в клетчатое одеяло и взял на руки, как ребенка. Так Петька мог бы взять Чапая или, наоборот, так Чапай мог бы взять Анку, если бы все-таки выплыл из ледяной реки, впадающей в раскаленные магмы. И называется она Урал.

— Неси мертвяка,— с удовольствием заметила бабка.— А то ребенок при нем не спит, а только мочится.

В самом деле, младенец перестал кричать, лишь только Николай поднес полумертвое тело к окну.

— А Фила где? — поинтересовался он, оборачиваясь.— У меня до него дело есть.

— Да был где-то...— неуверенно сказала печеная дева.— Разве за ним уследишь? В школе, наверное. Вот где.

Крабов лишь хмыкнул. Открыл окно и, перешагнув через подоконник, вынес директора на крышу.

Перед ними лежало пепелище. Синеватый дымок поднимался из черной земли. Только грязные пролежни снега, словно больничные простыни, оставшиеся после покойного, указывали на то, что шла зима. Шла не торопясь и присаживаясь на каждом углу.

На телефонной антенне сушилась медвежья шкура. Положив директора на крышу, Крабов снял медведя с креста. Не оплакивая, расстелил рядом. Залез в него, как в клумбу, вместе с парализованным Барбудосом, взяв последнего на руки.

Чудны дела Твои, Господи! Чуден белый свет, особенно при тихой погоде, особенно, когда в шубе, особенно когда есть шерстяные носки и такая поддевка, знаете, которая надевается на свитер. Тогда ходишь себе похаживаешь в пальто и без всякой медвежьей шкуры. А если есть при себе тепло, то можно жалеть других, не говорить: «Их нет», но с благодарностью — пошли на повышение. Например, где Василий Васильевич Кузнецов? Что-то давно мы его не видели, с тех пор, как с палочкой ходил и на столб наткнулся? Палочка стояла, а он упал...

— Как? Вы разве не знаете? Пошел на повышение.

— Да что вы говорите! Ну и слава Богу, что пошел. А то прозябал, извините за выражение, в говне, как любил писать философ Фромм.

— В говне, в говне. Был в говне, а теперь уже высоко, отсюда не видать. Бывало, хлеба купить не на что и некому. Плачет, завязывая шнурки на башмаках. Потому что больно, потому что идти не может. А теперь ему, знаете ли, рать служит. Рать высокая, к булочным нашим привычная. Как налетит, ни одной булки не оставит. И все Василию Васильевичу тащит. Так-то вот.

— И ладно, и Бог с ним. Высокому — высокий удел. А была, знаете ли, такая... верткая. Не помните? С маленькой собачкой еще ходила. А собачка гадила, где ни попадя, помните?

— Конечно. Маша Кузнецова из третьего подъезда.

— Да, да. И где она?

— Пошла на повышение. Вместе со своей собачкой.

— Ай-я-яй! А ведь еще недавно мы ее видели, с собачкой лаялись.

— Даром что недавно. Шофер им один помог. На самосвале ездил. Кузнецов его фамилия.

— Тоже Кузнецов?

— Тоже. Кузнецов Михаил Викторович.

— Интересно! Вот бы на него посмотреть!

— Никак невозможно. Пошел на повышение.

— Вот ведь выскочка. Вот ведь устраивают-ся люди! А этот-то как пролез?

— Да просто, очень просто. Во время следствия. Возвысился всего лишь за какие-то минуты. Следовательно его допрашивал Кузнецов. Поседел аж...

— А со следователем что? Тоже, в некотором роде, повысили?

— Нет, наоборот. Понижен и выведен за границы списка.

— Странно, кого нихватишься, всех повысили. Только мы с вами, выходит, не у дел.

— Не у дел. Потому что нет протекции. Кабы протекция была, мы бы давно уже гарцевали!

— Гарцевали, гарцевали! Гарцующей кавалькадой пришли бы и сели!.. А этот вот...

— Который?

— Ну, этот... В коротких штанишках?

— С леечкой?

— С леечкой.

— Пошел на повышение.

— Пройдоха! А его-то за что? Кстати, как его фамилия была?

— Кузнецов.

— Ага, предположим. Так как же ему...

— Отец протекцию оказал. На генетическом уровне. Пока мы с вами тут рассуждаем, он со своей леечкой уже возвысился, думаю, до положения Тибета.

— Но ведь и льет, ведь и льет сверху! Это ведь не зима, это ведь осень, хлябь! Нужно было его не пускать.

— Кого?

— Этого... Кузнецова. Или хотя бы отобрать леечку.

— Конечно, нужно было. Но теперь ведь поздно уже рассуждать, вы не находите?

— Нахожу. А эти?

— Какие?

— Эти. Та еще семейка. Все время стучали, строили... Как квартиру получили, так сразу стучать начали. Десять лет, пятнадцать лет... Забыл, как их фамилия...

— Может, Кузнецовы?..

— Да, да! Кузнецовы, Кузнецовы!.. Эти-то как?

— Никак. Как стучали десять лет подряд, так и еще двадцать лет стучать будут. Ничто их не берет.

— Верно. Но, может, это от скромности?

— Что от скромности?

— Ну, то, что стучат, а не возвышаются. Эти-то, возвысившиеся, зазнались, наверно, а?

— Тю на вас! Сказали тоже... Вы не завидуйте, не завидуйте! И вас когда-нибудь возвысят.

— Да уж, дождешься от них, как же...

— Чем иметь в голове такие дурные мысли, вы бы лучше в церковь ходили.

— А что ж, и пойду. Поставлю свечку за всех возвышенных. Там и батюшка новый. Красивый такой, розовый...

— Да, розовый. Кузнецов его фамилия.

— Опять Кузнецов! Вы что, издеваетесь, что ли?!

— Не издеваюсь. Тут вся улица в Кузнецовых была. И только один — Капкин. Только один — Капкин.

— А себя вы, значит, из этих рядов выводите? А кстати, улица-то где?

— Пошла на повышение. Вы разве сами не видите? Ал-чхи!!

Этим чихом разговор и закончился. Но если я вам скажу, что это не авторский голос, ну, вот это всё, про повышение, вы разве мне поверите? Разве поверите вы, что это все говорил Н. Н. Крабов, говорил нежно, мурлыкая на два голоса, качая несчастное тело старины Хенка и кутая его в медвежий мех?

Ну и не верьте. Вам же хуже.

Володенька, Володенька!

Будь всегда молоденьким!

Молоденьким, молоденьким,

Хорошеньким таким!..

Вулена Петровна склонилась над карапузом, над исчадием чрева своего, и трясла погремушкой.

— Ты можешь идти заниматься. Он сейчас заснет,— сказала бабка.

В самом деле, ребенок, кричавший до этого почти весь день, сразу затих, задумался и, отчаянно зевнув булавочным ртом, провалился в сон.

— Странно. Как тебя видит, так сразу спит.

— У меня все спят,— сказала Вулена торжественно.— Все, все, все!

— Странно,— повторила бабка.— Пойду на кухню, позанимаюсь.

— Иди, иди.

Печеная дева вышла вон, стуча тапочками. Темнело. Ребенок спал, втягивая воздух со звуком сверчка. Вулена подошла к окну. На крыше в сумерках вырисовывалось трехголовое существо, сидевшее на самом краю. Одна голова была медвежья, две другие — человечьи.

— Все в порядке,— сказала Вулена самой себе.— Все — очень хорошо.

Из кухни донесся голос бабки, читавшей Филиппу стихотворение Лермонтова:

Белеет парус одинокий

В тумане моря голубом.

Что грезит он в стране далекой,

Что бросил он в краю родном?

— Очень хорошо,— одобрила Вулена Петровна.— Очень.

Присела рядом с колыбелью спящего Володеньки.

— Да нет! — послышался из кухни голос бабки.— Парус одинокий, понимаешь? Парус,

матерчатый такой. Белеющий. Белый, значит, понимаешь?

— Не понимает,— вздохнула мать, прислушиваясь.

Голоса Филиппа она не различила, все забивал монотонный старческий басок. Но можно было догадаться, о чем идет речь.

— Я не знаю, почему в тумане! В тумане, и все! Значит, дым, мрак... Ничего не видно. От моря — дым. От неба — мрак.

— Но если дым, то откуда мы знаем, что парус — белый?! — внезапно ударило в голову Вулены, и безусловный рефлекс дьявольски шепнул: «Переписать!»

Но, словно прослышав про это, бабка настояла:

— А какой же еще? Не черный же!

— А почему не черный? — спросила мать.

— Ну, пусть черный... Пусть черный. Пусть под ним плывут пираты! Тогда:

Чернеет парус одинокий

В тумане моря голубом.

Э-хо-хо! И бутылка рома!..

— Нужно кончать это безобразие,— вывела Вулена, и волна привычного, в чем-то уютного раздражения заставила ее парус срочно плыть на кухню.

— Вот ведь пакость какая! Про туман выучить не может!..

Бабка тем временем пела:

Скажи-ка, дядя, ведь недаром

Москва, спаленная пожаром,

В тумане моря голубом...

Увидев дочь, осеклась, стихла. На кухне горела конфорка. Мы часто зажигали ее, чтоб согреться, зажигали в длинные вечера зимы. Когда еще жили на старой квартире. И было тепло. И плита гудела. А сейчас мы живем на новой. И плита у нас электрическая.

— Где Филипп? — тревожно спросила мать.

На столе были разложены учебники. Табуретка напротив бабки оказалась совершенно пустой.

— Кто? — вздрогнула печеная дева, словно ужаленная осой.

— Двоечник. Спорщик. Увалень. Внук твой от колена и чресл!

— От чресл, от чресл! Он же ничего выучить не может! Фу, устала! Лучше в письках сидеть Володеньки, чем белый парус целую неделю перекрашивать. Не могу больше, не могу...

— Да где же он?! Филипп, сынуля!..

Этот крик получился у Вулены хуже обычного, с явными признаками Тарзана, короля обезьян и чемпиона проигрыша. Бабка еще раз вздрогнула и привела внутренние линзы в фокус.

Табуретка перед ней была пуста.

— Сидел,— пробормотала бабка.— Умереть мне на этом ме-сте, сидел!

И стала принюхиваться, как какая-нибудь рысь. Вулена Петровна тоже принюхалась, думаем, от нервов, потому что дурные привычки заразительны, потому что мы все раньше тянули носом, вы разве не помните? Когда у нас еще были носы.

— Пахнет,— неуверенно прошептала печеная дева.— Человечиной...

— Не пахнет,— вывела Вулена, обнюхивая табуретку.— На ней уже с неделю не было человека.

— А где же он?

— Это я хочу тебя спросить, где он! Это я!! — вскричала Вулена.— Где сын мой?! Куда ты его дела?!

— Может, убер?

— Убер?! Сын, сын!.. Не оставляй нас в этом доме!..

И Вулена бросилась в коридор, как бросается героиня в третьем акте. Зал уже пуст. Мы занимаем место в гардеробе.

Но в гардеробе все разъяснилось. Ботинки Филиппа «Прощай молодость» или «Арриве-дерчи, Рома» оказались на месте. Более того, наполовину они снова были замазаны шлаком и грязью.

— Здесь,— вывела мать, переводя дыхание.— В тапочках он недалеко уйдет!

— Значит, на крыше,— как эхо, откликнулась бабка.

— Значит, на крыше...

Заметим к слову, мы все откликались, как эхо. Когда еще могли говорить.

Печеная дева открыла окно.

Было почти темно. Однако зимой, как мы помним, не бывает совсем темно, потому что снег отбрасывает на небо свой серебристый отблеск.

— Э-эй! Гуси, гуси, домой!!

Внутри крыши что-то коротко громыхнуло. Бабка в поисках гусей посмотрела на небо. То, что ей представилось в темноте, могло быть оптическим обманом. Но кто докажет, что это оптический обман? По-нашему мнению, какой-нибудь Сельскохозяйственный проезд и есть оптический обман, а все, что сверху,— нет. Все, что сверху,— нет.

Оптический обман представлял из себя следующее: в темном небе, словно аэроплан, висела медвежья шкура, из чрева которой выглядывали две человеческие головы. Третьей была личина зверя, которую можно было надевать на себя, как скафандр.

— Ой! — сказала бабка, хватаясь за сердце.— Что-то плохо мне!

Если бы ее вовремя не поддержала дочь, то, возможно, печеная дева грохнулась бы навзничь, и нам бы пришлось прикрыть всю эту историю на несколько страниц раньше,



ибо когда героиня гибнет, ну, пусть не героиня, а такой литературный, например, отопитель, обогреватель, что ли, короче говоря, прикрывать надо всю эту историю, если бабка сейчас возвысится, как дикий медведь.

Но она не возвысилась. Вуля накапала ей валерьянки и дала для чего-то градусник. Сама подошла к окну, чтобы высмотреть хоть что-нибудь. Но разве в такой тьме отличишь подлежащее от сказуемого?

В дверь позвонили. Мы же, стоящие в гардеробе, уверяем и надеемся, что это последний звонок в дверь. И последний скрип всем знакомой калитки, которая ведет в тихий сад.

Вошла Дуся, она же Ифигения в Авлиде, вошла, как тень, не забыв набросить на плечи накидку. Жемчуга на головку надела. Без детей.

Поцеловались. Сплющили воздух объятием. «Как она терлась своим животом!» — прокричал из ледяной дали Эрнест Хемингуэй, уносясь все глубже по пищеводу директора. Почему по пищеводу? Потому что был съеден вместе со своими кальмарами, долго вам еще напоминать? Грустно на этом свете, господи!

— Где ты взяла такие жемчуга? — спросила Вуля.

— Критики подарили. А почему ты не обращаешь внимания на мои монетки?

— Где? Какие монетки?

Дуся захохотала, валясь на кушетку. На секунду Вулени Петровне показалось, что в самом деле, на ее ресницах оттиснут герб Советского Союза.

Бабка тяжело застонала, возвращаясь в сознание. Потому что сверху на нее обрушилась Дуся. У Дуси вообще была скверная привычка обрушиваться, мы все ей об этом говорили.

Пока Вулени Петровна убирала обрушившуюся гостью, бабка вытащила из подмышки градусник, который отчего-то не обрушился.

— Ну-ка дай! — вырвала градусник дочка и, подставив под горящую лампочку, с облегчением вывела: — Все в порядке. 35 и 1.

— Так много? — не поверила печеная дева.

— Ну, если точнее, то 35 и 0,5, — сказала Вулени Петровна цурясь.

— Тогда я пойду подышу воздухом. — И бабка стала напяливать на себя кофту.

— Что в Литфонде? — спросила Вуля, ложась на пол.

— В четверг — заседание комиссии по литературному наследству. Явка обязательна.

— А где я возьму жемчуга? — с тоскою спросила секретарша.

— Пойду подышу воздухом, — сказала бабка, надевая вторую кофту.

— Можно без жемчугов. Ты знаешь критика Кучкина?

— Ну?

— Этот тип уверяет, что рукописи Свешникова не горят!

— Какое хамство! — И Вулени Петровна вскочила с пола. — Что еще он утверждает?

— Еще он утверждает, что эта дорога не ведет к храму. Потому что роман подделан.

— Пойду подышу воздухом, — сообщила печеная дева, надевая на себя третью кофту.

— Да иди, иди же! — вскричала дочь.

Ветер, поднявшийся от ее крика, вымел печеную деву в коридор, и вслед ей полетели два смятых листка с письменного стола. Оба они не горели.

— Час от часу не легче, — вздохнула Вулени. — Сначала он хотел беллетристики, теперь говорит о подделке! А ведь знает, что подделка невозможна, что личная секретарша усопшего уж точно бы разоблачила это безобразие!

— И его верная жена, — поддакнула Дуся.

— Насчет жены не уверена, — неожиданно полезла в бутылку Вулени Петровна. — Да и как можно подделать рукопись, какая экспертиза это установит? Ведь он все диктовал. А я записывала! Записывала... Своєю рукою!

— Записывала, записывала... — задумчиво повторила Дуся, слегка уязвленная предыдущим замечанием подруги. — Но ведь могла записывать не только секретарша! — неожиданно осенило ее. — Могла записывать и законная жена!

— Ну нет уж, нет! — Вулени Петровна погрозила ей кулачком. — Записывала только секретарша, это известно всему литературному миру. А жена готовила обед, чистила свеклу и жарила свинину.

— Он не ел свинину, потому что был евреем.

— Это у тебя он был евреем, а у меня трескал!

— Да ладно тебе, Вуля, — миролюбиво прозвенели жемчуга, потому что им надоел этот затянувшийся спор. — Всем известно, что секретарша у него — голова...

— Вот именно!

— Я вот что подумала... А не написать ли Свешникову новый роман?!

Но здесь разглагольствования Авдотьи были прерваны явлением бабки. Она к тому времени была уже в пяти кофтах и напоминала огромного воробья.

— Слышишь, Вуль... — сообщила она с круглыми от ужаса глазами. — Там в прихожей кто-то... Черный!

Вулени Петровна пробиралась к этой самой прихожей очень долго, так ей, во всяком случае, показалось. Знаете, когда герой в трагедиях идет вперед со свечой. Тени играют на потолке, а отчего они играют, нежно. Все — с круглыми глазами, все — гуськом и прячутся

за спину героя. А герою самому неслабо сбегать, бросить все к черту да и наутек в примерную, дожидаться следующего акта, ан нет, идущие сзади не пускают. Оттого любой вождь, выражаясь технически, вынужден дотягивать свой мазут до конца и грузить фефелу в кузов невзирая на лица. А идущие следом доведут его до самого обрыва, подтолкнут и упасть помогут. Вот и вся диалектика вождей и масс.

На коврике перед входной дверью сидел совершенно черный от шлака человек и поводил испуганными глазами.

— Сколько раз я говорила, чтоб закрывали дверь! — вскричала Вулена Петровна.

— А я отпирала, я отпирала?! — пыталась оправдаться бабка.

— Молчи! — оборвала ее Вулена, притопнув ногой. — Это — пьяный, — вывела она.

— Конечно пьяный, — поддержали жемчуга. — Сейчас я мигом!

Дуся бросилась к телефону и стала накручивать желанный номер отделения, которое в те далекие годы, словно гидрометцентр, отвечало на любые вопросы.

— Занято, — безнадежно пискнула вдова.

Пришедший поводил ослепительными белками. Лицо его было черно от угля, поэтому глаза светились, как зубная паста. Неотчетливые пролежни виднелись на спине и бедрах, он был нагим, как Адам.

— Не следи! — приказала Вулена. — Ты можешь не следить? На коврике стой и ни шагу вперед!

Мы называли его пришедшим, а теперь, к месту, обозначим словом «мужчина». Мужчины обычно отличаются от просто человек тем, что ходят к девочкам в общежитие, к Таньке ходят и Светке. И все, между прочим, военные. «Красивый мужчина, военный», — говорили нам девочки. А кому нам? Почему мы сначала обозначали себя как я, а теперь пришли к устойчивому множественному числу? Ничего не понятно. Пусть в этом литературоведы разбираются. А ведь и разбираться не будут. Плюнут-то литературоведы. Но и мы плюнем. Короче, пришел красивый мужчина средних лет, военный. Но без погон. Вообще без ничего. Перед таким любая скажет: «Ах!»

Взгляд Дуся, оценивающий и цепкий, остановился вдруг на том, что составляет главную часть любого мужчины, даже военного, если он не пришел с войны. Лицо вдовы сделалось испуганным, она что-то прошептала Вулене Петровне и даже головой повела, указывая.

— Ты что, с ума сошла? — пристыдила ее подруга, однако сама с определенным страхом уставилась на предмет, который, например, в Виндзорском замке мог бы показаться едва ли уместным.

— Я точно тебе говорю, — выпустила из себя Авдотья, бледнея.

— Да нет, — не хотела верить секретарша. — Не тот, не тот!

— М-м-м-а! — широко улыбнулся гость.

— Мать зовет, — прокомментировала Дуся потерянню.

— Ну и пусть зовет, — отрезала Вулена Петровна. — Не будет ему ни матери, ни отца!

Голый, несчастный, не похожий, в сущности, ни на мужчину, ни на женщину, бросился в комнату, будто искал что-то очень знакомое, будто за своим пришел.

— Держи вора! — крикнула Вулена и попыталась оттащить Адама от письменного стола.

Но тот, изловчившись, пнул ее ногой, так что Вулена Петровна присела, скукожилась от боли, а грудной ребенок наконец-то проснулся. И вдруг, к ужасу обеих женщин, вылез из колыбели, прошел на собственных ногах (!) несколько метров по полу и вскарабкался на грудь пришедшего, который к тому времени сидел уже за столом и просматривал рукописи писателя Свешникова.

— Скажи мне, — вдруг ни к селу, ни к городу спросила Авдотья. — Чей это сын?

Гость поцеловал (!) вскарабкавшегося на его грудь ребенка, обнял письменный стол, распростерши ручищи свои Буревестником, и просветленно заплакал.

— Погибли, — прошептала Вулена Петровна. — Конец пришел...

Гость помнил. Положил перед собою чистый лист бумаги, грудной ребенок (Володенька. — *Прим. ред.*) пододвинул ему чернильницу (!), обмакнул (!) перо (!!) в чернила (в чернильницу. — *Прим. ред.*) и дал его (перо, ручку. — *Прим. ред.*) в руки ему (!!!). (Ему, мужчине, военному, гостю. — *Прим. ред.*)

Ба!

Сказали мы тут с Петром Ивановичем (кто такой, непонятно. — *Прим. ред.*), когда увидели, как покойник (мужчина, военный, гость. — *Прим. ред.*) строчит мертвой рукой длиннющий текст. Сказали мы тут «Ба!», хотя следовало сказать точнее.

с! (См. полное собрание сочинений В. И. Ленина. — *Прим. ред.*)

Итак, с! (!).

Написанная страница слетела со стола классика. Вулена Петровна, как чернавка, как какая-нибудь золовка, шестерка, фефела в кузове и проч., схватила страницу, и буквы запрыгали у ней в глазах, вода вокруг запятых сатанинский хоровод.

«В Союз Советских Писателей. Копия — в Литфонд СССР.

Благодарю Вас, дорогие товарищи, за своевременное спасение из подземных глубин, где мы пребывали некоторое время согласно

Воле пославшего нас туда Отца. За отпущенное нам время безысходных страданий в Узилище Тьмы и Неблагодестия мы, тем не менее, выполнили свой гражданский долг и исследовали Цитадель Мрака от клочущихся магм до сравнительно неподвижного ядра...»

— А-а-а! — вдруг дико закричала Авдотья и вырвала из головы клоки волос.

Он упал, тяжело стукнув об пол. (Он — клок. Стукнув — жемчугами — *прим. ред.*)

— Кто! Кто выпустил их?! — спросила Вулена Петровна, по-ежовски душевно. (С теплою. — *Прим. ред.*)

«...но главная благодарность наша за то, дорогие товарищи, что Вы своим доблестным примером воспитали достойную смену, бодро сходящую от Вас, с внешней стороны Тьмы, к нам, во внутреннюю сторону Мрака по воле пославшего их Отца...»

— Отца вспомнил, — горестно заметила Вуля Петровна. — Совсем уже разум потерял! (Потому что был сирота с юных лет. — *Прим. ред.*)

«...имя тому смельчаку не ведаем. Но уверены, что подвиг Его в Узилище не пройдет даром для будущих поколений и послужит хорошим уроком для юношества, имя которому — Комсомол. От всех воскресших разом, с приветом, Федя».

— Я бы этого подлеца, кто его выпустил, сама бы задушила, — призналась Авдотья, на всякий случай пряча жемчуга по карманам. (У ней на платье были карманы. — *Прим. ред.*)

— Я, кажется, знаю... — сказала Вулена Петровна.

А писатель тем временем уже стоял на коленях. Грудной ребенок обхватил его со спины своими слабенькими ручонками и тихо плакал слезами радости, и слезы радости этого ребенка, которые можно было сравнить с прохладным утром, чистым, как поцелуй ребенка, и здесь сравнение с ребенком уже наслаивается на сам объект сравнения в виде ребенка, а может быть, даже и субъект мыслей его, этого ребенка (далее метафорический ряд оборван. — *Прим. ред.*)

Стояли они на коленях перед марками, на которых был изображен знакомый нам хищный профиль, марками, наклеенными на стекло, и оба плакали. Оба! Так они и пошли позднее по жизни — Отец и Дитя.

— Я, кажется, знаю, кто его спас, — пробормотала Вулена Петровна, — Его имя Примред!

И ошиблась. Потому что на марках был изображен ее собственный сын.

— Есть! — сказала бабка, появляясь в дверях.

— Кто есть?!

— Бог есть! Он — на чердаке. Спит, как убитый.

— Ладно, — раздраженно отрезала мать. — Сейчас я его расколю. Всех расколю. Это ж надо... Двенадцать лет водить за нос! Двенадцать лет...

Дергаясь и причитая, она начала причесываться у зеркала.

— Дураком прикидывался. У о! Всех заморочил. Мы думали, он — человек, а он — обыкновенный Примред... Жемчуга давай, — скомандовала она окаменевшей Авдотье и сама начала вынимать драгоценности из вдовьих карманов.

— Не забудь потеплее накидку! — прокричала ей вслед Дуся.

Вулена Петровна только скрипнула от нетерпения зубами и хлопнула дверь так, что в потолке образовалась трещина, а на крыше что-то жажнуло изо всех сил, будто туда попал авиационный снаряд.

Крестясь, печеная дева выглянула в окно. На крыше лежала сорвавшаяся с неба медвежья шкура. Внутри нее копошились оглушенные падением люди.

А мать тем временем запалила керосиновую лампу, вышла из квартиры в жемчугах и, как невеста, отбрасывая на стены дикие тени, пошла по ступенькам готического романа вверх, на чердак. Нам очень жаль ее, хотя Вулена Петровна не является матерью ни одного из нас. Мы знаем, что ее теперь нет на этой земле, но мы продолжаем любить ее, у которой самое радостное и волшебное еще впереди.

Нет ничего более возбуждающего, чем чердак, особенно в детстве. Один из слоев чужой потаенной жизни, он хранит в себе сладкие следы пребывания других людей, например, заляпанные носовые платки, к которым почему-то испытываешь не отвращение, а жгучий интерес, прорванный капроновый чулок, пустые пивные бутылки, паутина и глушь. На таких чердаках обязательно стоит какое-то подобие тахты без ножек, обычно — на деревянных ящиках, обычно — с отвратительной мешковиной, заменяющей матрац и одеяло. Но самое страшное бывает тогда, когда на этой мешковине кто-то спит. Вот и бежишь опретью отсюда, и в надоевшем родном доме, который ассоциируется почему-то со школьным дневником, зарытым у мутной реки, чувствуешь себя вполне уютно. Во всяком случае, до школьного дня еще далеко, почти целые сутки, и мало ли что может произойти за это длиннющее время, особенно во сне... Сгорит школа или случится Второе Пришествие.

Вулена Петровна была, конечно, совсем взрослым человеком и не бросилась наутек оттого, что кто-то спал на тахте, повернувшись ко всему миру спиной. Тем более, она знала, что это спит, поэтому села рядышком,

поставила керосиновую лампу себе в ноги и начала терпеливо дожидаться, когда спящий проснется. Вдруг ей показалось, что спящий только делает вид, что спит, а на самом деле чутко прислушивается к окружающему, ваньку валяет. Вулена Петровна чувствовала себя очень комфортно в ситуациях, когда ее обманывали, более того, часто сама провоцировала этот обман, звала его, потому что ощущала внутри постороннего обмана свою собственную силу, замешанную на правде и разоблачении любого обмана, невзирая на лица...

— Я ведь знаю, что ты не спишь, — сказала, невзирая на лица. — Ты только ждешь, когда я уйду. За что ты меня так не любишь? Что я тебе сделала?

Она замолчала, ожидая, по-видимому, длинного списка с перечислением того, что она сделала или не успела сделать в этой крошечной жизни. Но, поскольку сего списка не последовало ни в устной, ни в письменной форме, Вулена Петровна продолжила свой допрос, невзирая на лица:

— Я ведь тебе все-таки мать! Я ведь люблю тебя... Можешь мне не верить, но это так. Я вас... всех люблю!

Она и вправду поверила в это последнее утверждение. И мы могли бы здесь указать на то, что голос ее дрогнул, дыхание прервалось, и прозрачный локон опустился на край изящного лба. Но, поскольку мы уже пятьсот раз писали, что голос ее дрогнул, дыхание прервалось, то и напишем, пожалуй, в пятьсот первый: голос ее дрогнул, дыхание прервалось, и прозрачный локон опустился на край изящного лба. Вот так! И плевать на все.

— В это трудно поверить... Я дурака мертвого люблю, — сказал голос, который дрогнул. — И директора твоего... Знаю, что кретин, а все-таки люблю. И бабуку, и Володенку. А ты... Ты — вообще свет!..

Голос ее дрогнул. Прозрачный локон упал. Невзирая на лица. Вообще-то лучше писать телеграфным стилем, не договаривая слогов. Предположим, она ска Го ее дро Ды пре Ан ло упал... Да ладно, продолжим, как можем.

— Конечно, если твой второй муж — донор мозга, то все силы уходят на то, чтобы возместить в нем потерю этого мозга. А здоровье-то не железное... Вот и раздражаешься, кричишь... Эх-ты, голова садовая! Обижаясь, из дома уходишь... Воскресаешь, понимаешь ли, кого ни попадя. А того не знаешь, что мать у тебя — одна. И что дни ее уже сочтены. Эх-ты, э-эх!..

Вулена Петровна захотелось плакать. Перед ней разверзлись две дороги: одна — подовать слезы привычным приступом раздражения, этот прием был отработан не хуже, чем какая-нибудь вяна у заурядного йога. Вторая дорога представлялась более трудной: довести

покаяние до конца и впервые унизить себя перед собственным чадом от чресл и живота, как говорил некий персонаж этих хроник, а какой именно, мы уже и не помним.

— Прости! Ботинки ты носишь ужасные... Мне и самой за них стыдно. Живешь впроголодь. И носки грязные. Прости... Ты не смотри, что я — в жемчугах. Эти жемчуга поддельные и стоят в галантерее 5.20 новыми. А про старые и говорить нечего. У меня никогда их не было, ни старых, ни новых. А когда бывали, то я их непременно теряла — оставляла на прилавке в булочной, роняла в шахту лифта, спускала по рассеянности в унитаз.

Вулена Петровна вытерла платком обильные слезы и громко высморкалась.

— Может, я и недостойна тебя. Я не знаю... Но у меня есть одно требование... — Она запнулась, подыскивая продолжение (сколько раз она уже записывалась, подыскивая продолжение?! Фу...!). — Прошу тебя... Не отрывай всех подряд. Они весь дом загадят. А планы — порушат. Если хочешь отрыть, то посоветуйся сначала со мной. Мы по-мирному, по-семейному рассудим, кого — в первую очередь, а кого — на потом оставить, до Страшного Суда. Диссертацию напишем «Способ оживления мертвецов глубокого залегания», защитишься в горнорудном институте. Если какой-то там Тимирязев прославился или Семашко... Ты только подумай, вслушайся, какая фамилия дурная — Семашко! То уж ты — тем более достоин. Аттестат зрелости получишь как-нибудь. У тебя отчим — директор школы. Пусть и на бессрочном бюллетене. Договорились?.. А теперь — вставай! Ужинать пора. Вставай, вставай, говорю!..

Вулена Петровна ткнула спящего в бок, сорвала с головы грязную мешковину.

Это был не Филипп. Его подружка Петя-Лена вжалась в стену и закрыла лицо руками.

— Где он?!

Петя-Лена соскочила с тахты и схватилась за лопату.

— Где мой сын?!

Вулена Петровна заломила девочке руку.

— На шахте? В земле?! Где?!

— А-а!.. — заорала Петя-Лена истошно.

— Веди к нему! Веди к нему!!

И Вулена дала ей коленкой под зад.

Крик девочки переполюшил весь дом. Жильцы прильнули к мутным окнам, а с крыши за ними следили два человека и один медведь.

И видели:

по выжженному пустырю идут двое: конвоир и заключенный, ребенок и женщина; ребенок опирался на лопату, как на костыль, и кричал; женщина тоже кричала, заломив ребенку руку за спину;

так и шли вперед, в глубину горизонта, к вышкам и шлаку, кучи которого напоминали египетские пирамиды.

Печеная дева смотрела, и Дуся смотрела, и счастливый мертвец смотрел.

А марки были наклеены на стекло. И никто из смотрящих не обратил внимания на то, что пейзаж на них в точности совпадал с пейзажем за окном, который образовался после возгорания целого квартала вследствие индивидуально-трудоу деятельности Н. Н. Крובהва.

А в те далекие годы на такую деятельность смотрели с прищуром.

Минеры приехали вовремя, в срок, но их командир забыл в части ракетницу, и когда подошло время взрывать, он просто сорвал с головы фуражку.

И пригнали экскаватор. Но человек, сидевший в кабине, оказался философом-персоналистом, обдумывающим в голове в течение последних десяти лет труд под названием «Посадка картофеля в сеть на угольный шлак». Суть разрабатываемого им персоналистического метода состояла в том, что картофель сажается не на грунт, а в сетку, напоминающую сеть библейских рыбаков.

Однако урожай в этот год не состоялся. Картофель, как и пшеницу, следовало закупить в Канаде. Но кто-то в Политбюро дотенькал, что Канада вроде бы нам совершенно ни к чему, потому что там много русских и особенно украинцев. Они-де будут смеяться, по-

тирая свои лапки, оттого, что ихний картофель...

Извлечен из земли лишь шлак и руда. И не было в них никакого человека, ни маленького, ни большого, так что и пяти лет не прошло

как зону пришлось обнести проволокой, что и описано в романе известных фантастов,

причем описано лживо, ибо и через двадцать лет в Зоне не оказалось ни единого танка, а стоял лишь заржавевший экскаватор, хозяин которого оказался философом-персоналистом, разработавшим посадку картофеля в сеть.

И только через тридцать лет стала ясна вся выгода этого метода — при сборе картофеля ни один клубень не пропадает, потому что роют его не лопатами, а сеть вытягивают из земли.

Через тридцать один год мы получили от него первую посылку — сломанную молнию и кусочек войлока с ботинок «Прощай, молодость!»

Мы знали, что он жив и наше долгое ожидание в конце концов вознаградится. Пусть и поломанной молнией. Пусть и посылкой с размытым обратным адресом.

Рисунки Светланы Титовой



ЮРИЙ КОРОТКОВ:



***Когда попадаешь в болевую точку,
твои «бумажные» герои вмешиваются в жизнь...***

Чудной мы все-таки народ, себя не знаем. Скалистые горы и Аппалачи изучили уже, кажется, как свои пять пальцев, по американским вестернам, а вот что такое красноярские столбы? Вроде камешки такие где-то в Сибири (ну да, в Сибири, раз «красноярские»), вроде даже фотографию когда-то видели... А что живет там — государство в государстве, по своим простым и мудрым законам, со своими столетними традициями — удалой народ, прозванный столбистами, — об этом и вовсе не слыхали. И вот читают «Абрека» друзья-писатели и озадаченно спрашивают: что за жанр? Фантастика? Утопия? Современная сказка? Отвечаю: почти документальное повествование. Место действия: заповедник «Столбы», что на окраине Красноярска. Время действия: начало девяностых. А что касается описанных событий... Скажем, почти так и было. Или: это еще может случиться...

Я бывал на Столбах несколько раз: впервые лет пятнадцать назад, и еще пять лет спустя, и совсем недавно, — и каждый раз, вернувшись, по свежим впечатлениям начинал писать. А сценарий не получался, не складывался. Надо было пережить развал страны, политические катаклизмы, жестокие социальные конфликты на обломках империи, чтобы понять, что же назревало и что произошло в заповеднике, что отразилось, как в капле воды, в этой маленькой гротесковой модели нашего общества.

Честно сказать, не без опаски я передавал в Красноярск столбистам читать «Абрека»: если не примут, на фильме можно поставить крест, без их помощи фильм ни за какие деньги снять невозможно — не построишь ведь, в самом деле, исполинские Столбы в павильоне «Мосфильма», а главное — не обучишь сто человек искусству ходить с улыбкой на волосок от гибели. Через неделю мне передали «коллективную рецензию»: всё правда, с первого до последнего слова. Хотя... и дальше шел длинный список допущенных автором, мягко говоря, неточностей: во-первых, Хасан был совсем другим, много раз сидел, спился, измельчал до того, что, кажется, ростом уменьшился, бросил Столбы и сгинул где-то; во-вторых, Дуська не «абречка», а «изюбриха», и во-о-все не была столь романтической натурой. И в-третьих... И в-сотых... Но — всё правда! А значит, мне посчастливилось угадать что-то главное, сам вольный дух Столбов, за что прощена была изрядная доля вымысла.

И что самое интересное — ярым сторонником «Абрека» стал Саша Михайлов — Цыган, нынешний король абреков, чью кличку я присвоил столь отрицательному герою. А поскольку написать правду мог только бывалый столбист, то Михайлов, в глаза меня не видевший, прилюдно поклялся, что хорошо знает автора — тот много лет прожил на Столбах, то ли в «Голубке», то ли в «Музейке», и «очень прилично ходил на камень»... (За что Цыгану и спасибо. На самом же деле я, как любой нормальный человек, только однажды решился заползти простеньким ходом на Первый, при этом сердце холодило от ужаса над бездонной пропастью, и было «мучительно больно за бесцельно прожитые годы».)

Всегда, когда попадаешь, вольно или невольно, в болевую точку, твои «бумажные», вымышленные герои вдруг оживают и начинают вмешиваться в жизнь реальных людей. «Абрек» внезапно обострил затихший было конфликт на Столбах. Официальное начальство на закрытом заседании постановило любыми путями препятствовать съемкам фильма, вообще не допускать съемочную группу в заповедник. В ответ столбисты во главе с абреками собрали Большой Совет и решили всеми силами (а если потребуется, то действительно — силой) обеспечить съемки. Конфликт разгорается...

Независимо от того, состоится фильм или нет, посвящая этот сценарий всем столбистам — абрекам, «грифам», «беркутам» и всем другим, нынешним и тем, чьи имена в траурных рамках навсегда остались на Китайской стене, Перьях, Большом Беркуте.

Благодарю Сашу Купцова, бессменного летописца Столбов, изба-ча из «Голубки», за эти фотографии.

АБРЕКЪ

ЧАСТЬ I

К середине подъема турики стали дохнуть. Когда ехали из города на красивом автобусе, смотрели через дымчатые стекла на Токмак, торчащий, как клык, из дальнего, обрывистого берега Енисея, — ждали, наверное, веселой прогулки, пикничка на природе. Но автобус остался на шоссе под лесистым обрывом, и модная экскурсоводша в юбке-брюках и шпионских темных очках погнала группу по узкой тропе, зажатой высокими сырým сосняком. Поначалу шагали бодро, с разговорами, пацаны помоложе заигрывали с экскурсоводшей, молодожены держались под ручку, старики готовили фотоаппараты. Сосны закрывали все, кроме полосы неба над головой и ближайшего изгиба тропы, и казалось, что вершина вот уже, через сотню шагов. А тропа забирала все круче, теснее подступал лес, уже распоротый кое-где серыми скальными выходами. Разговоры понемногу затихли — только одышливое пыхтенье вразнобой. А когда через полчаса оказалось, что прошли едва половину, турики и вовсе сдохли, далеко растянулись по тропе, упираясь руками в колени, помогая разгибаться чутунным ногам, проклинавая романтику, трущие туфли и все на свете.

Хасан один остался рядом с неутомимой проводницей, внимательно слушал дежурный рассказ про Столбы — уникальное и неповторимое явление природы.

Там, где сосны совсем сомкнулись над тропой, из кустов с треском выломались навстречу группе двое — в галифе и гимнастерках старого пошива, в милицейских фуражках, — лихорадочно забегали глазами по лицам и вокруг:

— Не выдали? Не пробегал?

— Кто?

— Бритый, с номером. Особо опасный рецидивист. Весь конвой вырезал, где-то здесь бегаёт. — И ломанулись на другую сторону от тропы.

На туриков совсем стало жалко смотреть, они сбились в кучку, затравленно озираясь. Не прошли и пяти шагов, как возник бритоголовый в ватнике с номером.

— Жрачку давай! — заорал он, страшно вращая бельмами. — Гони пайку! Всех замочу! — Похватал припасенную для пикничка провизию из подставленных с готовностью сумок, запихал, сколько влезло, в карманы, за пазуху — и нырнул в лес.

Турики, не чуя ног, припустили наверх. Хасан свернул за бритым. На опушке неподалеку рецидивист и милицейские фуражки сортировали добычу — консервы, бутерброды с колбаской, помидоры. Хасан невозмутимо подошел, выбрал что посвежее.

— «Изюбри», что ли? — спросил он, закусывая. — Все туриков бомбите?

— А тебе чего?

— Ничего. Про вас волнуясь. Доиграетесь когда-нибудь.

— А ты кто такой? — протянул «особо опасный».

— Не знаешь?

— Первый раз вижу.

— И еще раз увидишь. — Хасан усмехнулся, взял еще кое-что из закуски в карман и двинулся дальше.

Тропа снова вильнула на подъеме, и сквозь поредевшие сосны возник Коммунар. Коммунар, столбик на самом деле небольшой и не слишком интересный, стоял крайним, первым был виден с тропы и потому казался чудовищно громадным. Он, как из детских кубиков, криво сложен был из тысячетонных голышей, уходящих высоко в небо, и Хасан, как много лет назад, ребенок, испытал мгновенный сладкий ужас, представив, будто с гулом сдвинулись, разъехались каменные блоки и, сотрясая землю, сминая, как траву, вековые сосны, покатались вниз...

Экскурсоводша рассказывала, что

в пятом году местные революционеры водрузили на верхушке Коммунара флаг, за что столб и получил свое название, и вот уже почти сто лет красный флаг реет над Столбами и каждую весну, по традиции, обновляется, в чем каждый может убедиться, глянув вверх.

Но Хасана уже не интересовали ни модная сетка, ни случайные погупчики. Он обогнул Коммунар и оказался на площадке под Первым столбом. Это было самое людное место в

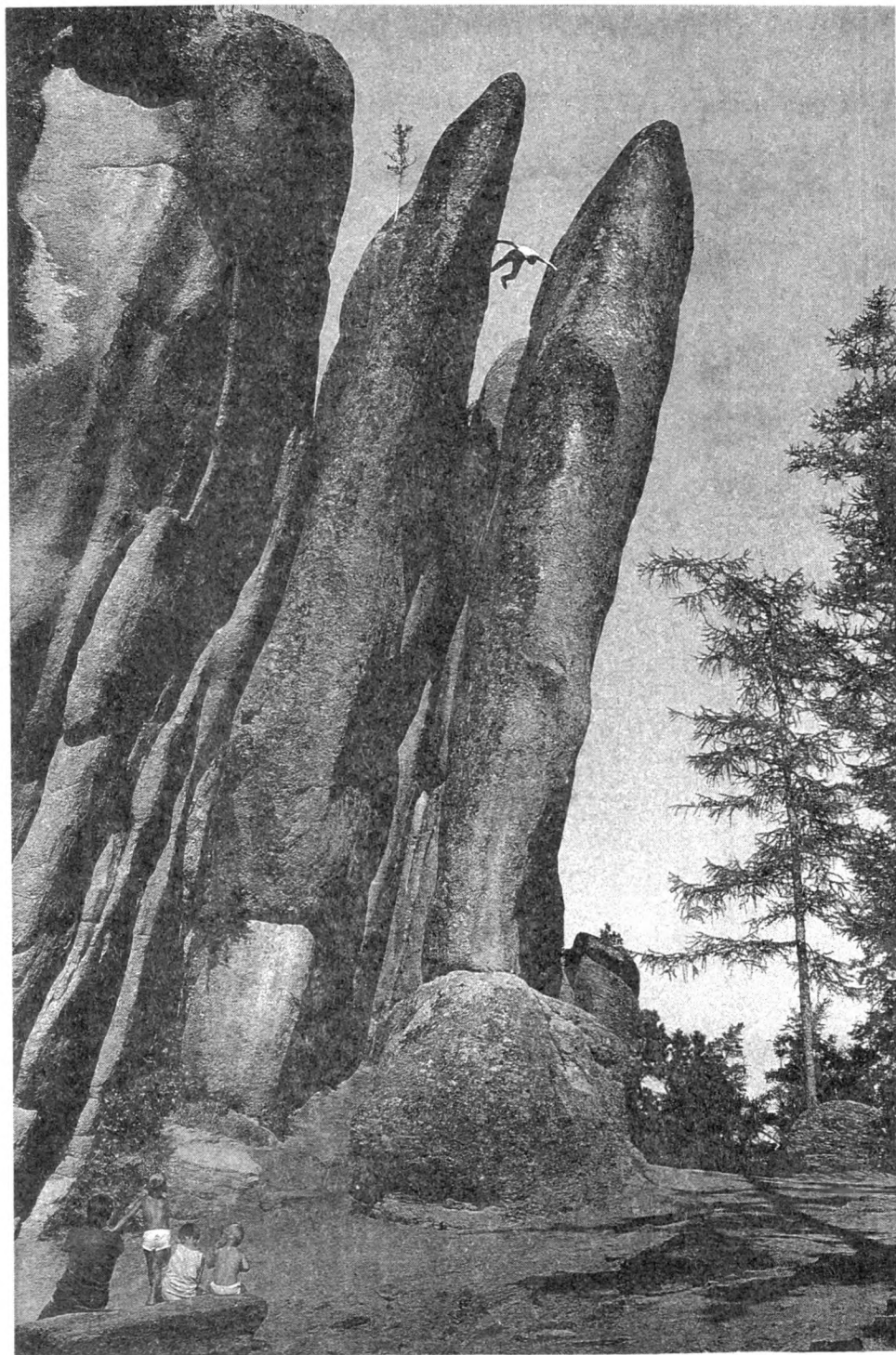


заповеднике: турики, и организованные, и дикие, обычно толклись у Первого. Земля тут была утоптана так, что ни одна живая травинка не могла пробиться из нее, а огромные сосны стояли над землей на корнях. Массив Первого, к подножью которого прилепился, как бедный родственник, Коммунар, был посечен во все стороны глубокими расщелинами — от земли шли глыбы с двадцатизэтажный дом, сверху, где выветривало сильнее, внавал лежали камни помельче. Тут и там до самой вершины из щелей росли скрученные ветром березы. Камень сплошь покрыт был черным шершавым мхом, серые протоптанные тропинки указывали ходы наверх. В основном ходы петляли вдоль щелей, по карнизам, но иногда пролегли прямо по нависающему каменному пузу, над пропастью. Как обычно в воскресенье, Первый был, как разноцветными муравьями, густо облеплен туриками, они гуськом, осторожно ползли простенькими ходами — Трубой, Собольком, Голубыми катушками — и, гордые собой, едва видные с земли, махали руками с вершины. Другие гуляли по Чертовой кухне — прямоугольному монолиту, лежащему плашмя у подножья. Третьи, кто в первый раз, тренировались на камешках, богато разбросанных между деревьями: по очереди с разбегу лезли на двухметрового Слоника, замирали на поддороге и,

как по стиральной доске, на карачках плыли вниз, сжигая колени, — этот ход на Слоника так и назывался Постирушка.

В общем, все было, как десять лет назад, но слеза умиления не прошибла Хасана от долгожданной встречи с родными местами. Он будто не на Столбы, а на воскресный базар угодил: по всей площади в ряд выстроились пестрые киоски, из которых вразнобой орала музыка — из каждого своя; крикливые кавказцы на десятке мангалов жарили шашлыки; шипели отпотевшие аппараты «пепси-колы», из других струились в вафельные стаканчики белые языки мороженого; тут давали в прокат калоши и страховочные пояса для слабонервных, там зазывали на увлекательную экскурсию к дальним столбам — на Китай и Большой Беркут, к Деду и Бабке, здесь расставили треноги со стендами фотоаппараты с дорогими камерами. Хасан неприкаянно брел сквозь орущую, жующую, веселящуюся толпу и мрачнел с каждым шагом.

У подножья столба собрались зрители. На камнях над ними фигурал пацан в диковинном пестром наряде: бархатной красной феске, красной же развилке-безрукавке и малиновых шароварах, перехваченных желтым кушаком, в калошах, прикрученных тесемками. На поясе у него болтался длинный, чуть не по колению, кинжал. Пацан легко взлетел над



«Беркут» Александр Теплых идет зверевским Силовым ходом на Перья. Через мгновение он сорвется и на-смерть разобьется на глазах у жены и детей.

головами туриков по вертикальной стене, под громкое девичье «ах...» сделал стойку на руках над невысоким обрывом и — будто бы сорвавшись, щекоча нервы — повернулся на одной руке и перепрыгнул на другой камень через расщелину, тут вообще завис вниз головой и так спустился, перебирая внизу ладонями. Зрители дружно захопали, а парень сорвал с головы феску и пошел, собирая в нее четвертаки и червонцы. Нахлюбучил вместе с деньгами на место — тут же подскокил фотограф, и первая парочка подошла увековечиться на память в обнимку с ряженым.

Хасан, раздвинув толпу, неторопливо шагнул к пацану.

— Эй, уйди из кадра! — крикнул сзади фотограф.

Хасан не обернулся.

— Ты — абрек? — негромко спросил он, тяжело глядя в курносую круглую физиономию под феской.

— Что, читать разучился, дядя? — тот ткнул пальцем себе в лоб, где по краю фески золотом было вышито: «АБРЕКЪ». — Иди в очередь!

Хасан железной пятерней скомкал феску у него на голове вместе с деньгами и волосами, сорвал и той же рукой наотмашь дал прямо в безоблачную белозубую улыбку. Пацан отлетел, парочка брызнула в стороны, зрители ахнули и расступились.

— Какой ты абрек! — сказал Хасан. — Клоун ты дешевый!

— Ты что, дядя... с болта сорвался? — Пацан промокнул ладонью разбитые губы, глянул на кровь. — Я ж тебя... — схватился он за кинжал.

— Собери остальных. И чтобы через полчаса были на Скитальце — все до одного! — Хасан повернулся и пошел сквозь расступившуюся перед ним растерянную толпу.

— Отдай феску, ты! — заорал вслед сбитый с толку пацан.

— За феску абреки жизнью рисковали! А ты ее продал! — Хасан опрокинул феску и высыпал на землю мятые бумажки. И пошел, уже не оглядываясь...

Он поднялся на Галину площадку — узкий карниз над пропастью на Втором столбе. Выгнали тяжелый камень из щели и вынул по очереди, любовно поглаживая, осматривая каждую вещь: «корону» — пурпурную феску, расшитую золотой и серебряной нитью и бирсером, бархатную развилку, также расшитую по кромке, кавказский кинжал в серебре, пятиметровый шелковый кушак, шаровары огромного объема и калоши. Снял гражданский пиджачишко и ногой отправил его в тайник...

Скиталец — абречий дом — представлял собой просторную расщелину под Вторым столбом, накрытую сверху, как крышей, плоской плитой. Внутри вел узкий лаз, внизу уст-

роены были нары и печка. От Скитальца на две стороны был обрыв, сзади его прикрывала громада Второго, подойти можно было только одной тропой.

Хасан в новом своем наряде сел на Феску — круглый камешек на крыше, лицом к тропе, и стал ждать. Вскоре настороженной, недоброй толпой подошли абреки, встали напротив, разглядывая незнакомого сорокалетнего, почти сплошь седого мужика в полном абречьем параде.

— Вот этот! — указал на него круглолицый.

— Ты кто такой? — спросил другой, в обтянувшей покатые борцовские плечи развилке, — должно быть, первый силач здесь.

Хасан удивленно смотрел на абреков. Это были молодые парни, не старше двадцати, две тетки с ними. Кто в полной абречьей форме, кто только в развилке, но все в фесках — кроме круглолицего теперь — и с кинжалами, штывками или финками на кушаках.

— А Солдат где? Акула? Пиф? Голуб? Монах? — обводил взглядом лица Хасан. — Где все?

— Монах уплыл с Большого Беркута — давно, лет восемь. Голуб — еще раньше с Первого. Про остальных не знаю, — ответил борец. — Ты-то кто?

— Что, никого из стариков не осталось?!

— Цыган с Дуськой только. Вон идут.

Абреки разошлись, пропуская старших: длинного черного Цыгана и надменную королеву Дуську с распущенными из-под фески льняными кудрями. Едва увидев его, оба замерли, и Дуська, разом потеряв королевскую статью, распахнула глаза:

— Хасан?..

При этом имени абреков как током ударило, все ошеломленно обернулись к нему. И через час новость облетела Столбы, и в самых дальних избах столбятники, и на самых глухих кордонах егеря знали: «Хасан здесь! Хасан вернулся!»

Быстро стемнело, как обычно под осень. На Скитальце запалили костер, нагноили чайку. Молодые абреки — Кукла и томная Варезка разлили густой чифирь по кружкам. Свет костра резко очертил края серого плоского камня и дальше не доставал никуда, будто и не осталось больше ничего во Вселенной, кроме этого неровного обломка земной тверди, потерянного в холодной космической тьме. Только порыв ветра выдавал в темноте сосны, а громкое слово или смех обнаруживали рядом гулкую громаду Второго.

— Тебя десять лет не было, Хасан, — досадливо сказал Цыган. — И вот ты приходишь и хочешь, чтобы все было по-старому. Десять лет прошло, Хасан! Все изменилось!

— Что изменилось? Что тут может измениться? Что, столбы порушились? Большой Беркут улетел? Бабка с Дедом поженились? Нет, это вы изменились! Это измена, Цыган! Жаль, стариков не оживишь, Монаха с Голубом,— чтоб посмотрели, кто теперь наши фески носит!

Абреки сидели, опустив головы, переглядывались.

— Ты в городе был, Хасан? — заводясь, сказал Цыган.— Ты вообще знаешь, что кругом происходит?

— Да мне наплевать, что в городе! Я на Столбы пришел! Какой столб у Чертовой кухни стоит, знаешь? Ну?

— Знаю, знаю...

— Ну!

— Ну, Коммунар.

— Вот так! Большевиков разогнали давно, Ленина из Мавзолея выкидывают, а он был Коммунар и будет Коммунар. И красный флаг на нем как стоит сто лет, так и будет стоять, и я лично руки вырву тому, кто его коснется! Не потому, что я за коммунак, а потому, что здесь ни одна буква, ни один камешек не изменится! Пусть они там, внизу, всё на куски развалят и друг друга продадут, но здесь ни одного торговаша не будет!

— Дались тебе эти лавочники,— покривилась Цыган.— Мешают они тебе жить?

— Эти твари, как лишай, ползут. Сейчас вы у них за копейку шутами пляшете,— ткнул Хасан пальцем в круглолицего,— потом прислугой будете, а потом они вас выкинут отсюда к едрене фене!.. Я десять лет каждый день мечтал, как вернусь... Вернулся... — Он махнул рукой и встал, показывая, что разговор закончен.— Завтра на камень пойдем. При всем параде, чтоб Столбы вздрогнули! Музыку хоть не пропили еще?

— Есть музыка,— ответил Гуляш, плечистый борец.

— Посмотрю, как вы на камне стоите. А потом спрошу, кто вам фески дал и за какие заслуги. А то, может, и говорить тут не с кем...

Хасан бросил спальник на отшибе, за Феской. Другие укладывались кто внизу, на нарах — отсюда слышалась возня, приглушенный смех,— кто наверху, на камне, завернувшись в одеяла. Кое-кто остался у костра с гитарой.

Цыган поднялся, тронул Дуську за плечо: — Пошли.

Та коротко мотнула головой, пристально глядя в огонь. Она посидела еще немного, обняв себя за колени, по-прежнему не сводя глаз с гаснущего красного огня. Потом подошла к Хасану, опустилась рядом на корточки.

Помолчали.

— Ну, здравствуй, Хасан,— негромко сказала Дуська.

Костер сзади просвечивал ее волосы, лицо было в темноте.

— Сколько ж тебе лет теперь? — спросил он.

— Тогда шестнадцать было. Да еще десять прибавь. Женщина во цвете лет,— усмехнулась Дуська.— Подвинься,— скомандовала она. Встала над ним, размотала кушак, скинула назад развилку, шагнула из шаровар.

— Ты что? — приподнялся Хасан.

— Да вроде как должна я тебе. Отдам должок-то. Не люблю на потом оставлять.— Она стояла прямо над ним в одних узких плавках, бесстыже уперев руки в пояс.— Или не нравлюсь?

— Не думал я, что такой станешь,— сказал Хасан.— Даже до меня там слух дошел — люди и на Столбах-то не были, а про Дуську слышали.

— А что мне было делать? Целку из себя корчить? — вдруг быстро, зло заговорила Дуська.— Когда каждый на меня показывал: «Вот эта Дуська, которую мент изнасиловал, а Хасан этого мента с Коммунара сбросил!» Дурак ты, Хасан! Десять лет ждала, чтобы сказать тебе: дурак ты! И себе жизнь угробил, и мне!

— А что же, простить надо было?! — вскинулся Хасан.

— Не простить — так втихую сделать! Мнесто уже все равно, не зашьешь,— так хоть себя бы пожалел. Нет, надо же было среди бела дня на верхушку его тащить! Чтоб все видели! Чтоб все узнали!

— Надо! — отрезал Хасан.— Чтоб все видели! Чтобы все узнали — тут не город, тут наши законы!

— А ты подумал, как мне потом жить будет? — шепотом закричала Дуська.— Мало мне мента было, мало меня на суде помоями поливали, мало что только о том и разговоров — так ведь каждый здесь на меня смотрел и думал: вот из-за этой прошмандовки человек в тюрьме! А Дуська что? А Дуська — хиханьки, хаханьки, то с одним, то с другим, вперед всех веселится, вперед всех по смертельным ходам прет, чтобы или разбиться к черту, или чтоб забыли наконец... Да ладно! — махнула она рукой так же неожиданно, как начала.— Чего время терять. Ну, чего смотришь? Десять лет бабу в руках не держал. Ну? — Она обняла его, но Хасан отстранился.

— Я блатарем никогда не был,— сказал он, уперев взгляд ей прямо в лицо, чтобы нечаянно не уронить глаза на белеющее в полутьме тело.— Я уж на равных со всеми — когда очередь дойдет. А должок прощаю — я не за тебя, сел, за Столбы.— И зевнул, отворачиваясь: — Зря разделась-то, холодно будет ночью, не май месяц...

Секунду Дуська с протянутыми еще руками

растерянно смотрела на него, потом зло прищурилась, сжав губы. И вдруг разухабисто заорала:

— А ты такой холо-о-одный! Как айсберг в океа-а-ане!..— и, как была, голышом, пошла к костру.

Абреки, сидевшие с гитарой и выглянувшие из спальников, разинули рты, глядя на нее, залитую красноватым плывущим светом от костра. Дуська не торопясь взяла папиросу и вытащила уголек из огня.

— Нравлюсь? — прикуривая, скосила глаза на сидящего с глупой рожей Гуляша.

Тот не головой даже, а всей спиной кивнул и осторожно коснулся Дуськиной ноги. Она дала ему коленом в лоб:

— Куда ручонками? Заслужи сперва,— и легла под одеяло к Цыгану...

Они несколько утомнились с Цыганом. Дуська старалась всюю, зная, что Хасан не спит и слышит.

Ранним утром, едва солнце острыми лучами пробило густую хвою, абреки были уже при всем параде и готовы к выходу.

— Заводи! — скомандовал Хасан.

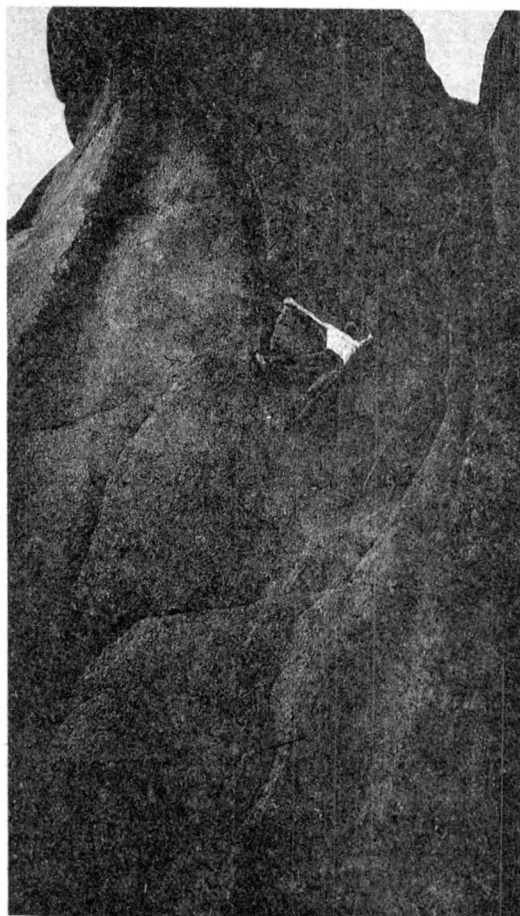
Гуляш покрутил ручку обшарпанного патефона, поставил тяжелую старую пластинку — сквозь шип и треск на всю окрестность грянуло: «У самовара я и моя Маша!», и абреки двинули на камень: впереди Гуляш с патефоном под мышкой, дальше круглолицый Нахал пер за плечами самовар с прокопченной трубой, следом Хасан, Дуська с Цыганом и остальные, в обозе Кукла и Варежка.

У подножья Первого абреки с воинственным криком и гогом рассыпались по разным ходам:

— Наверху увидимся! — И, как красные мураши по серому камню, пошли наверх, то пропадая в расщелинах, то переползая по нависающему пузу, ступая по карнизам в палец глубиной и обтекая телом камень.

Хасан пошел по Колоколу, средней сложности ходу. Пальцы сами вспоминали ход, искали и находили карманы и щели. Сначала он шел уверенно и быстро, поглядывая на открывшуюся над верхушками сосен панораму Столбов. Но потом пальцы стали неметь, давала прокуренная дышалка, и к середине Хасан сдох, как последний турок.

Дальше был «тараканий лобик» — большой округлый выступ. Хасан собрался под ним в комок, чуть не наступая калошами на руки, и стал распрямляться, перебирая ладонями, обтекая камень, как гусеница. Вслепую поширил наверху — там были только «сопли», мелкие выбоинки. Он попробовал подняться на подушечках пальцев, тут же понял, что не сможет — не выдержат пальцы, не те уже



пальцы, десять лет назад одной такой сопли хватило бы подтянуться, а сейчас не сможет. Так и замер навтыжку — цыпочки на карнизике, в живот туго, не вздохнуть, упирается тараканий лобик, хваталки где-то наверху. Самое страшное на камнях — остановиться: сил-то не прибудет, наоборот, с каждой секундой меньше. Руки уже колотило от напряжения, пальцы один за другим съезжали из соплей. Хасан виском прижался к шерстатому, пористому, как обветренная кожа, камню, оскалился, чтобы и скулой упереться. Он слышал только свое дыхание, отраженное от камня.

Сверху маячили стертые калоши Цыгана, но Хасан лучше уплыл бы, чем попросил дать хвоста. Он скосил глаза вниз, где по голой земле ползали маленькие разноцветные члечовки. Между ним и землей клубилась плотная зеленая крона одинокой сосны. Если в момент, когда сорвутся руки, очень сильно толкнуться от камня и, конечно, если очень повезет — можно вломиться в крону.



Снизу кто-то поднимался за ним, громко сопя. Кто — не видно было за каменным пухом.

— Эй, внизу ... кто там?.. — прохрипел Хасан.

— Это я, Нахал.

— Слышь... я уплыву сейчас...

— Вставай на этажерку.

Хасан нащупал ногой его плечо и встал.

— Справа пошарь — там дверная ручка.

Хасан, перебирая пальцами, пошел рукой вправо и ухватился за глубокий, удобный, как дверная ручка, карман. Закинул туда же ногу и выгацил, наконец, себя на проклятый тараканый лобик.

Тут же снизу возникла самоварная труба, а следом — деловая рожа Нахала.

— Там дальше балда, видишь?

Хасан взялся за балду — отполированный руками пупырышек — и вышел на крутой гладкий склон, обрывающийся ниже отрицателькой до самой земли.

— Калоши нагружай, — командовал Нахал.

— Туриков учи, — буркнул Хасан. Он встал на склоне, опираясь на носки калош, только чуть касаясь камня вытянутыми руками, и двинул вверх. Турики и начинающие жмутся к камню — и сразу плывут: мало трения, калоши не держат.

Хасан забрался в Колокол — гулкую расщелину, уходящую прямо к верхушке, встал перекурить. Дрожащими пальцами вытянул папиросу. И Нахал тут как тут — этому хоть бы что, даже не запыхался, даром что за плечами ведерный самовар. Хасан, прикуривая, искоса глянул на него — не разнесет ли, как позорно он с тараканым лобиком воевал?

— Я тут ногами вверх поднимался, когда ты у мамки в пузе сидел. Понял?

— Знаю, — спокойно откликнулся тот.

— А кто первый с Коммунара на Первый перепрыгнул? — указал Хасан на разделенные пропастью столбы. — Как прыжок называется, знаешь?

— Прыжок Хасана.

— Вот то-то... — потихоньку успокаиваясь, сказал Хасан. Нашел, перед кем права качать, — перед этой мелюзгой краснопузой. А тот стоял напротив, невозмутимо обкусывая заусенец с грязных ногтей, обрезанных почти под корень. — Я там, когда совсем тошно было — в уме на столбы ходил... Руками что-то делаю, или ногами на развод шагаю, или замполита слушаю, как честно жить надо, — а сам Призовым ходом на Первый иду, от земли до верха... Каждый шаг, каждую зацепку вспоминаю. Поднимусь, передохну, и опять от земли — Абалаковским, а потом Голубым, а потом Обелиском... На Первый всеми ходами вышел — ломанулся на Китай, на Ермак, на Великий Могол. Хозяин на меня орет, а я на Перья ползу Зверевским Силовым, аж руки сводит... После отбоя думаю: где-то еще сегодня не был? Ага, до Дикаря не добрался! Иду на Дикаря... — Хасан усмехнулся. — А раз ход забыл. Пошел на Деда Лунным — ну, знаешь, с обратной стороны, — до середины поднялся врасклинку, где щель кончается, а куда дальше — забыл!

Нахал страдальчески сморщился, засучил в воздухе пальцами, вспоминая:

— Так там же за балду цепляешься и маятником влево...

— Ну да! А я забыл! Три дня как подвешенный ходил. Там же спуститься нельзя — только вверх!

Хасан засмеялся. Нахал тоже с готовностью захихикал, под настроение спросил:

— Феску когда отдашь?

Хасан посуровел, тяжело глянул в его плутаватую физиономию, затушил бычок.

— Феску заслужить надо. Пошли. — Он двинулся было дальше, но замер. Рядом с

ходом на стене изображен был в рост человек голубок в траурной рамке.

— Так Голуб здесь уплыл? — удивленно спросил он.

— Ага. Вот с карниза.

— Ты видел?

— Не, это до меня еще... Говорят, тетка из туриков глянула вниз — и легла со страху. А как ляжешь — так поплывешь, сам знаешь, одежда скользит, как по льду. Разогналась, аж куртка на локтях сгорела... А снизу Голуб шел. Только над карнизом выглянул, видит — пловец. Не сообразил даже — кто-чего? — грудью ее на краю остановил, а сам вниз улетел...

Хасан глянул вниз, на далекую каменистую землю.

— Встал-то на ноги, а что толку, с такой высоты. Мослы в грудь вошли. Так кровью и захлебнулся...

Хасан снял феску. Помолчал, хлопнул по каменному крылу, как друга по плечу, и кивнул Нахалу:

— Ладно, пошли.

— Я за тобой.

— Ты что, шенок, страховать меня вздумал? — заорал Хасан. — Пошел, я сказал!..

Ближе к вершине несколько соседних ходов слились, и абреки встретились на Садике, ровной площадке, заваленной мелкими камнями, между которых росли одинокие березы. Чуть погода подошли Хасан с Нахалом.

— А мы уж думали — заблудились, — ехидно сказал Цыган. — Искать собрались...

Еще выше повстречали «изюбря» с теткой из туриков, институткой лет двадцати. Тетка рыдала белугой, обняв камень. Бедный «изюбрь» прыгал перед ней на карнизе:

— Видишь, я стою. Совсем не страшно. Пойдем!

— «Изюбрям» — наше здрасьте. — Цыган мимоходом приподнял щепоткой феску. Чего — прилипла?

— Ну? — досадливо махнул тот. — Затащил на свою голову. Час уже лежит... Ну, пойдём, — взял он тетку за руку.

Тетка глянула вниз и с визгом пуще прежнего вцепилась в камень:

— Не трогай меня!

— Ты что, ночевать здесь будешь?

— Да-а-а!

— Да вы не переживайте так, девушка, — участливо сказал Гуляш. — Тут по четвергам вертолет летает, собирает, кто остался...

Хохма была старая, но очень кстати, и абреки с готовностью заржали. Вообще, любая шутка, чей-то неудачный шаг встречались хохотом, всеми овладело радостное возбуждение, как всегда на камне, и чем выше, тем веселее становилось.

На вершине Гуляш по новой закрутил патефон. Нахал набил самовар шишками, накиннул

на трубу дырявый сапог и принялся наяривать. Абреки прыгали с двух сторон на Танцплощадке — громадной плите, перекатывающейся над обрывом, раскачивали над самой кромкой нарочито визжащую Куклу. Выпучив глаза, раскинув руки, разбегались вниз по крутому склону и замирали, изобразив ласточку на краю стометровой пропасти.

Хасан вдохнул полной грудью и широко, неторопливо оглядел зеленые волны сосновых вершущек, убегающие к горизонту, и торчащие из зеленого моря серые камни столбов — вот Второй, грубоватый, будто топором кое-как вырубленный, вон Четвертый с круглым камнем-Картошкой наверху, острые лезвия Перьев, Китайская стена, как хребет каменного динозавра, круглый купол Митры, голова хмурого Деда...

По другую сторону был обрыв, далеко внизу ворочался в тесных берегах Енисей. За ним начинался город. Бесчисленные трубы — высокие и низкие, по одной и целые батареи — сочили белые, рыжие, черные и ядовито-желтые дымы, те перемешивались и накрывали Красноярск плотным грязно-серым облаком, сквозь которое едва видны были кварталы.

— Кто на Обход? — крикнул Цыган и первым пошкурал вниз, к Коммунару.

Пирамиду каменных блоков, из которых сложен был Коммунар, венчал громадный скошенный камень, похожий на голову кита, — если, конечно, представить кита величиной со столб. Между Китом и нижним камнем по кругу шла узкая мелкая щель. Двигаться по Обходу можно было только ползком — правый локоть и колено в щели, левые упираются внизу в вертикальную стену, тулово балансирует на кромке, а перед глазами пропасть.

Цыган и еще несколько абреков за ним гуськом двинули по Обходу. Неожиданно навстречу им появились шедшие тем же ходом с другой стороны два столбятника в тельняшках и черных клешах. Сошлись голова к голове и замерли, меряя друг друга глазами.

— Гуляш, — изумленно спросил Цыган. — Что делают вонючие «беркуты» на нашем столбе?

— Летать, наверное, учатся, — ответил сзади Гуляш. — Научим?

Абреки радостно заржали.

— На камнях не драться, — предупредил первый «беркут».

— Ползи назад!

— Сам ползи! Мы первые ход заняли.

— Нет, ну ни шагу не ступишь — «беркута» все столбы обсела, — пожаловался Цыган. — А ну подвинься — абрек идет! — И он, совсем уж зависнув над пропастью, полез через «беркутов», наступая коленом на спину, на руки и — нарочно — на голову. За ним с гого-

том ринулись топтать врага остальные. Придавленные к камню, беспомощные «беркуты» только кряхтели от напряжения, изо всех сил цепляясь за щель.

— Ладно, красножопые, внизу встретимся — поговорим! — пообещали они вслед.

Хасан, наблюдавший с Первого, одобрительно присвистнул — оценил рискованный трюк.

А Цыган, закончив Обход, пошел по второму кругу, но иначе — все тулово снаружи, над пропастью, носки калош упираются снизу в стену, локти намертво прижаты к бокам, и только скрюченные от натуги пальцы в щели.

Хасан удивленно качнул головой. Оглянувшись, спросил стоящую сзади Дуську:

— Как называется?

— Рояль,— усмехнулась та.— Похоже?

Цыган и в самом деле похож был на пианиста, присевшего перед каменным роялем, положив руки на клавиши. Только стула под ним не хватало.

— Кто первый прошел? — ревниво спросил Хасан.

— Цыган. Теперь многие ходят...

— Хасан! — Нахал забрался с другими абречатами на макушку Кита, под красный флаг. Разбежался — и прыгнул через глубокий провал на Первый. Пролетел метров пятнадцать, снижаясь по крутой дуге, прилип на мгновение к вертикальной стене — и мягко съехал на карниз. А следом уже летели другие, распахнув руки, в бьющих по ветру шароварах.

— Прыжок Хасана! — с выражением произнес Цыган. Он подошел, растирая онемевшие пальцы.

— А ты что же?

— Пускай мелюзга прыгает,— небрежно ответил Цыган.— Ума не много надо... Лучше ты на Рояле сыграй.

Хасан тяжело глянул на него, но промолчал.

— Отвык от свежего воздуха. Голова кружится,— сказал он погоды.— Пережду пару дней... Зашевелились, гниды,— кивнул он вниз, где возле ларьков сутились торговцы — раскладывали товар, раздували огонь в мангалах.— Пошли отсюда. Смотреть тошно.

Ломанулись на Перья. Перья — два острых каменных штыка — торчали из земли, плотно прижатые друг к другу. Абреки как шли гуськом, так и поперли, не сбавляя шага, вверх по Уху, вертикальной складке. Хасан riskовать не стал, поднялся по Бабским катушкам, этажерке камней с обратной стороны. Встретились на вершущке.

Абреки прыгали с одного острия на другое, норовя спихнуть кого-нибудь вниз. Гуляш получил калошей в зад, не удержался и с диким воплем ухнул между Перьями. Хасан следил за ним сверху. Гуляш, набирая ско-

рость, падал на землю. Метров за пятнадцать расклинился в стены локтями и калошами, притормозил, спрыгнул и отскочил в сторону. А следом уже, как горох, сыпались остальные: один повалился спиной вперед, как водолаз, другой вниз головой, скучно скрестив руки на груди. Нахал отмочил, чего Хасан и не видал раньше: с самого начала расклинился локтями и пошел кувыраться, будто солнышко на турнике крутить.

Хасан выбрал паузу в абречьем десанте и так же с криком нырнул в Шкуродер. Пошел по-простому, без куража, притормаживая понемногу сверху донизу. У Шкуродера было два простых правила: нельзя жаться внутрь — со всего разгона закинит в щели, нельзя наружу — потеряешь опору. Спрыгнул на землю, неторопливо шагнул в сторону, освобождая место остальным, потирая горящие локти, а душа по-мальчишески ликовала и рвалась снова наверх и снова — в гулкую пустоту, как много лет назад, когда впервые пересилил страх.

— Дуська на Авиатор пошла! — крикнул кто-то. Абреки задрали головы.

Дуська спустилась к Авиатору, глубокой расселине на середине Перьев, и несуетливо готовилась к прыжку, зная, что снизу смотрят. Зацепилась ладонью и носком калоши за край расселины, свесилась наружу, во всю ширину раскинув руки, прижавшись лицом и грудью к стене, дотянувшись до кармана, пошарила в нем, притирая плотнее пальцы,— и на секунду замерла так, распластавшись на вертикалке, как самолет. Здесь было невысоко, метров двенадцать, но снизу выступали острые каменные ножи.

Дуська широко мятником качнулась на одной руке, бросила карман и, плеснув шароварами, перелетела с одного Пера на другое и четко встала на узенький карниз, будто прилипла к камню.

Абреки одобрительно загудели...

По пути домой все разом вдруг свернули к одинокому камню в березняке. Ничем не примечательный трехметровый камешек был расколот надвое, над щелью краской было выведено Дуськино имя.

— Ну? Кто сегодня пробует? — Дуська поцарски уперла руки в кушак.— Главный приз на месте!

Абречата пересмеивались, похабно поглядывая на нее, подталкивали друг друга к камню.

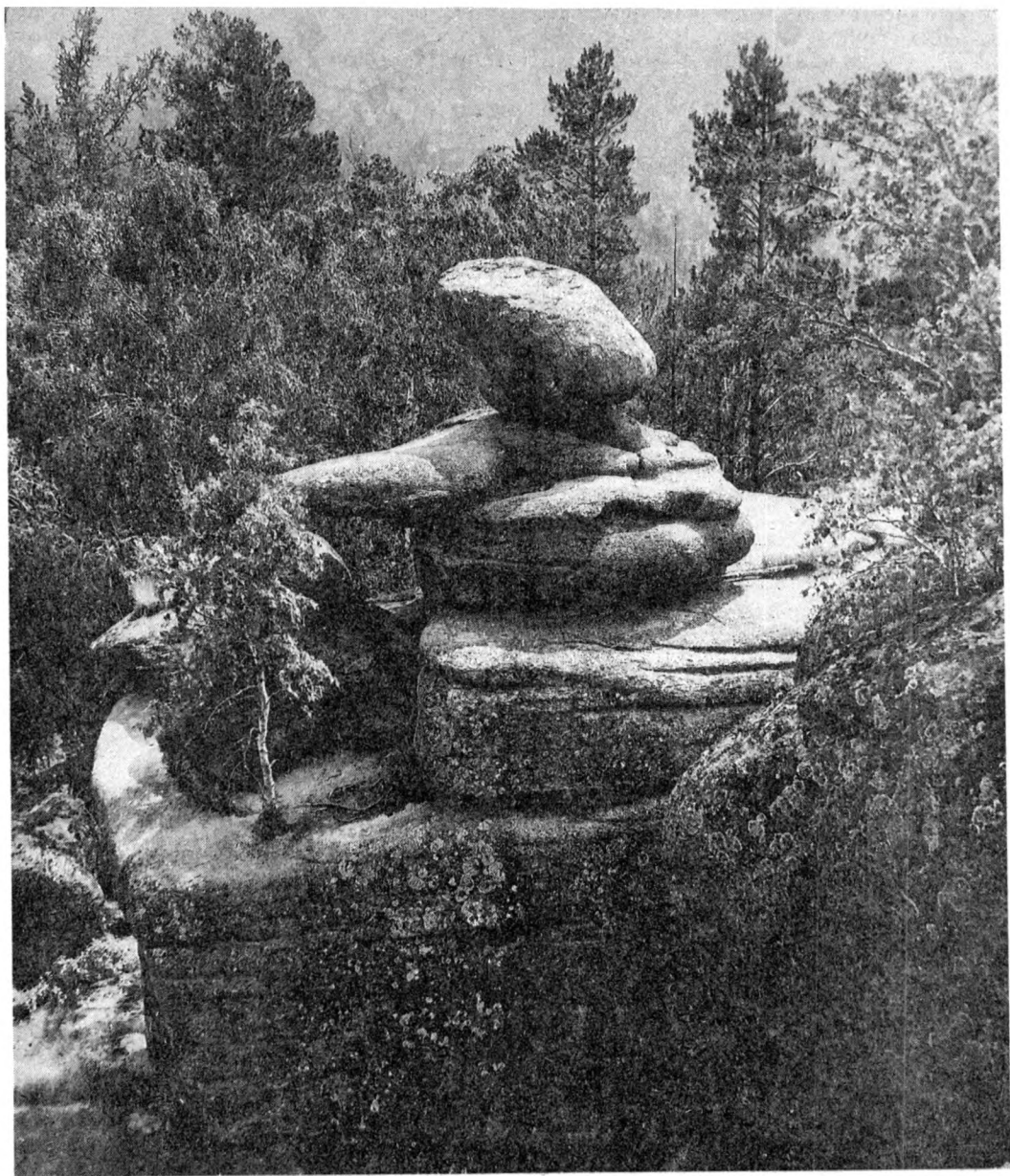
— Разлюбили, что ли?

— Это что за хитрушка? — спросил Хасан следующего за ним по пятам Нахала.

— Дуськина щелка,— ухмыльнулся тот.

— Чего?

— Дуська ее нашла. Обещала — кто пройдет, с тем она и ночь спит.



— Ну и что, многие прошли? — не сразу спросил Хасан.

— Не... Цыган только,— нехотя ответил Нахал.— Это треплют все про нее, не верь. И сама она треплет...

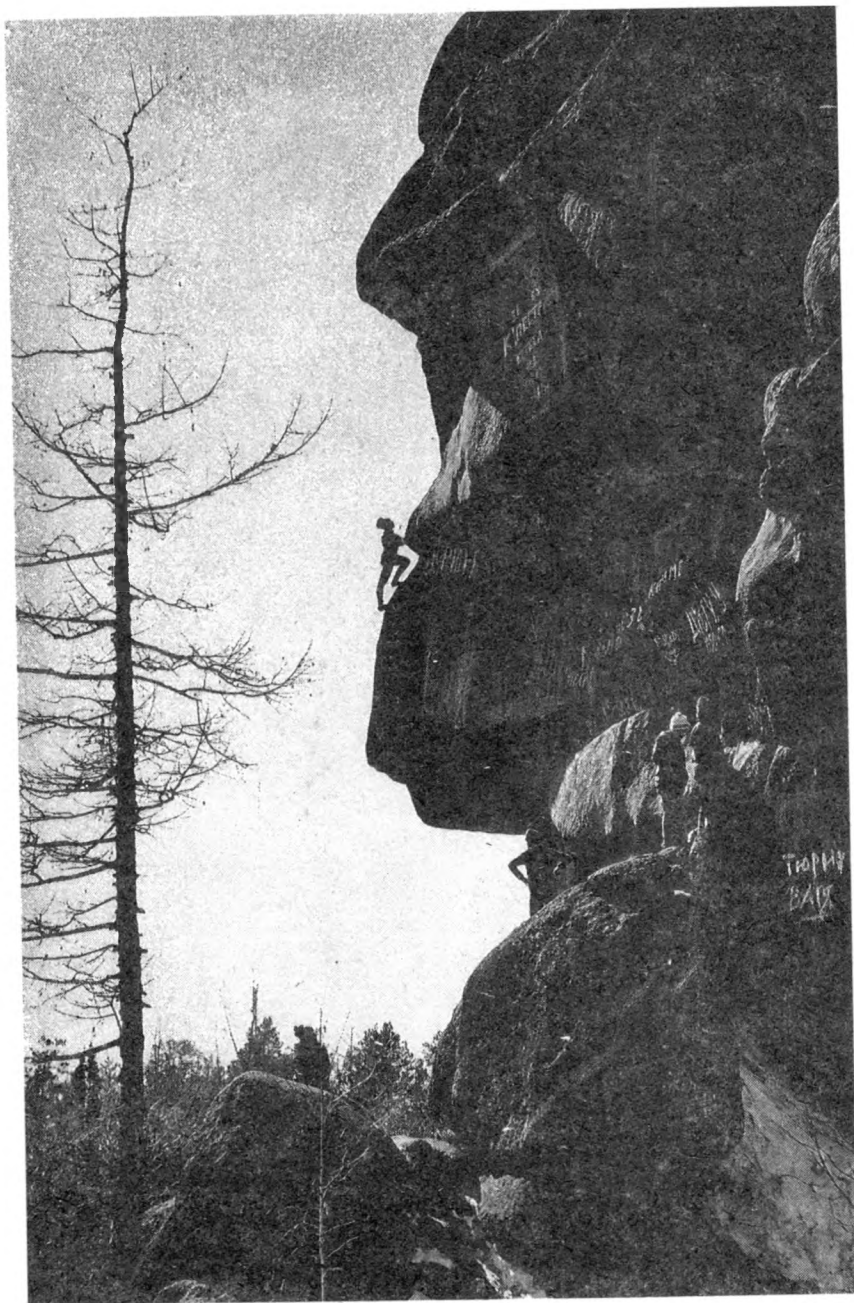
Хасан глянул на Дуську. Она то ли слышала, то ли просто понимала, о чем речь, и, нагло улыбаясь, смотрела ему в глаза.

— Ну? — спросила она.— Есть желающие? Хасан бросил папиросу в рот, прикурил.

— Гуляш! — повернулась Дуська.— Чего ночью сопел — меня вспоминал?

Гуляша вытолкнули к щели. Он обреченно глянул наверх, нахлобучил поглубже феску, потер ладони, разогревая пальцы, и пошел.

Хитрушка была непростая. Щель изгибалась крутой дугой, так что идущий должен был, зависнув на пальцах на гладкой, будто полированной кромке, опрокинуться вниз головой и переступить ногами по другой стенке, как муха по потолку.



«Дед» весь исписан именами погибших на нем столбистов.

— Не пройдет,— уверенно сказал Нахал.— Если б на плоском камне — делать нечего. А тут, видишь, в чем хитрость-то — кромка притоплена. Локти на излом стоят. Тут руки надо, как у Дуськи — у нее в обратную сторону гнутся, или грабли, как у Цыгана...

Видно было, как на каждом движении камень давил Гуляша в плечо, выжимая из щели,— вес тулова тянул его пальцы не вниз, как привычно, а вбок. Гуляш добрался едва до середины и надолго завис под хохот и свист абреков.

— Чего висишь? Созрел? — спросила Дуська.

Гуляш, не успев даже распрямиться ногами вниз, сорвался и шмякнулся на спину, как переспелая груша. Поднялся, кряхтя и через силу улыбаясь, подошел к Дуське и наклонился, подставляя зад. Та сняла калошу, размахнулась и от души врезала ему по заднице:

— В другой раз, Гуляш! Пока подушку потискай!.. Опять меня ночью, бедную, согреть некому,— вздохнула она.— Пошли!..

Проходя в отдалении мимо Четвертого, Хасан заметил под вершиной тельняшки «беркутов» и остановился посмотреть. На одну сторону от верхушки камень был как ножом срезан, внизу крутой склон обрывался отрицательной метров на пятьдесят. На этом пятачке был прочищен ото мха ход — петлей от верха до самой кромки и опять наверх. Один «беркут» шел по петле, другие обсели верхушку, наблюдали.

— Красиво,— оценил Хасан. Ход был не просто рискованный, но и страшноватый — спускаться-то надо вслепую, на ощупь.— Кто придумал?

— Петлю Пиночет разведаль на страховке, расчистил, потом уж понемногу другие ходить стали,— ответил Нахал.

— Ты пощупал?

— Не, откуда? — удивился Нахал.— «Беркута» близко не пустит.

— Куда не пустит? — удивился и Хасан.— На камень?

— Ну... Ихний столб.

— Что значит — ихний... — опешил Хасан, но договорить не успел.

— Гляди! — ахнули все разом.

«Беркут» вдруг проскользнул вниз, и только на самой кромке, когда сердце у каждого уже ужуло вместе с ним в холодную пустоту,— он в неловкой позе зацепился за что-то, замер не дыша, чтоб дыханием не столкнуться себя с последней опоры.

Маленькие фигурки «беркутов» засуетились на столбе. Раскручиваясь, к пловцу полетела «сопля» — страховочный трос, но тот не мог уже шевельнуть пальцем, чтобы не сорваться в то же мгновение. По страховке спус-

тился другой, перехватил пловца за ремень, и их вдвоем вытянули наверх.

Абреки пошли дальше, тут же забыв мимолетное происшествие,— плавали все и по многу раз, никто не убили и слава Богу. Но на подходе к Скитальцу наперез им вывалилась толпа разъяренных «беркутов». Впереди пострадавший с ободранной щекой — видно, и лицом в камень упирался, когда плыл.

— Что, суки, абречь поганое,— посмотреть хотели, как я гробанусь? А вот вам в глотку! — от плеча показал он.— Живой я!

— Ты что, с болта сорвался? — спросил Цыган.

— Кто?! — наступал пловец, протягивая растопыренные пальцы.— Кто маслом ход намазал? — На ладонях у него, действительно, жирно блестело машинное масло.

— Эй, погоди.— Хасан проталкивался вперед.— Дай разобраться.

Но было уже поздно.

— Бей красножопых! — раздался боевой клич.

Кукла и Варезка привычно отскочили в сторону.

— Уйди, тетка! — «Беркут» оттолкнул стоящую перед ним Дуську, та, не задумываясь, врезала ему коленом промеж ног и крюком по зубам. В одно мгновение перемешались тельники и красные развилки, замелькали над головами морские ремни и тяжелые кинжалы в ножнах. На Хасана с воем выскочил «беркут», заноса березовый кол, увидел незнакомое лицо, молча обежал и с воем помчался дальше.

— Пиночет! — заорал Хасан, заметив вдали стоящего на камне командира «беркуты».— Убери своих!

— Мы твоих со столба по одному покидаем! — проорал тот в ответ, возбужденно направляя черные провололочные очки.— Вперед, ребята!

Хасан метался между дерущимися, пытаюсь различать, потом сбил с ног одного «беркута», другого. Дрались, как обычно на Столбах, ожесточенно, но с куражом, успевая похлопать по плечу упавшего врага: «Полежи, отдохни!» или напевая что-то сквозь зубы.

— Али-баба! — закричали разом «беркуты» и абреки: одни — ликующе, другие — предупреждая друг друга. По тропе на помощь тельняшкам неслись человек двадцать из «Али-бабы» в черных пиратских платках, повязанных со лба назад.

Абреки дрогнули и начали отступать к Скитальцу. Оттуда вдруг грянул нестройный залп: несколько абречат засели между камнями и поливали из обрезов поле боя мелкой дробью. Драка стала затихать, все уже не столько махали кулаками, сколько пытались заслониться врагом от дроби.

И тут Цыган с горящими глазами вылетел на середину, держа в распахнутых граблях по самодельной гранате, весело заорал:

— На кого Бог пошлет! — и изо всех сил запулил гранаты в небо. И первый сел, прикрывая голову руками.

Бог послал всем понемногу — и «беркутам», и абрекам, и самому Цыгану.

Битва завершилась, противники, погрозив друг другу на прощанье, разошлись по домам зализывать раны.

На Скитальце Дуська, разложив брезентовую сумку с красным крестом, щедро заливала ссадины перекисью и йодом, бинтовала руки и головы. Одному, залепив рану на лбу пластырем, велела:

— В город. Швы надо класть.

Хасан мрачно курил, сидя на Феске. Потом исподлобья оглядел абреков и приказал:

— Бросай обрезы! Вот сюда, — указал он себе под ноги.

Абреки неуверенно переглядывались. Начал первый выступил вперед и положил перед ним обрез, высыпал из кармана патроны. За Нахалом другой, третий.

— Все?.. Что вы мне мозги полощете! — крикнул Хасан. — Выгребайте из щелей закорки!..

Куча оружия перед ним росла. Здесь были и хорошие двустволки-вертикалки, и охотничьи карабины, и древние берданки, и самопалы с курком на резинке; рядом горка разнокалиберных патронов и несколько гранат. Последней Дуська, усмехнувшись, бросила маленький никелированный револьвер.

— Цыган?

Тот ехидно развел руками: хоть обыщи, ничего нет.

— Ладно. Возьми людей, сколько нужно, — велел Хасан. — Собери все это. Утопишь под нашим берегом, где глубже.

Абреки возмущенно загудели.

— Тихо! — крикнул Цыган. — Тихо, я сказал!.. Хасан, ты первый день здесь. Если не веришь мне — поживи неделю, сам увидишь: все изменилось! Не мы это начали. Когда сгорела «Беркутянка», «беркуты» заорали: «Бей абреков!» Все навалились — «Али-баба», «славяне», «эдельвейсы», «бесы». Хорошо хоть «изюбри» помогли — еле отбились... И пошло: у одних избу обчистили. Кто? Абреки! У других дымоход заложили, чуть не угорели все. Кто? Опять абреки. Утром не знаешь, с кем вечером драться будешь. Мы тут одни против всех. А ты хочешь нас с голыми руками оставить?

— Здесь наш дом, Цыган. Можно жить дружно с соседями, можно ссориться, но в своем доме не стреляют... Ты знаешь, что это? — Хасан снял вышитую бисером феску, бережно стряхнул с нее песчинки. — Это коро-

на абреков. Ей больше ста лет. Я получил ее из рук самого Змея. И пока она на моей голове, — он вернул корону на место, — мои приказы не оспускаются.

На Скитальце стало тихо. Наконец, Цыган досадливо плюнул в сторону, кивнул:

— Гуляш! — Они начали собирать оружие.

Хасан вызвал Нахала и еще троих абречат:

— Обойдите избы. Передайте, что завтра в полдень Большой Совет у Львиных ворот.

— Я к «беркутам» не пойду, — утрюмо сказал Нахал.

— Дуська, выдай им по белой тряпке. Парламентеров не тронут.

Старшие абреки со связками обрезов за плечом направились к Енисею. Младшие с белыми флагами погледелись по избам.

К полудню не пришел никто. Избачи посчитали зорным прибыть вовремя — получалось бы, что они признают за Хасаном какие-то особые права. Абреки сидели на окаменевших корнях перед Львиными воротами — двумя пологими камешками, между которыми, как нарочно, как перекаладина ворот, лежал третий. Хасан курил, шагая вперед и назад.

— Всем объявили? — еще раз спросил он.

— Да всем...

— А до «грифов» добрались? Или ноги лень топтать было? — остановился он через пару шагов.

— Да не придет никто, — ответил Цыган. — Зря сидим.

— Придут, — убежденно сказал Хасан.

И точно — минут через пятнадцать появились «беркуты» в полном составе. Не торопясь: будто бы шли себе мимо, глядь — кто-то сидит, дай и мы присядем неподалеку. Подтянулась «Али-баба», потом «славяне». Подходили молча, садились не здороваясь, плотным своим кругом. Потом все разом задергались: кого ждем-то? — и каждую новую избу встречали недовольным гулом. Опоздавшие огрызались, но, усевшись, тут же со всеми вместе начинали подгонять следующих.

Наконец Хасан поднялся на Львиные ворота. Все лица тотчас обратились к нему снизу, раздался дружный хохот:

— Вот так и стой! А мы почетный караул внизу поставим!

— Эй, председатель! Президиум будем выбирать? — Столбятники изголялись как могли — больше от досады, чем для смеха: опять абрек встал выше, как начальник.

Хасан, не обращая внимания на подколы, деловито оглядел сидящих. Собралось человек двести, и хоть шли нехотя, однако все были при полном параде: и «беркуты», и «Али-баба», «изюбри» в старорежимных галифе и

гимнастерках, «славяне» в застиранных буденовках с красногвардейскими бантами на груди, «бесы» в душегрейках овчиной наружу, «эдельвейсы» в голубых олимпийках. Пришли даже богом забытые «Музеянка» и «Идея». Теток, как всегда, было мало — по две-три на избу.

— А «Нелидовка»? — оглядывался Хасан.— Ага, вижу. Кого нет? «Грифов»?

— И не будет. Плевали они на тебя с твоим собранием. Давай, говори чего хотел! До вечера сидеть, что ли?

— Мужики! Уважаемые избачи и уважаемые подкаменщики! — начал наконец Хасан.— Обойдемся без «грифов», черт с ними. Это они без нас не обойдутся! Но об этом пускай у них голова болит... Десять лет Большой Совет не собирали! Как же так, мужики? Как жить-то, если вот так не собраться всем, не потолковать? Сто лет на Столбах люди живут, и сто лет никому тесно не было. Любый свободный человек, кому внизу дышать нечем,— приходи, выбирай избу, а если никто не нравится — свою строй. Сюда все шли, кого внизу власть давила,— и беглые, и староверы, и коммунары, и дезертиры, и красные, и белые. И все дружно жили, никто никому не мешал...

— Ты лекцию не толкай! — зашумели столбятники.— Без тебя знаем!

— Я к чему, мужики? Я десять лет здесь не был. Почему — все знают. Спешил в дом родной, а вернулся в дешевую коммуналку. Принесли снизу городскую сразу — все делить. Дед мой, Бабка твоя, а на Внучку вообще не смотри. Раньше у каждого все столбы были, а теперь свой, но один. Вот и сиди на нем орлом всю жизнь. Не выйдет так, мужики! Не делятся Столбы! Или они есть, или нет! И я, Хасан, собрал вас, чтобы сказать: с этого дня все столбы открыты, нет больше ни «беркутиных» камней, ни абречьих. Милости прошу и на Первый, и на Перья, а мы сегодня идем на «беркутиную петлю»! Законы на камнях старые и всем известны: на занятый ход не лезь; пропусти, кто вниз — ему труднее; не помог пловцу — вон со Столбов! Всё!

— Ага! Они нашу избу спалили, а мы им — здрастье! — крикнул кто-то из «беркутов».

— Только пусти абречье — последние калоши сопрут! — подхватила «Али-баба».

— Кто сказал? — вскопил Цыган.— Ты, пират недоделанный, ты у меня свой платок на глазу носить будешь! На деревянной ноге скакать!

Абречи по привычке сразу схватились за кинжалы. Избачи тоже вскочили с мест, разворачиваясь стенка на стенку. Вымуштрованные тетки разбежались в стороны, чтобы не мешать, только Дуська осталась в боевых порядках.

— Тихо! — перекрывая общий ор, гаркнул Хасан.— Я не все сказал!.. Кто видел, что «Беркутянку» подожгли абречи?

— Да все знают!

— Я спрашиваю: кто видел? — отдельно сказал Хасан.— Пусть выйдет сюда и скажет! Законы все знают: вора — на столб! А я бросаю корону и уйду к чертовой матери! Ну? — Он снял корону.

Избачи шумели, но никто вперед не выходил.

— Кто из стариков есть? Пиночет! А это чья там противная рожа в «изюбрях»? Это ты, Грач? Не дайте соврать!.. Мы с вами никогда не целовались. И дрались, и с белым флагом ходили. И веревку ночью поперек тропы натянешь, и перцу на печку бросишь — всяко было. Но как вы могли поверить, что самый поганый, самый последний столбятник может намазать маслом ход и прийти смотреть, как из другого мозги вылетят? Не может такого быть!.. Пока мы деремся — одна изба сгорела. И остальные сгорят! Кому-то нужно, чтобы мы все попередрались и по своим столбам расселись, чтобы передавать нас поодиночке. И я подозреваю, кому это нужно!

— Ну, говори! — Столбисты затихли.

Хасан выдержал паузу...

— Менты! — крикнул вдруг кто-то. Между деревьям мелькали, охватывая поляну, серые ментовские мундиры.

Хасан прыгнул с Львиных ворот. Столбятники ломанулись всей толпой прямо сквозь жидкую ментовскую цепь. Кого-то успели схватить, но остальные прорвались и рассыпались по Столбам. Преследовать их в лесу, а тем более на камне, было бесполезно, и менты принялись сгонять в кучу задержанных.

Попались человек двадцать — и «беркуты», и абречи, и «славяне», каждой твари по паре. Они, впрочем, не шибко переживали, не сопротивлялись и дружно болели за Гуляша. Тот не сумел прорваться к столбам, дунул в обратную сторону и с разбегу взлетел на Слоника. Менты окружили камень.

— Слезай,— велел старший.— Поймаю — хуже будет.

— Ага. Лови,— нагло ухмыльнулся Гуляш сверху.— Не надорвись только.

Старший полез на Слоника, сапоги проскользнули, и он съехал вниз по Постирушке, ободрав локти. Менты прыгали вокруг, пытались достать дубинкой Гуляша по ногам, тот весело приплясывал на верхушке.

— Лестницу надо бы,— догадался кто-то из ментов.

— Да черт с ним,— плюнул старший.— Грузи остальных.

Подогнали открытый грузовик, менты сели по бортам, столбистов, как селедку в бочку, набили в кузов и поехали в город.

Главный кордон заповедника — Нарым — стоял неподалеку от Первого. В его ворота упиралась наезженная грунтовка, идущая снизу из города, здесь же кончалась электрическая и телефонная линия. Это был крепкий бревенчатый дом с полинявшей табличкой «Государственный заповедник «СТОЛБЫ», внутри забора располагались также сараи, поленница, качели, веревка с сохнувшим бельем и живой уголок из подбитых браконьерами птиц и зверей.

Когда Хасан со свитой подошли к Нарыму, перед открытыми воротами буксовала новенькая голубая «вольня» — жестяная пепельница на маленьких колесах. Хасан кивнул своим, они толкнули машину, и «Вольня» вкатилась во двор. Хасан вошел следом, абрки остались за воротами.

Из машины вылез Бурсак, старший егерь заповедника, приземистый коренастый мужик в синей егерской гимнастерке с еловыми лапами на петлицах.

— Здорово, Хасан.

— Здорово, Бурсак.

— Мечтал — не увижу тебя больше, загнешься на зоне.

— А я думал — давно пристрелили тебя где-нибудь ночью на Каштаковской Гриве.

Из дома выскочили две бурсаковы дочки-микрошелки, тот передал им сумки с продуктами из города. Старшая презрительно фыркнула на пестрый абречий наряд и гордо отвернулась.

— Давно «мерседес» прикупил?

— Неделю как.— Бурсак любовно погладил свою каракатицу по капоту.— Не разбираешься в машинах? Постукивает что-то в подвеске.— Он присел перед колесом, пристраивая домкрат.

Хасан закурил, усевшись на скамью рядом.

— Ты ментов вызвал, Бурсак?

— Зачем? Плановая операция по очистке заповедника от посторонних.

— И не боишься? — удивился Хасан.

— Ты ж меня знаешь, Хасан. Это молодняк твой меня пугать пробует,— кивнул Бурсак за ворота.— Будь я пугливый, я бы тут двадцать лет не прожил... Ключ подай — вон, торцовый...

Хасан, не вставая, бросил ключ ближе к Бурсаку.

— Что менты с нашими делать будут?

— Как обычно. Оштрафуют, ножи отнимут и отпускают.

— Если у тебя так душа про заповедник рыдает, что ж ты торгашей сюда пустил?

— Они цивилизованные люди, не то что вы, папуасы. У них с порядком строго... А нам деньги нужны, Хасан, чтобы заповедник спасти. Умирают ведь Столбы! Смотри,— он указал на сосны, торчащие над землей на

окаменевших корнях.— Это не деревья, мертвецы стоят: корни вытоптаны. И молодняк здесь еще двадцать лет расти не будет. Ручьи попересохли: Медвежий, Берлы, Большой Индей! Вам наплевать, вам только ваши дикие забавы — а на Столбах зверья уже нет, браконьеры выбили, потому что они на колесах, а зимой на «Буранах», а мы, нищие, на своих двоих. И люди к нам не идут за гроши надрываться. Это вы под камнями живете, как сто лет назад, при лучине. А кругом нормальные люди, они жить хотят нормально, в двадцатом веке... Меня тем летом в Калифорнию послали, опыт перенимать в национальный парк. Не был в Калифорнии, Хасан?

— Нет, я за Воркутой сидел.

— Вот это мечта, Хасан! Счастливый сон! — У Бурсака ожили, засветились глаза на обветренной роже.— Громадный парк, как наших пять. Чистый, как в пробирке! Заплатил — приходи, делай, что хочешь. Но только свернул с тропы — штраф. Развел костер — за всю жизнь не расплатишься. И индейцы там замечательно живут, в вигвамах своих сидят, туристы на них пялятся. А кончился рабочий день — перья снимают, в джинсы — и на машинах по домам!

— Это хорошо, что ты был в Калифорнии, Бурсак! — сказал Хасан, поднимаясь.— И запомни хорошенько, что видел — внукам расскажешь. Потому что здесь,— указал он на Столбы,— такого не будет никогда! Пока я жив.

Хасан бросил папиросу и пошел к воротам.

— Слышь, Хасан,— окликнул его егерь.— Знаешь, на чем ты погорел десять лет назад? И снова погоришь, если не поумнееешь?

— Ну?

— Ты думаешь, ты на Столбах живешь? Нет, Хасан. Ты в государстве живешь...

Когда отошли от кордона, Хасан вдруг заметил, что Нахал тащит под мышкой здоровенный рулон красной материи.

— А это что?

— У Бурсака из конторы уперли, пока ты ему зубы заговаривал,— ухмыльнулся Нахал.— Гляди!

Они с Гуляшом развернули плакат «Все на субботник по уборке заповедника!»

— Представляешь, сколько шаровар накроить можно!

Хасан думал о своем.

— Вот что, Нахал... Я адресов уже не помню — так объясню, на пальцах. Пойдете в город, найдете старых абреков. Кто-то должен еще быть остаться. Скажете — Хасан зовет... Пора начинать!

Посланные в город гонцы вернулись к вечеру. Между ними возвышался длинный, двухметровый почти мужик с крупным грубым лицом, громадными пятернями на тощих жилистых руках, неровно стриженный, не по размеру одетый и вообще весь расхлябанный, играющий на каждом шагу, как на разношенных шарнирах.

— Солдат! — поднялся ему навстречу Хасан.

— Хасан! — завопил тот, и два сорокалетних седых мужика принялись что было сил дубасить друг друга кулаками и бороться, пока не завалились оба на землю.

— А я аж не поверил сперва, — торопливо, захлебываясь, стал рассказывать Солдат, когда угомонились. — Пришли мальцы, говорят: Хасан зовет! А я глазами лупаю, будто с того света голос услышал... Чего-то не знаю никого, — разглядывал он абреков. — Мелочь одна краснопузая... А, Цыган, здорово!.. Дуська, ты, что ли? Ну, баба стала! Ох, гляди, глаз положу! — Он бесцеременно огрел Дуську по спине пятерней.

— Погоди... А почему один? — оглянулся Хасан на гонцов.

— Так не осталось никого, Хасан, — ответил Солдат. — Без тебя все наперекосяк пошло... Сперва Голуб углыл. Потом Монах, дурак, втихую на Большого Беркута ломанулся — дня через два только хватились, а его уж лисы объели. По кинжалу опознали. И поехало — один за другим пропадать стали. Пиф спился, зарезали в городе. Людон влип за драку на два года — так и исчез. Спиральный в спортсмены подался — в Альпах золото выиграл, француз обул, как мальчиков. В феске на пьедестале стоял, Хасан! А потом на Памире с ледника сорвался... Остальные — даже не знаю, кто где. Акула вроде в городе, но я его уж лет пять не видал... Как чума напала на абреков... — Он помолчал. — И я бы пропал, но тетка моя как почуяла что — камнем повисла: не пушу больше! Квартиру на другой конец поменяла, чтоб Токмак в окне не маячил. Трех по-быстрому настрогали. Вот... — Солдат смущенно показал дежурную фотографию троих малышей. — Старшего через неделю в школу поведу — Первое сентября. Первый раз в первый класс... В общем, повязала меня тетка по рукам-по ногам. Да и делать здесь уже нечего было. Как на кладбище ходил... Ты-то как, Хасан?

— Нормально, Солдат, — коротко ответил Хасан.

— Понял. Золотой закон Столбов: лезь на камень, не лезь в душу... А где моя фесочка, моя голубушка? — Он развернул пыльные пожелтевшие газеты с абречьим парадом и кривым янычарским тесаком. — В сарае прятал от тетки...

Солдат переоделся и вдруг неузнаваемо изменился, выправился в развилке и шароварах, перетянутый кушаком.

— На человека похож, — удивленно сказал он, разглядывая себя. — Не думал уже, что снова надену... Хорошо, тетки не было, когда твои пришли. Я ей записку оставил, что в ночную смену вызвали. Завтра к вечеру в город вернусь — спиногрызов в цирк отведу. Сам понимаешь, святое дело. И тогда уже тетке объявлю... Что тихо?! — заорал он. — Чего сонные, мелочь краснопузая? Хасан вернулся! Столбы дрожать должны!.. А помнишь, Хасан, последний раз рассвет встречали все вместе? Ломанемся на Второй — солнце встречать!

— Погоди. Сперва дело сделаем. Столбы чистить надо...

— А ты не объясняй! Ты приказывай! А Солдат — вот он!

Утром под Чертовой кухней кипела жизнь, орали сто динамиком сразу, турики активно подкреплялись перед штурмом вершин, сладкий дымок мангалов висел в воздухе.

— Ух, шашлычку порубаем! — возбужденно хихикнул Гуляш.

Абреки неторопливо, растянувшись по узкой тропе, вышли к Первому столбу. Кроме кинжалов кое-кто прихватил традиционное оружие столбистов: стальные триконя — тяжелые шипованные подошвы для зимы — и связки страховочных карабинов. Турики поначалу с любопытством глядели на пеструю компанию, кто-то даже поднял было фотоаппарат, но Солдат закрыл пятерней объектив:

— Извини, друг, плохо выгляжу сегодня. В мрачной неторопливости абреков была угроза, и толпа с краю начала расступаться, пропуская их к торговому городку.

Нахал подошел к фотографу, которому позировал недавно.

— Куда пропал? — обрадовался тот. — Клиентов навалом.

— Прячь камеру.

— Чего ты? — опешил тот.

— Разобьется — жалко будет. Давай-давай, быстрее, — похлопал его по плечу Нахал, подталкивая к разложенным на земле кофрам.

Гуляш поймал за локоть бугая в дорогом спортивном костюме, который, доев на пару со своей теткой шашлык, бросил не глядя бумажную тарелку под ноги.

— Подними.

Тетка в задранных на лоб темных очках, в блестящих панталонах, обтягивающих ляжки до колен, скудно глянула на Гуляша — и тут же тревожно забегала глазами по сторонам.

— Подними, Леша, — пискнула она.

Бугай и сам заметил уже абреков, нетороп-

ливо обтекающих их слева и справа. Нехотя наклонился и поднял.

— И вторую тоже.

— Это не моя.

— А ты все равно подними... Вот так.

Гуляш поставил на свободный столик патефон, завел и аккуратно опустил иглу на диск. В разноголосицу модных песен ворвалась хриплая «Маша».

Солдат, лениво позвякивая о ладонь связкой карабинов, подошел к первому ларьку, посторонил очередь и по пояс просунулся внутрь, опершись о прилавок, так что оказался нос к носу с продавцом. Огляделся, снял с витрины заграничную шоколадку, стащил зубами обертку и откусил половину. Секунду они глядели с продавцом друг на друга.

— Закрывай лавочку.

— Товар успею собрать? — деловито спросил тот.

— Поторопись — успеешь.

Хасан на полуслове забрал мегафон у зазывалы:

— Граждане отдыхающие! Базар закрывается — на сегодня и навсегда! Господа шашлычники и прочие спекулянты! Маза кончилась! Даю пять минут на сборы! Через пять минут за сохранность товара и лица не ручаюсь!

Наиболее понятливые из торгашей быстро, внавал кидали товар в баулы, тащили сумки к стоящим поодаль машинам. Только кавказцы-шашлычники невозмутимо крутили шампуры над углями, наблюдая исподлобья за развитием событий.

Солдат подошел к крайнему.

— Вай, генацвале, нехорошо. Приехал в Россию, а по-русски ни бум-бум? Перевозку: чайхана — ёк! Отваливай!

— А ты кто такой?

— Я — абрек.

— Да хоть Иисус Христос. Я за место заплатил. Отойди, да? — Он оттолкнул Солдата. Тот будто невзначай зацепил за ножку столик, с которого тут же ухнула под ноги сыну гор громадная столовая кастрюля с маринованным мясом.

— Ай-яй-яй! — огорчился Солдат.

— Зарежу, собака! — Тот схватил длинный кухонный нож и кинулся на Солдата. Гуляш опрокинул на него мангал с углями и раскаленным шашлыком. На помощь кавказцу бежали соседи с ножами и гирьками, даже охранники с нунчаками, брызнули в стороны перепуганные турики — и началось побоище с матом, лязгом триконой и карабинов, орущими по-прежнему магнитофонами и «Машей».

Гуляш сцепился с охранником, плечом вдавил того в стену киоска. Охранник с фанерной стеной рухнул внутрь, и его засыпала пирамида пивных банок. Трещали и склады-

вались, как карточные домики, ларьки, разлетались угли, опрокинутый мороженный аппарат вдруг выдул сугроб пломбира. Абреков было больше, тренированные охранники были сильнее. Но тут в центр драки ворвался Цыган.

— Ложись!! — заорал он, бешено вращая глазами. В руках у него были гранаты с тлеющими фитилями. Бросать, собственно, было некуда — красные развилки абреков перемешались со спортивными костюмами охранников, — и Цыган запустил гранаты в сторону. Грохнул взрыв, другой, накатило гулкое эхо от Чертовой кухни, и торгаши сломались, побежали к машинам.

— Угли гаси! — крикнул Хасан.

Часть абреков ринулась топтать раскатившиеся среди сухих корней угли, остальные забрасывали отъезжающие машины банками с пивом. Солдат кинул одну, другую, третью придержал, глянул название, открыл и присосался.

Абреки стирали с лица кровь и пот, переводя дух, оглядываясь на разоренное торжище.

— За подмогой поехали, — сказал Солдат. — Скоро вернутся.

Завывая моторами, перегретыми на долгом подъеме, к Чертовой кухне выехала кавалькада: впереди джип — «Патруль», за ним с десяток «тойот» и «жигулей». Выскочившие из машин ребята были покуче шашлычной охраны. Сжимая в карманах пистолеты, они настороженно озирали поле недавнего боя, окрестные скалы и заросли. Кругом не было ни души.

Из «Патруля» вышел мужик в дорогом костюме, в темных очках.

— Ба! Кого я вижу!

Приехавшие разом обернулись на голос — Хасан сидел на невысоком карнизе над ними.

— Ты ли это, Боров? — продолжал Хасан. — Ну, дела! Я-то думал, ты все так же бомбишь алкашей у вокзала, если не порезали по пьяни или менты не свинтили, а ты — в галстук! Да на красивой машине! Это ничего, что я сижу?

— Хасан, что ли? — подошел ближе Боров.

— Я, Боренька. Или как там тебя теперь звать-то: Борис... прости, по батюшке не знал никогда...

— Твоя работа? — кивнул Боров на разгром. — Ты знаешь, сколько я на тебя за это повешу? До смерти раком будешь стоять — не расплатишься!

— Эй ты! Иди сюда, чучело. — Один из крутых ребят вытащил «вальтер». — Считаю до трех! — Он взвел курок.

Сверху раздался протяжный свист, и с Первого поскакал по уступам, грохоча и раз-

брызгивая осколки, громадный камень. Гости бросились врассыпную. Камень, вдавил на полметра землю и, ломая кусты, улетел в лес. Другой, побольше, протаранил две машины.

Крутые ребята отступили от столба, паля из всех стволов по мелькающим тут и там красным развилкам. Вскоре стрельба затихла, гости замерли, чутко вода стволами по скалам — стрелять было не в кого.

— Это вы зря.— Хасан снова возник на карнизе.— Вам еще обратно ехать. Дорога дальняя, мало чего случится?

Боров негромко приказал что-то своим, те нехотя попрятали оружие. Сам он, миролюбиво подняв ладони, опасно поглядывая вверх, снова приблизился.

— О'кей, Хасан. Ребята погорячились, они городские люди, они не знают, что такое Столбы и кто такой Хасан. А я прожил здесь два года... Давай решать вопросы мирно, как деловые люди. Если ты претендуешь на свою долю, не надо было кулаками махать, надо было просто связаться со мной. Твое право. Это, действительно, уже сто лет ваша территория. Я предлагаю, скажем, два процента.

— Что ж так дешево? — искренне удивился Хасан.

— Это огромные деньги, Хасан! Ты что думаешь, я здесь шашлыками торговать буду? — засмеялся Боров.— Тут золотое дно, Хасан! Это многие поняли, только я первый успел. Администрацию мы уже прикормили. Сейчас мы откупаем заповедник — весь, до последнего камешка. Это решенный вопрос, у меня есть люди в Верховном Совете. Не сегодня-завтра французы начнут строить канатную дорогу, потом будет отель, будет международный центр горного туризма — проекты уже есть. Американцы, англичане, турки — все врвутся сюда, но все они придут ко мне со своими деньгами. Здесь миллионы, Хасан, сотни миллионов! Ты со своими ребятами возьмешь на себя охрану. Ваша форма будет единой для всего персонала. А когда откроем школу скалолазов — это я целиком отдам тебе на откуп. Ты по золотым камням ходишь, Хасан!

— Красиво говоришь,— сказал Хасан.— А теперь слушай меня. Хотя ты и прожил здесь два года, но так ничего и не понял. Как торговал водкой по ночам, так и остался мелким спекулянт, хоть и в галстук. Слушай: пока жив хоть один абрек — не будет здесь ни тебя, ни других торговашей, ни отеля, ни французоз с англичанами. Будет заповедник, где вас нет! Иди, Боров, и по сторонам не смотри — не твое!

Боров удивленно покачал головой.

— Ты дурак, Хасан? Или не понял, о чем говорю? Или детство еще в голове играет? Я же тебя раздавлю, как клопа! На камнях ведь

не проживешь, в город спустишься — там я с тобой по-другому буду разговаривать. Пижон дешевый!

— Иди, Боров, утомил.

Боров кивнул своим, и они пошли к машинам. Кое-как завели покореженные «жигули». Крайний парень оглянулся через плечо на Хасана, взвел в опущенных руках пистолет. Вскинул ствол... Но на карнизе уже никого не было, Хасан будто растаял в воздухе.

ЧАСТЬ II

Абреки, как мураши, тащили на Скиталец трофеи: полные охапки сладостей, уцелевшие бутылки — водку, шампанское, заморские ликеры. Гуляш пер за спиной мешок пива, Нахал — сноп шампуров с недожаренным шашлыком. На Скитальце все свалили в кучу, бутылки расставили отдельной батареей, запалили костер, Кукла и Варежка доставали алюминиевый сервиз — готовились к торжеству. Собственно, приглашения никто не ждал, каждый пробовал, что хотел. Ликеры по кругу отхлебывали из горлышка, кривились — «очко слипнется», французский коньяк не оценили — «самогон, даром что пузырь красивый». Поживились и шмотьем по мелочи: один в ковбойской шляпе поверх фески, другой в новой футболке с Бэтменом под развилкой; не забыли и про теток — Варежка в зеркальных очках шикарно покуривала длинную черную сигарету, Кукле Нахал поднес сувенир в прозрачном футлярчике, который под общий радостный гогот оказался фигурным презервативом. Дуське каждый втихаря нес красивый дезодорант — видно, из одного киоска, потому что у нее собралось десять одинаковых флаконов.

Изрядно уже отяжелевший от пива Солдат снисходительно смотрел на общее веселье, рассуждал, обращаясь к сидящему рядом Цыгану:

— Чего радоваться-то? Ну, навалили арам, вот радости-то полные шаровары! Раньше кому навалиешь — вечером и не вспомнишь. А-а! — махнул он рукой.— Чего говорить, кончились абреки. Как Хасана посадили, так и кончились, потому я и ушел. Раньше — это ж какие люди были! Хасан, Голуб, Акула, Монах! Помню, тоже приехали из города разбираться — человек двадцать. А нас четверо — Хасан, Голуб, Спиральный да я. Хасан встал перед ними — и спросил: «Ну?» Одно слово сказал: «Ну», — попытался воспроизвести непонятным языком Солдат.— Те повернулись и уехали... Одна надежда — Хасан вернулся. Он из вас абреков сделает. А то что абреки, что «изюбри» воючие — все одно... Раньше, помню, мы только со Скитальца выходим, а

все Столбы уже знают абреки на Карагановский равелин пошли! Внизу собираются, смотрят, как мы фигурируем...

— Да ладно трепать-то! — не выдержал Цыган.— Утомил, папаша! «Раньше! Хасан! Голуб!» Фигурали они! Там корова задом пройдет, где вы фигурали! Один звук остался — Хасан твой да Голуб!

— Ты что, с болта сорвался? — опешил Солдат.— Мы ж первые там ходили, когда тебя еще мамка не придумала! Я первый по Кровососу прошел!

— Нахал! — крикнул Цыган.— Тебе сколько лет было, когда ты на Кровосос пошел?

— А? — обернулся от костра Нахал.— Не помню. Лет пятнадцать. А чё?

— Ничё,— отмахнулся Цыган.— Понял, папаша? Там турики теперь резвятся, где вы ходили! А на Рояле ты играл? А на Мясо ты ходил? Знаешь, почему «Мясо» называется? Да хоть Пятна ты шупал на Первом? Нет? Так сиди и молчи! «Абреки кончились»! Это ты кончился. А за нас не волнуйся!

— А ну пошли! — вскочил Солдат.— Я тебя на любом столбе сделаю, как щенка! Я — Солдат, а ты кто?

— Да пошел ты...— отвернулся Цыган.

Хасан запрыгнул на Скиталец.

— В карауле кто?

— Тритон.

— Цыган, на ночь второго внизу поставишь... Ну,— потер руки Хасан, оглядывая застолье.— Чего Бог послал? Погодите метать, сперва торжественная часть! Нахал, иди сюда!

Он достал Нахалову феску.

— За проявленный в бою героизм возвращаю тебе феску и снова посвящаю в абреки! — Он торжественно ударил Нахала плашмя кинжалом по плечу и нахлобучил ему феску.

— Ура-а-а! — грянули абреки.

Хасан развернул Нахала и дал ему пинка в зад:

— А это за старое, чтоб больше не вспоминать! — Он сел, налил себе водки в кружку, серьезно сказал: — Кому надо возвращаться в город — вместе туда, вместе оттуда. Поодиночке не ходить. А в городе смотрите сами. Город — не Столбы, там каждый выживает один... Нас мало, ребята, но Столбы были и будут наши! Всегда! Пока Столбы стоят!... Ну! — Он поднял кружку.— Чтоб калоши не скользили!

Абреки чокнулись мятыми кружками с «Наполеоном» и «Смирновской».

Хасан дотянулся до гитары, взял пару аккордов.

— Солдат, давай нашу, а то здесь слов уже никто не помнит...— Он огляделся.— А Солдат где?

— Да был только что...

— Калоши надевал,— вспомнила Варешка. — Они с Цыганом тут спорили,— сказал Гуляш.

Хасан настороженно глянул на Цыгана.

— На Первый, наверное, поперся,— усмехнулся тот.— На Пятна.

— У тебя что, с головой плохо, Цыган? — зловеще спросил Хасан.— Он же пять лет на камни не ходил!

— А я ему в няньки не нанимался,— спокойно ответил тот.— Закон: каждый выбирает ход сам...

Когда абреки выбежали к Первому, Солдат был уже под самой верхушкой, передыхал на карнизе, примеряясь к Пятнам. Ход — пятна-проплешины на мшистом каменном брюхе, подсказывающие, куда упираться калоши,— тянулся по крутой дуге вверх над обрывом.

— Солдат, стой! — что есть сил заорал Хасан, надсаживая горло.— Приказываю — стой!

Разобрать слова на стометровой высоте нельзя было, но Солдат услышал крик, увидел внизу суесящихся красных мурашей и остался доволен, что будут свидетели. Он отошел на дальний край карниза, встал, покачиваясь взад-вперед, собираясь для броска. Это был беговой ход — следовало хорошо разогнаться по карнизу, чтобы скорость прижимала калоши к камню, и забежать наверх по почти вертикальному пузу.

— Я кончился?.. Солдат, значит, кончился, сука, да? Смотри, щенок, как старые абреки ходят! — Он откачнулся подальше назад, замер на мгновение — и побежал. Толкнулся от карниза, точно попал носком в первое, второе, третье пятно...

— Стой! — последний раз проорал Хасан. Обернулся: — Нахал! Еще кто-нибудь! Наверх по Собольку! Гуляш — по Трубе! Кушак кишень, если зацепится!

Те бросились к боковым ходам, хотя все понимали, что зацепиться на Пятнах не за что.

Абреки замерли в напряжении, глядя вверх, повторяя про себя каждый шаг Солдата...

Скорости не хватило, каждый следующий шаг был медленней, и наконец, за три пятна до спасительной бровки, Солдат не смог уже переступить и застыл, еще удерживаясь носками калош на вертикали.

— Руками не трогай! — отчаянно крикнула Дуська, комкая развилку на груди.

Солдат не слышал, он сам знал, что нельзя касаться камня руками, но калоши чуть-чуть проскользнули, и он судорожно вцепился пальцами в каменное пузо. Он плыл — пока еще медленно, коротко проваливаясь с одной крошечной неровности на другую. Ногти на скрюченных пальцах лопнули, из-под них

ударила кровь, оседая шариками на ворсинках мха...

— Толкайся! Толкайся в деревья! — кричали абреки.

Солдат глянул вниз под рукой — на маленькие игрушечные кроны сосен, на красных мурашей с обращенными к нему лицами. И провалился совсем, давая стон, оставляя полосы содранного мха.

Кто-то вскрикнул, многие опустили головы, чтобы не видеть. Солдат пролетел метров тридцать, инстинктивно приземлился на ноги на катушку, его с размаху ударило плашмя о камень, и подбросило, прокрутило несколько раз в воздухе безвольное уже тело...

Когда подбежали абреки, Солдат лежал лицом вверх, широко раскинув руки. Крови почти не было, только струйка изо рта и снизу из-под головы. Дуська молча растолкала всех, присела, взяла пульс на руке. Хасан торопливо разматывал свой кушак.

— Нахал! К Бурсаку за машиной! Пусть навстречу едет! Быстро!

Когда стали подсовывать развернутый кушак вдоль под тело, Солдат приоткрыл глаза и шевельнул губами.

— Что? — наклонился к нему Хасан.

— Чуть-чуть не дошел... — виновато выдохнул Солдат.

Абреки подняли его вшестером и понесли к кордону. Остальные спешили рядом, готовые подхватить кушак, если кто устанет.

От кордона навстречу мчался Нахал.

— Не дает, сука! — крикнул он издалека. — Чай пьют!

— Ты что? — задыхаясь, остановился Хасан. Пот из-под фески заливал глаза. — Ты сказал — зачем?

— Сказал!

— Держи! — кивнул Хасан. Нахал перехватил край кушака, и Хасан бросился к Нарыму. Пинком отшвырнул калитку.

Бурсак и еще трое егерей, действительно, пили чай во дворе. Возле каждого под рукой стоял карабин.

— Ты что, Бурсак, не понял? — Хасан протянул вперед руки, залапанные чужой кровью. — Человек умирает!

— Всех вас возить бензина не хватит, — спокойно ответил Бурсак, помешивая сахар в кружке. — Когда все поперебьетесь, я последнего сам лично отвезу. С почетом.

— Я с тобой потом разберусь, — сквозь зубы сказал Хасан. — Времени сейчас на тебя нет, гнида... Открывай ворота! Выкатывай! — обернулся он к своим.

Абреки хлынули во двор к машине. Гуляш одним взмахом вырвал из ворот замок вместе с ушками.

Егеря похватали карабины.

— Назад! — Бурсак выстрелил под ноги

абрекам. Картечь широко, как кнутом, ударила по земле.

Хасан медленно, глядя в глаза Бурсаку, пошел прямо на стволы. Бурсак, так же не отводя глаз, снова передернул затвор.

— Хасан, — негромко окликнула Дуська. Она опустила безвольную руку Солдата. — Поздно...

Нахал висел на страховке, упираясь ногами в стену, работал металлической щеткой, сдирая мох с камня. Буквы он уже закончил и теперь обводил их рамкой.

— «С» поправь, — велел Хасан. — Оно у тебя направо падает. — Он с другими абреками стоял ниже на катушке.

Нахал спустился к ним, глянул отсюда на свою работу. Под Пятнами на вертикальной стене значилось теперь СОЛДАТ — серым камнем из-под черного мха.

Хасан снял корону. Поснимали фески и остальные.

— Говорят, мох сто лет нарастает, пока совсем затянется, — помолчав, сказал Хасан. — Сто лет тебе память, Солдат, — повернулся и пошел к Скитальцу.

Абреки остались стоять, переглядываясь в недоумении. Нахал догнал его:

— Что, Хасан — и всё? И Бурсаку простишь? Так мы сами пойдем! Навалием, что портрета не останется!

— Навалием? — усмехнулся Хасан. — Эк ты его пожалел... Сам удивится. Он у нас на все Столбы прогремит.

Он взял у Нахала страховочный капроновый трос, осмотрел.

— Сколько у нас «соплей»?

— Две, — удивился Нахал. — А что?

— Пробеги по избам. Чтоб до темноты четыре было.

Бурсак, причитая, спотыкаясь на корнях, бегал взад и вперед под Первым. Все Столбы собрались тут, стояли избамы, посмеивались, глядя на Бурсака и вверх. А кто, опоздав к началу представления, только выходил из лесу — сперва замирал с открытым ртом, а потом принимался хохотать как сумасшедший, хлопая себя по коленям и указывая на вершину.

Там, на самой кромке карниза торжественно стоял новенький, сияющий бурсаков автомобиль.

— Ребята... — метался Бурсак от «славян» к «беркутам», от тех к «бесам». — Ну вы же нормальные люди! Не эта шпана! Снимите, ребята! Я заплачу!..

Ребята с удовольствием смеялись. Не то чтобы болели за абреков, но все имели зуб на

Бурсака, а главное — оценили хохму и с интересом ждали продолжения. А если кто и хотел выслужиться перед администрацией, то на глазах у всех не решился бы.

— Ребятки... Ко мне ведь прибежите, сволочи, когда петух клюнет!.. Пять тысяч, кто снимет! — отчаявшись, крикнул Бурсак.— Ну?! Никто не двинулся с места...

Абреки стояли поодаль, покуривали невинно, как бы не очень понимая — про что шум. Подбежал посланный в дозор абреченок:

— Хасан! Спасатели едут!

Хасан бросил папиросу.

— За мной.

Снизу тяжело поднимался УАЗик горноспасательной службы. Хасан вышел на середину тропы и встал, сложив руки на рукояти кинжала. Машина остановилась, обдав его жаром перегретого движка. Из кабины выскочил старший, седоватый поджарый мужик, подошел приглядываясь.

— Хасан?

— Акула? — не веря глазам, распахнул руки Хасан.

Они обнялись и отстранились, рассматривая друг друга.

— Вернулся?

— А ты куда пропал? Мои тебя искали в городе,— кивнул Хасан на перегородивших тропу абреков.

— Да мы только вчера с Кавказа. А до того в Китае работали.

— Так ты большим начальником стал? — спросил Хасан.

— Спрашиваешь! — засмеялся Акула.— Жизнь меняется, Хасан, только успевай. Это раньше спасатели, убогие, за идею гробились. А теперь мы такое дело раскрутили — ого — заслуженные мастера в очереди к нам, им такие заработки и не снились.

— А Столбы забыл значит?

Акула заметил изменившийся тон Хасана. Уже без улыбки ответил:

— Все мое время, Хасан. В моей феске сын играет. А до старости торчать на Скитальце или уплыть по дури...— Он покачал головой.— Не знаешь, зачем Бурсак вызывал?

Хасан молча указал вверх. Акула засмеялся, ткнул его кулаком в грудь:

— Узнаю тебя, Хасан! За что же ты его так?

— За дело,— коротко ответил Хасан.

— Что делаем, Игорь Николаевич? — подошел один из спасателей.

— Разворачивай. Бурсаку передашь — мы людей снимаем, а машины — не наш профиль... Ну, давай, Хасан.

— Давай... Игорь Николаич.— Они пожали друг другу руки.

Акула пошел было к машине. Остановился.

— Иди ко мне, Хасан. Для тебя всегда место найдется.

— Не приду, Акула,— качнул головой Хасан.

Тот вернулся, вытащил из кармана визитку.

— Здесь телефон — и в офисе, и домашний. Надумаешь — приходи.— Он воткнул Хасану визитку за кушак и сел в машину.

Когда УАЗик покатился вниз, Хасан достал красивую, с золотыми буквами визитку, скомкал и бросил в сторону.

Послышался грохот винтов, из-за столба поднялся, завис над вершиной вертолет. Тугие воздушные струи погнали вниз песок и мелкие камни.

— Давай!... Давай!..— махал руками Бурсак с Чертовой кухни. За раму цеплял.

Легкая «волян» вздрагивала под ударами спрессованного воздуха. Вдруг двинулась с места — и нырнула в пропасть. Бурсак схватился за голову и с размаху сел на камень.

Машина скомкалась о катушку, как бумажная, а колеса высоко подскочили и, догоняя друг друга, весело покатались к кордону.

«Грифы» обитали на Столбах сами по себе: жили на отшибе и с другими избачами не водились. Были они сплошь ученые, доктора и кандидаты, и на остальных смотрели сверху вниз, потому что, во-первых, считали себя элитой Столбов, а во-вторых, жили высоко на скале Грифы, от которой и получили свое имя. Формы они не имели из принципа.

Когда Хасан добрался до Грифов, солнце уже напоролось на острые верхушки сосен и опадало, как проколотый шар. Под столбом, прямо под избушкой, турики брэнчали на гитаре и кипятили чай на примусе.

Хасан поднялся простеньким ходом и оказался на одном уровне с карнизом. Здесь «грифы» поставили замок: забетонировали последнюю щель, ведущую к избе, и утопили там потайную гайку. Первый, кто шел в пустую избу, вворачивал болт и вешал маятник. В общем-то, замок был от честных людей да от туриков, потому что любой столбятник мог попасть на карниз сверху, поднявшись с другой стороны столба и перевалив через вершину.

Перед карнизом подвешен был колокольчик. Хасан позвонил, и из-за нависающего тараканьего лобика выглянул Майонез в проволочных очочках на громадном шнобеле.

— Ба, какие люди, какие люди! — запел Майонез.— Какая честь! Сколько лет, сколько зим!

— Десять,— коротко ответил Хасан.— Можно?

— Милости просим, милости просим! Спешу первым засвидетельствовать почтение.—

Майонез потянулся поручаться через пропасть. Хасан тоже протянул было ладонь, но тот вдруг неловко качнулся и с воплем ружнул вниз.

Хасан досадливо покривился, достал папиросу и прикурил, поглядывая по сторонам. Переждал немного, спросил:

— Не надоело?

Майонез появился из пропасти, смущенно хмыкнул и подтянулся на страховке.

— Уж и пошутить нельзя? — Он отвязал конец маятника и бросил Хасану.

— С туриками шути.— Хасан качнулся на маятнике и ступил на карниз.

Маленькая — в рост человека — ладная избушка «грифов» была встроена в глубину грота, под нависающий камень. Хозяева сидели вокруг стола рядом с избой. В центре стола была буржуйка с длинным дымоходом, на буржуйке мирно пыхтел чайник. Скамейки были сразу и рундуками для провизии, к каменной стене приделаны полки с посудой, карниз огорожен корабельным леером, чтоб не громыхнуться вниз спросонья, а через леер торчала, как пушка с корабля, стрела лебедки. Всё по уму было сделано на маленьком каменном пятачке, все по-научному.

— Здорово, стервятники! — поздоровался Хасан.

«Грифы» ответили, — правда, без большой душевности. Кого они могли ждать в гости, но только не абрека. Но все же подвинулись, дав место за столом, и поставили перед ним кружку. Пока Хасан, сняв из уважения корону, хлебал чай, они молчали, переглядываясь.

— Чему обязаны? — спросил наконец Папа Док, статный мужик с голым, как Митра, куполом, — старший здесь, по крайней мере по возрасту.

— Я долго говорить не буду, — сказал Хасан. — Слышали, наверное, — мы торгашей со Столбов вымели?

— Да уж весь город знает, — усмехнулся Папа Док. — И что дальше?

— А дальше у меня только один вопрос: вы-то почему тихо сидите? Вы-то, умники, должны понимать, что происходит? Ведь продадут Столбы, как Россию распродали!

— Облегчусь, пожалуй. Если никто не возражает, — задумчиво сказал Майонез. Он отошел в дальний конец карниза, где под табличкой WC висел страховочный пояс и рулон туалетной бумаги. Оторвал бумажки, надел страховку и нырнул вниз.

— Скучно, Хасан, — сказал Папа Док. — Это ты к любому пивному ларьку иди, там у тебя много собеседников будет — про то, как Россию продали.

— Так ведь продали! — закричал Хасан. — Растащили по куску, кто сколько урвать успел. А пока ты тут сидишь и умную рожу строишь,

и Столбы продадут по камешку! Первый — в Америку, Второй — в Германию, и вас вместе с вашим камнем! Вон уже канатку собрались строить, потом гостиницу, потом вот здесь вместо вас валютный бар будет с блядьми и красивым видом!

Папа Док терпеливо, как ребенку, кивал ему.

— Слушай, Хасан, — сказал он. — Если ты хочешь проанализировать доминирующие тенденции экономической эволюции конкретного административно-территориального региона — запишись в библиотеку, почитай книжки. А то разговор не на равных.

— Ты из меня дурака не делай, — сказал сбитый с толку научной абракадаброй Хасан. — Я верю только в то, что простыми словами можно объяснить.

— А если простыми словами: это нормальный процесс, первый этап развития капитализма. Варварский, правда, как и всё в этой стране, но — нормальный. А нравится тебе это, не нравится — это твои личные проблемы. Много сейчас таких за Россию блажат, про Богом избранную страну. Они орут, а паровоз мимо идет. А ляжешь на рельсы — и паровоз не остановишь, и сам костей не соберешь. Теперь понятно говорю?

— А что делать? Лапки сложить и поминать? Да вроде рано еще. Если мы все объединимся — кто нас одолеет?

— Объединимся?... — снова усмехнулся Папа Док. — Замечательная традиция, Хасан, закон Столбов: никто не спросит, как твоя фамилия и кто ты в городе. Красивая легенда: сыщик и беглый каторжник за одним костром. Все равны на Столбах... Однако, посмотри, Хасан, как странно все само собой сложилось: вот мы здесь ученые, аспиранты есть, «Музеянка» — художники, актеры, журналисты, «беркуты» — работяги, «эдельвейсы» — студенты, «изюбри» — милиция и военные, «славяне» — теперь уж не знаю кто, а в прошлом — комсомольцы и аппаратчики, в «Али-бабе» — поселковые, никого городских нет, «бесы» — официанты, таксисты и банщики, зажавшаяся обслуга, твои абреки — шпана беспризорная. Правда, интересно получается? Так кто с кем должен объединяться — мы с «бесами»?.. Так что ты нас в свои игры не путай, Хасан! Вы там, — Папа Док махнул рукой вниз, — играйте, воюйте, объединяйтесь, только нас не трагайте! А если вас, действительно, администрация разгонит, а заодно и прочую шваль — и слава Богу, только чище на Столбах будет!

— Вот как? — спросил Хасан, оглядывая сидящих.

— Вот так, — ответил за всех Папа Док.

— Какие вы, к черту, «грифы», — процедил Хасан, поднимаясь, — куры вы, несушки...

Одну избу уже спалили. — думаете, до вас не доберутся? Только тогда уж ко мне за помощью не бегите!

— Не побежим, Хасан.

Хасан пинком освободил тормоз на лебедке, ухватился одной рукой за трос и с загробным воем прыгнул вниз, прямо на культурно отдыхающих туриков.

Те вскинули головы, увидели летящую на них с закатного неба черную фигуру в плещущих на ветру шароварах и, не поднимаясь на ноги, на карачках брызнули по кустам. Хасан прыгнул между спальников, пнул в сердцах чайник с примуса. Крикнул наверх:

— Счастливо оставаться, птички! — И двинул домой.

Проходя мимо Дуськиной щелки, Хасан почуял движение в темноте. Остановился, приглядываясь, и крадучись шагнул с тропы к камню...

Нахал, сбросив развилку и кушак с кинжалом, яростно штурмовал хитрушку. Срывался, совал обожженные пальцы в рот и снова упрямо, тяжело дыша, лез наверх. Хасан замер, улыбаясь, хоронясь за деревьями, чтобы не спугнуть...

На другой день, как обычно, абреки всей толпой притормозили у камня с Дуськиной хитрушкой.

— Ну? Есть у меня еще кавалеры? — подбоchenилась Дуська.— Кто сегодня претендент?

Цыган не торопясь примерился, закинул в щель свои грабли и пошел, красиво, по-абречьи: со скучающей физиономией, как нечего делать, хотя мышцы под облепившей спину развилкой бились от натуги. Спрыгнул, отрянул ладони.

— С тобой на Скитальце рассчитаемся,— отмахнулась Дуська.— Ну, кто еще? — спросила она, в упор глядя на Хасана.

Тот стоял, перекидывая языком спичку в зубах.

— А что, слабо, Хасан? — усмехнулся Цыган.— Приз-то хорош, а? — Он развернул к нему за плечи Дуську.— Не пожалеешь, гарантия! Стоит, чтоб рискнуть!

— Я на баб не играю,— спокойно ответил Хасан.— Пусть пацаны штурмуют.

Дуська грубо вырвалась от Цыгана и отвернулась:

— Ладно, порезвились и хватит. Пошли!

— А правда, попробовать, что ли? — вдруг как бы задумчиво, про себя, но звенящим от напряжения голосом сказал Нахал.

Все разом обернулись к нему. Нахал стоял один у щели, сунув руки в карманы необъятных шаровар.

— Не передумаешь потом? — спросил он.

— Мальчик, я когда-нибудь не делала, что

обещала? — надменно спросила Дуська.— Только про кашу не забудь!

Нахал молча скинул свою мелкую феску, чтоб не потерять в дороге, и двинул по хитрушке. Что-то было такое в его голосе и каждом шаге — как у человека, идущего в один конец, без обратного пути,— что не слышно было ни обычных похабных шуток, ни свиста, ни поддержки: тишина. Шел он некрасиво, ожесточенно, будто зубами за воздух хватаясь. Когда миновал середину, абреки загудели, не веря глазам, и только когда подтянулся и выбрался на плоскую крышу камня — взорвались торжествующим ором, какого еще не слышали Столбы.

Нахал прыгнул вниз, держа в стороны скрюченные, сведенные пальцы. Абречата налетели обниматься, молотить кулаками по плечам, а он остался стоять навывтяжку, глядя сквозь них на улыбающуюся Дуську.

Та неторопливо, по-царски подошла. Абречата расступились перед ней.

— Выиграл, Нахал,— улыбаясь, сказала Дуська.— Вот она я. Ты хозяин, как скажешь, так и будет.

Нахал по-прежнему стоял столбом, не сводя с нее глаз.

— Только сразу, Нахал,— предупредила Дуська.— Единственное мое условие. Не люблю долги на потом оставлять... Ну, пойдем.— Она взяла его под руку, но тот стоял, как каменный.

— Иди, Нахал! Ну, чего встал! — теснились кругом абречата.— Иди, дурак! Зря лез, что ли? Потом расскажешь!

Цыган, усмехаясь, покуривал поодаль.

— Пойдем, Нахал. Я же обещала,— тихо, ласково сказала Дуська. Она наклонила голову и, не закрывая глаз, пристально глядя, поцеловала его в губы.

Лицо Нахала вдруг задергалось. Едва сдерживая слезы, он с силой оттолкнул Дуську, закрылся руками и, не разбирая дороги, спотыкаясь о камни, бросился в лес.

Абреки на секунду затихли в изумлении — и загоготали, засвистели вслед, похватались за животы от смеха:

— Давай я! Чур, я за него!

Дуська, уже без улыбки, врезала самым ретивым по феске и, не оглядываясь, первая пошла дальше. Абреки, растянувшись по тропе, дружно осуждая размазну Нахала, двинулись за ней. Хасан махнул, что догонит, и направился в другую сторону, куда скрылся Нахал.

Он долго петлял по лесу, оглядываясь и окликавая Нахала, пока случайно не увидел его, забившегося под одинокий камень. Хасан сел рядом и обнял его. Тот рванулся было бежать, но Хасан удержал.

— Все нормально,— сказал он.— Все как надо сделал. Как мужик сделал!

— Как надо?! Я все лето тренировался! Все лето ждал! А тут... как последний...— Нахал заревел гуще прежнего, так что плечи ходунном заходили.

— Нельзя, Нахал. Нельзя подачки брать. Лучше украсть или с голоду сдохнуть, чем поднять, когда подают.

— А если я ее люблю!

— А если любишь — тем более,— сказал Хасан.— Она бы сделала, что обещала, но никогда бы тебе не простила — неужели не понимаешь?

— А Цыган?

— Она и Цыгану не простила.

Нахал понемногу успокоился, отнял руки от красных глаз, угрюмо смотрел в землю.

— Ну, пойдем,— поднялся Хасан.

— Не пойду,— мотнул головой тот.— В город лучше уеду... Как я ребятам покажусь — сбежал, как придурок...

— Так ведь ты выиграл, Нахал! Хитрушкото ты прошел! Никто не смог, а ты прошел, и приз твой. А брать его или нет — это твое дело!.. Эх, что-то скучно живем! — крикнул Хасан.— Давно рассвет не встречали! Пойдем в ночь на Беркута — чтоб Столбы вздрогнули. Считай, что салют в твою честь будет!

Муравьиной цепочкой, то переползая черными тенями по стене, то втягиваясь в темноту расщелин, абреки вышли на вершину Большого Беркута.

Внизу была еще ночь, а отсюда виднелась лазоревая полоса на полгоризонта, от Китая до Токмака. По другому берегу Енисея город с трудом просвечивал фонарями сквозь вязкий дым заводов, не убывающий ни днем, ни ночью.

Хасан широко огляделся, втянул горьковатый свежий воздух сквозь зубы.

— Знаешь, сколько я отсидел? — не обращиваясь, спросил он.

— Десять лет,— откликнулся Нахал у него из-за плеча.

— Нет, Нахал. Десять дней и десять ночей... А знаешь, что такое полярная ночь, Нахал? Когда кажется, что уже солнца никогда не будет — сломалось что-то там в природе, винтик какой-то. Ночью в петлю лезли и вены пилили, потому что надежды не было... А рассвет все выходили встречать — и хозяин, и последний говноед. Сначала охрана видела, на вышках. А уж мы на другой день... Плакали, Нахал! Мокрушники плакали... Люблю солнце...

Светало быстро, будто открывалась дверь. Абреки кончили свои дикие игры и стояли все в одну сторону, глядя на подсвеченный сзади

красным горизонт. И вот из-за дальних сосен веером встали первые лучи.

— Ура-а-а! — грянули абреки, запрыгали, маша руками и фесками, кинулись обниматься. Цыган палил из ракетницы, Гуляш, сопя и ломая спички, все не мог поджечь изготовленный к случаю взрывпакет — наконец, запалил и метнул вниз. Ударил взрыв, эхо полетело от столба к столбу, будя избачей и кордоны.

Хасан смотрел сбоку на прыгающую со всеми вместе Дуську. Она почувствовала взгляд и обернулась улыбаясь — не как обычно, а радостно, по-детски и чуть смущенно за свое щенячье веселье. Вдруг напряженно прищурилась, глядя ему за спину:

— Смотри!..

Один за другим абреки умолкали и оборачивались, тревожно взглядываясь в далекий красный огонек, дрожащий в сосновых кронах, — и только Гуляш на самом карнизе еще вопил что-то навстречу солнцу.

— «Грифы» горят! — крикнул кто-то, и все, как по команде, наконец сдвинулись с места, бросились вниз, обжигая пальцы, шкуря на локтях, чтоб быстрее.

Только забытый патефон остался на вершине шипеть и щелкать сыгранной пластинкой.

Внизу уж била корабельная рында «беркутов», бежали, одеваясь на ходу, «изюбри» и «эдельвейсы», впереди мелькали на тропе косматые душегрейки «бесов».

Под Грифами уже стояли «славяне» и «Алибаба», стояли без движения, потому что избу не спасти было. Бревна прогорели на стыках, от избы остался сквозящий скелет, в котором гулял ветер, перебарсывая длинные языки огня из стороны в сторону. С треском разлетались, сыпались сверху головешки. Раскаленная, малиново светящаяся жестяная крыша взлетела и зависла на восходящих потоках, кланяясь, как воздушный змей.

Майонез на карнизе пытался прорваться к избе, но приседал, закрываясь полой куртки от жара. Папа Док метался под скалой с пустым ведром, вращая безумными глазами:

— Воды!.. Воды!..— Грохнул с размаху ведро оземь, сел на корточки и заплакал, обхватив голову.

Изда накренилась. Толпа внизу отпрянула, Папу Дока едва успели оттащить в сторону, как сверху повалились горящие бревна. Столбисты кинулись раскатывать, гасить их, топтать занявшую траву.

Через полчаса все было кончено. От «грифской» избышки осталась куча дымящихся углей да пятно копоти над карнизом.

Майонез в прожженной куртке, с обгорелыми волосами, спустился вниз, высмотрел в толпе Хасана и медленно, бочком пошел на

него, издадека протасывая кусок прокопченной тряпки.

— Сволочь...— дрожащим голосом сказал он.— Гад ты последний...— Подскочил, пытаясь острым кулачком достать его по лицу.

— Ты что, с болта сорвался? — Хасан оттолкнул его.

Майонез бросился к «беркутам», к «эдельвейсам», суетливо совал им в руки тряпку:

— Феска! Смотрите! На карнизе нашел, у избы...

— Дай-ка,— взял обгоревшую феску Пиночет.— «Абрекь»...— разобрал он след от шитья.— Вот, значит, как ты, Хасан...— недобро поднял он глаза.— Говорим, значит, одно, речи толкаем...

— Приходил, грозился! — крикнул Майонез.— «Одна изба сгорела — и ваша сгорит!»

— Бей абреков! — раздался уже боевой клич. Абреки сгрудились вокруг Хасана, хватаясь за книжалы.

— Стой! — заорал Хасан.— Не наша — наши все подписаны! Дай! — Он вырвал феску у Пиночета и повернул исподом. Всмотрелся в чернильные каракули.

— Нахал? — удивленно поднял он глаза. Все глянули на Нахала — тот стоял без фески, опустив голову.

— Твоя? — растерянно спросил Хасан.

Тот кивнул. Столбисты загудели.

— Стой! — Хасан из последних сил сдерживал разъяренную толпу.— Где потерял?

— У Дуськиной щелки снял тогда... Вечером вернулся, все обыскал, каждый камень — нету...

— Эй, мужики! — вдруг звонко хлопнул себя по лбу один из «бесов». — Я вчера вечером из города канаю через Нарым, а там Бурсакова старшая, вонючка, в феске! Ни гвоздя себе, думаю, — кто это из абреков к прошмандовке этой клеится, что феску подарил!

— В Нарым! — крикнул Хасан.

Все бросились к кордону. Но это уже не те были люди, растерянные епросонья, что в тревоге вразнобой поспешали к «грифам». На кордон неслась толпа, сплоченная и заряженная ненавистью.

Бурсак в одних форменных синих штанах чистил у крыльца сапоги. Оглянулся на молчаливый топот, выронил щетку из ослабшей разом руки, кинулся было к воротам, сообразил, что не успеет, и юркнул в дом. Уже ничего не надо было выяснять, все ясно было по вороватой Бурсацкой роже.

Хасан с разбегу ударил в дверь ногой. Бурсак суетился внутри, опрокидывал что-то на пол, подпирая дверь.

— Выходи, Бурсак! Лучше сам выходи!

Тот лихорадочно стучал по телефонным рычагам, орал в трубку, вызывая на помощь

соседние кордоны, а под стены дома уже летели охапки сена из стожка, чиркнули спички, поплыл густой белый дым. Заголосила Бурсачиха.

Пиночет поднял во дворе чурбак и метнул в окно, высадет вместе с рамой, но едва сунулся в дом, оттуда ударил выстрел. «Беркутиную» черную бескозырку будто сдуло с головы, а сам он сел с размаху на землю, хватаясь за взлохмаченные дробью вместе с кожей волосы.

Хасан прыгнул на подоконник и тут же толкнулся внутрь в сторону — дробь из другого патрона улетела в пустое окно. Он вырвал карабин у Бурсака, подоспели остальные, выволокли егеря из дома, отоварили несколько раз и потащили со двора.

— На столб его!

Бурсачиха кинулась было за мужем, потом обратно к дымящемуся дому, замахала дочерям:

— Телевизор выносите!

Бурсак ужом извивался в руках, Гуляш дал ему коленом в поддых, и он сложился. Хасан и еще трое старших столбятников затащили его на Первый, на катушку над Мясом — развалом острых иззубренных камней. Внизу собрались все Столбы — избачи, и подкаменщики, и пришлые. Поодаль мялись, не решаясь вступить, подоспевшие с других кордонов егеря.

Бурсак наконец понял, что волокут его, действительно, на смерть, и с новой силой засучил ногами, цепляясь за все, за что можно было ухватиться. Хасан железными пальцами сдавил ему загривок и подтащил к самой кромке.

Неожиданно рядом возникла Дуська, перехватила его руку.

— Не надо, Хасан,— сказала она, тяжело дыша.

— Бросай! — орали снизу.

— Хватит, Хасан,— негромко, твердо сказала Дуська.— Одного уже хватило. Отпусти его.

Хасан на секунду замешкался. И в это самое мгновение снизу раздался счастливый смех Нахала:

— Гляди, обоссался!

По синим штанам Бурсака и в самом деле расплывалось темное пятно.

Столбы грохнули от смеха, столбятники хохотали до слез, сгибаясь впополам, тыча наверх пальцами. Хасан ослабил хватку, и Бурсак отшатнулся от обрыва.

— Счастливый ты, Бурсак,— сказал Хасан и добавил громче, чтобы слышно было внизу: — А теперь объяви всем, кто спалил «Беркутянку»? Ты?

Бурсак мелко кивнул опущенной головой.

— Кто замаслил ход? Ты?

Бурсак снова кивнул.

— А теперь слушай меня внимательно. Бурсак: уходи со Столбов! Сам уходи. Здесь тебе не жить.— Хасан повернул его и дал пинка калошей.

Бурсак пошел на подгибающихся ногах, в мокрых штанах, маленький, раздавленный, к своему горящему дому. Шел между столбиков, как сквозь строй, сопровождаемый пинками, свистом и смехом.

— Помни мою доброту, Бурсак! — весело крикнул вслед Хасан.

Бурсак обернул к нему черные от беспомощной ненависти глаза и тихо ответил:

— Запомню, Хасан.

На поляне под Грифами вовсю кипела работа. Руководили Папа Док и Майонез — сверялись с чертежами, размечали бревна, ставили риски. Столбятники махали топорами, тесали «ласточкины хвосты», пилили, мешали цементный раствор. Все завалено было щепой и опилками. Солнце жарило в макушку, поэтому работали голыми по пояс, и только фески, буденовки или черные платки обозначали, чья тут потная спина маячит впереди. Поодаль абречки, «изюбрихи» и другие тетки кашеварили на одном костре. Жаждающие подбегали к ним залить в глотку раскаленного цифиря.

Четверо абреков поднесли на плече новое бревно, скинули под столбом.

— Всё,— сказал Гуляш, вытирая феской мокрое лицо.— Сарай разобрали. Хватит, или контору будем раскатывать?

— С запасом даже,— ответил Хасан.— А что Бурсак?

— Теток своих в город отправил. Сам сидит пока. Все егеря там собрались.

Хасан вогнал топор в чурбак, подошел к Дуське зачерпнуть чаю. Глянул по сторонам:

— Цыгана-таки нет?

— На Скитальце...

Карниз уже расчистили от головешек, отскребли с камня гарь, и несколько человек, упершись калошей в кромку, изготовились тянуть на «соплях» первое бревно для сруба. Работа внизу стала, все разогнулись посмотреть.

— Стой! Погоди! — крикнул Хасан.— Гуляш, музыку!

Гуляш кинулся к патефону. Грянула «Маша», и под свист и ликующие крики столбятников бревно рывками пошло вверх.

Уже затемно абреки вернулись на Скиталец.

Цыган сидел один перед костром. Хасан сел напротив. Некоторое время они смотрели друг на друга через огонь.

— Ты слышал мой приказ, Цыган? — спросил Хасан.

— Слышал, Хасан.

— Почему же ты не пошел со всеми?

— Потому что я — абрек! — высокомерно ответил Цыган.— А ты забыл традиции абреков, Хасан! Абрек — это вольный разбойник, он может держать оружие, но никогда не возьмет в руки топор и лопату. Мы сто лет живем под этим камнем, и никогда абреки не строили себе избу. А строить «грифов», которые всегда презирали нас и плевали на нас со своего насеста, браться с вонючей «беркутой» и «эдельвейсами» — нет, Хасан! Я себя уважаю.

— Феску долой! — негромко сказал Хасан.

— Что? — приподнялся Цыган, не веря собственным ушам.

— Ты здорово ходишь на камень, Цыган. За это я тебя уважаю. Но мы не скалолазы, мы — граждане Столбов. Ты сам себя лишил гражданства. Двенадцать лет назад я, Хасан, посвятил тебя в абреки и вручил тебе эту феску. Теперь я, Хасан, тебя ее лишаю. Я никому не имею права отказать в ночлеге, но утром ты уйдешь со Скитальца. Ищи себе избу, если кто-то тебя пустит, или живи один — Столбы большие.

— Боюсь, ты один останешься, Хасан,— насмешливо сказал Цыган.— Кто со мной? — оглядел он абреков.— Есть здесь вольные абреки? Или только быдло рабочее? Сегодня на «грифов» пашете, завтра он вас погонит «беркутам» сортир чистить!

— Полегче, Цыган! — угрожающе сказал Гуляш.— Иди по-тихому!

— Ну что ж, значит не по пути,— усмехнулся Цыган. Он снял феску и бросил на камень.— Пошли,— обнял он Дуську.

Та молча сбросила его руку.

— Ты-то куда выступаешь, тетка! — Цыган грубо схватил ее — и тут же отскочил. Дуська держала у пояса короткий кавказский нож.

— Девочку нашел? Поиграли и хватит. Иди, Цыган.

— Позовете еще.— Цыган плюнул и шагнул в темноту.

На Скитальце стало тихо. Абреки сидели, не глядя друг на друга.

— Чего закисло? — спросил Хасан.— Славно день прожили. Нахал, давай гитару!

Он пощипал струны, настраиваясь.

— Хасан! — окликнули его из темноты. Молоденький «беркутенок» топтался, не решаясь ступить на Скиталец.— На одно слово... Хасан подошел.

— Пиночет Совет старших собирает в «Изюбрях»,— сообщил тот вполголоса.— За тобой послали.

— Зачем? Виделись сегодня. И завтра увидимся на Грифах.

— Мне знать не положено. Все собрались уж. Тебя ждут.

— Передай — сейчас буду.

Когда Хасан, припозднившись для приличия минут на десять, вошел в низкую прокопченную избу «изюбрей», разговор тотчас оборвался на полуслове. За длинным столом под «летучей мышью» сидели Пиночет, старший «изюбрей» Грач, Папа Док, по человеку от всех других изб. Для Хасана оставлено было одно место — чуть отодвинутый от стола чурбак, так что сел он как бы не в круг, а против остальных.

Хасан оглядел молчащее собрание.

— Про что заседаем?

Грач выдержал паузу, достал из кармана гимнастерки красную книжицу и поставил перед собой гербом к Хасану. Тот покосился на нее:

— Мент?

— Уголовный розыск.

— В «изюбрях» сроду ни одного приличного человека не было, — усмехнулся Хасан.

— Ты брось свои шуточки, — сказал Грач. — Не до смеха... Розыск на тебя, Хасан.

— Какой розыск? — Хасан не то чтобы дрогнул, но ссутулился, напрягся на своем чурбаке.

— Какой?.. «Бежал из мест заключения особо опасный преступник», приметы — все как положено. «Принять меры к задержанию...» А ты думал какой? «Награда ищет героя»?

— Врешь! — тяжело сказал Хасан. — Я в мертвых числюсь.

— Числился. — Грач спрятал удостоверение. — До вчера... И не искали б тебя, если бы тихо здесь сидел.

— Я десять лет тихо сидел, — сказал Хасан. — Не для того бежал, чтоб по углам тыриться... Ну, чего собрались? Сдавать меня решили? — Он выхватил кинжал и с размаху вогнал его в столешницу. — Кто первый рискнет?

Все молчали, отводя глаза.

— Никто тебя сдавать не будет, — сказал Пиночет. — Сам пойдешь и сдашься.

— Что? — Хасан засмеялся даже. — Шутишь?

— Торгаши и администрация подняли большую шумер в городе, — снова заговорил Грач. — С меня могут снять погоны за это, но все-таки скажу: утром здесь будет облава. Серьезная облава, Хасан. Не наши ребята с дубинками, а два батальона «черных беретов». Они будут мести подчистую.

— Ты первый закричал, Хасан: давайте вместе, давайте соберемся, иначе не спасем Столбы! — сказал Пиночет. — Собрались, на-

конец — спасибо тебе... Видишь, как получается: теперь, чтобы спасти Столбы, ты должен уйти. Только ты можешь остановить облаву. Ты же понимаешь, Бурсак не упустит такого случая, всех выметут отсюда, и правых, и виноватых...

— Да ладно, короче! — процедил «бес». — Сам заварил, а нам жопу надерут! Отваливай по-хорошему!

Хасан, как большая нахохлившаяся птица, резко поворачивал голову к каждому говорящему.

— Заткнись! — оборвал «беса» Грач. — Раньше, чем мы встанем из-за этого стола, Хасан, ты должен дать слово, что до рассвета уйдешь — но не в бега опять, а в город сдаваться.

— Не пойму, чего ты вообще сорвался? — пожал плечами Папа Док. — Год остался...

— Год всего? — сдавленным шепотом спросил Хасан. — Всего год? Да ты знаешь, ученый, что такое — год? Тебе рассказать, что такое — один год там? Ты знаешь, что есть такой день, когда — всё! или бежать, или вены грызть! — даже если месяц остался, а ты — год? Ты знаешь, что я десять лет там выжил только потому, что про Столбы мечтал, про каждый камешек! Нет, ученый, я обратно не хочу, я живым не дамся, мне отсюда идти некуда! Это для тебя — год всего, а для меня там — триста шестьдесят пять дней, один за другим! Заседайте, граждане менты и ученые, без меня! Приятно побеседовать! — Хасан встал.

— Да чего с ним разговоры говорить! — крикнул «бес». — Свяжем его и отнесем тепленького!

Хасан вырвал из стола кинжал и повернулся к нему. Все вскочили из-за стола. Хасан исподлобья оглядел каждого по кругу и шагнул к двери.

— Хасан, — негромко сказал высохший, с проваленными щеками и глазами старик из «Музеянки», тихо сидевший до того в дальнем углу, за неярким кругом света «летучей мыши». — Нас ведь немного осталось, кто прежние Столбы помнит. Даже в Совете вот — сколько, пятеро?.. А кто не вас, мелочь зеленую, а самого Скитальца, Али-бабу, Беркута видел — так я один, наверное... Я восемь лет в ГУЛАГе оставил, Хасан. Потом ушел на пересылке, сюда вернулся, сидел на камне до самой смерти Усаото, до амнистии. Я-то тебя понимаю... Но если не уйдешь сейчас — не о чем будет мечтать, Хасан, не будет Столбов, одни камни останутся... Подумай, Хасан...

Хасан остановился на его негромкий голос и молча выслушал.

— Когда облава, Грач? — спросил он.

— В пять.

— Слово абрека, — сказал Хасан и вышел.

Отойди от «Изюбрей» в темноту, Хасан остановился, сгорбился. Достал папиросы. За спиной раздался шаг, он опять схватился за кинжал, но из-за деревьев вышли Дуська, Нахал и еще человек пять абреков.

— Что? — недовольно спросил Хасан. — Все нормально, идите.

Абреки ушли, только Нахал и Дуська остались перед ним.

— Я сказал, один хочу быть!

— О чем говорили, Хасан? — спросила Дуська.

— Не твоего ума дело. — Он двинулся было мимо, но Дуська заступила дорогу.

— Уходишь, Хасан?

— Что? С чего ты взяла?

— Не знаю. — Дуська пристально смотрела на него. — Чувствую.

Хасан сел на камень, закурил.

— Розыск на меня.

— Так ты... — пораженный, начал Нахал.

— В бегах, — кивнул Хасан. Помолчал, тоскливо глядя куда-то в темноту. — Знают они там свою службу, сволочи... Десять лет оттрубил — ни блатным, ни хозяину не кланялся. За это авторитет имел. И тут вдруг хозяин суетиться стал, досрочное для меня хлопотать. Вот тут я и сломался: начал дни считать. А когда время бумаги отправлять, вызвал меня и стал агитировать, — постучать, пока досиживаю. Я его послал, красиво, с оборотами. Досрочка накрылась... А когда дни начнешь считать — уже все, обратно на год не пересчитаешь. Да ночь впереди до весны... У нас в рабочей зоне с трех сторон охрана, а с четвертой — отрицаловка метров на шестьдесят. Туда, месяц как, одного стукача сбросили. Никому и в голову не придет, что можно живым спуститься... Я инструмент на краю оставил, а ватник вниз бросил, на пережат: вроде как труп по камням размазало, а что осталось — вода унесла. А сам на пальцах висел под сапогами у хозяина, когда он обсуждал: сам я бросился или помогли... Даже искать не стали — кто возиться будет, проще акт подмахнуть... Так что я вчера еще трупом был, а сегодня воскрес, когда Бурсак шум поднял. Пошла крутиться машина. Облава завтра...

— Так бежать надо, Хасан! — сказал Нахал.

— И бежать не могу — всех подставляю... Ладно, есть еще время жить. Пошли!..

На Скитальце было сонное царство. Абреки спали наверху, укрывшись кто чем, фески и кинжалы лежали у изголовья. Костер догорал, между углями быстро пробегали последние прозрачные языки огня, их неровный свет достигал только краев камня, и снова казалось, что Скиталец парит в темноте над землей.

Хасан бесшумно ходил по камню, пересту-

пая через абреков, вглядываясь в безмятежные спящие лица.

— Отрубилась — хоть вместе с камнем их грузи, — проворчал он.

— Поднять? — спросил Нахал.

— Тихо! — махнул на него Хасан. Последний раз огляделся и сказал: — Пойду. Перед смертью не надышишься... Нахал — передашь завтра, что и почему. Скажешь, через год вернусь. И смотри, чтоб тогда опять мне все сначала не начинать!..

На Галиной площадке он вынул камень, запирающий тайник, достал свою цивильную одежду. Бросил комом и сел над обрывом, глядя на темное море сосен и серые верхушки столбов, отражающие лунный свет.

— Чего тебе? — не оборачиваясь спросил он.

Дуська вышла из-за камня у него за спиной и тихо села рядом на коленки.

— Всего-то неделю и прожил как человек... — сказал он.

Дуська, уже не сдерживаясь, всхлипнула, прижалась к нему лицом. Хасан растерянно, неумело погладил ее по легким льняным волосам.

— Целая неделя была... — плакала Дуська. — Десять лет ждала: вот вернется Хасан, и все по-другому будет, и я буду другая... Каждый день думала, как сказку на ночь: Хасан самый сильный, Хасан самый умный, он все про меня поймет... А ты не понял ни черта, что я только тебя любила, и когда девчонкой была, и все это время. А как тебя увидела, снова испугалась — кто я такая, оттолкнешь и не заметишь. Подойти боялась без комедии. А теперь не отпущу, не толкай — не оторвешь, — она торопливо целовала его.

Хасан беспомощно сопротивлялся:

— погоди... Я же сейчас хуже пацана, от позора же помру...

— Я тебя заново учить буду.

— погоди, — из последних сил сопротивлялся Хасан. — До рассвета надо уйти...

— Далеко еще... Успеем. — Дуська склонила над ним белое в лунном свете лицо.

Хасан и не спал совсем — только коснулся усталой головой брошенной на камень развилки и тут же снова открыл глаза, но уже солнце стояло над Столбами, утреннее, еще холодное, наискось пробивающее хвою острыми лучами. Но не от солнца проснулся Хасан: в гулкой росистой тишине Столбов ему почудился чужой, но знакомый и страшный звук — где-то лаяли собаки. Не цепные сторожа кордонов и не дворняги-пустобрехи избушек — где-то задыхались в тугих ошейниках, давась слюной и злобой, овчарки, волокущие за собой на поводке конвоиров.

Донеслись крики и команды, грохнул автоматный выстрел, и тотчас, покрывая собачий лай, залаял мегафон, даваясь собственным эхом, — только последнее слово «Стоять!» отчетливо докатилось сюда.

Дуська тоже проснулась и села, щуря от солнца припухшие глаза.

Хасан подхватил корону и, заматывая на ходу кушак, полез выше на столб. Оглянулся с высоты и увидел сквозь клубящуюся хвою неровную цепь «черных беретов» с автоматами наперевес, проводников с собаками и егерей в синих форменках, которые указывали дорогу. В любую сторону, в каждом просвете между сосен мелькали деловитые зеленые человечки с пчелиным жалами автоматных холостых.

Хасан не видел отсюда, как из окруженных «Изюбрей» выбрасывают солдаты полуодетых столбятников и расставляют лицом к стене с руками за голову, не видел, как бросился Пиночет на офицера и сломался пополам о приклад в поддых, как сцепились врукопашную с «черными беретами» «бесы». Не видел, как валится с обрубленными растяжками шатер «Али-бабы» и под опавшим брезентом ползает, перекатываясь друг через дружку, перепуганные пацаны и выскакивают прямо в руки солдат, как смеха ради шугают собаками мирных «музейя», как ведут под конвоем пленных столбятников к тяжелым крытым фургонам у Чертовой кухни, как торопливо опутывают егерь осиротевшие избы плетеным тросом, и трактор, приседая от натуги, растаскивает их по бревнышку. Всего этого не мог видеть Хасан, но по обстоятельной, хозяйской неторопливости облавы понял, что это конец вольных Столбов.

— Опоздал! — отчаянно крикнул Хасан. — Опоздал!

Обдирая в кровь пальцы, он соскользнул вниз. Дуська схватила его за руку:

— Бежим! — Она тянула его от облавы. — Все равно ничего не исправишь! Никому ничего не будет, всех отпустят, они же только тебя ищут! Идем, пожалуйста! — плакала Дуська. — По рассохе вниз — там не догонят! Спрячемся в городе — там легко, там никто никого не знает. Бежим, Хасан!

Хасан остановился в растерянности, оглядываясь на Скиталец, и в этот миг оттуда бухнул гулкий, как пушечный, выстрел из обреза. Шум облавы на мгновение смолк, будто все Столбы обернулись туда. Но гавкнул мегафон, по команде захохотали очередями автоматы, а в ответ нестройно ударили обрезы абреков.

— Их же перебьют всех! — Хасан бросился к стоянке.

Над головой у него визгнули пули, в лицо остро плеснула расщепленная кора. Хасан,

пригибаясь за камнями, перебежками вышел к Скитальцу зади.

Отсюда хорошо видна была цепь солдат — они не ждали отпора, кое-как залегли метрах в ста под стоянкой в редких кустах, за деревьями, за корнями сосен, но все равно были как на ладони у абреков, которые засели в расщелинах больших камней вокруг Скитальца, как на крепостном валу, и сверху поливали солдат картечью. Те били длинными очередями, не видя толком противника — фонтаны стреляных гильз летели в воздух, посверкивая на солнце, а откуда-то из глубины лаля мегафон: «Вторая рота — обходи!» Две спущенные с поводка собаки рванулись вверх, прыгая по камням, как по ступенькам. Тотчас вокруг них плеснула картечная рябь, и обе, визжа, покатились вниз. На Скитальце привстал Цыган, широко махнул рукой — и навстречу солдатам поскочила с металлическим стуком граната. Ухнул взрыв, зазвенели по камням осколки, и тут же налетело, оглушило эхо от Второго.

Трупов еще, кажется, не было, но «черные береты» уже оттаскивали под руки раненого. Наложив в штаны сначала, они теперь все отходили назад и растягивались, чтобы охватить Скиталец вместе со Вторым столбом. Стрелять стали реже, и Хасан перемахнул через открытое пространство к Скитальцу. Абреки стояли на коленях у своих бойниц, выставив наружу обрезы, рядом в фесках лежали поделенные перед боем патроны. Гуляш сидел, привалившись спиной к камню, держась двумя руками за голову, из-под пальцев текла на лицо кровь.

— Кончай пальбу! — заорал Хасан.

Абреки оторвались от прикладов и обернулись к нему. Хасан вырвал у одного обрез и швырнул через камни вниз.

— В войну играем? Или жить кому-то наскучило? Герои, твою мать! Бросай обрезы!

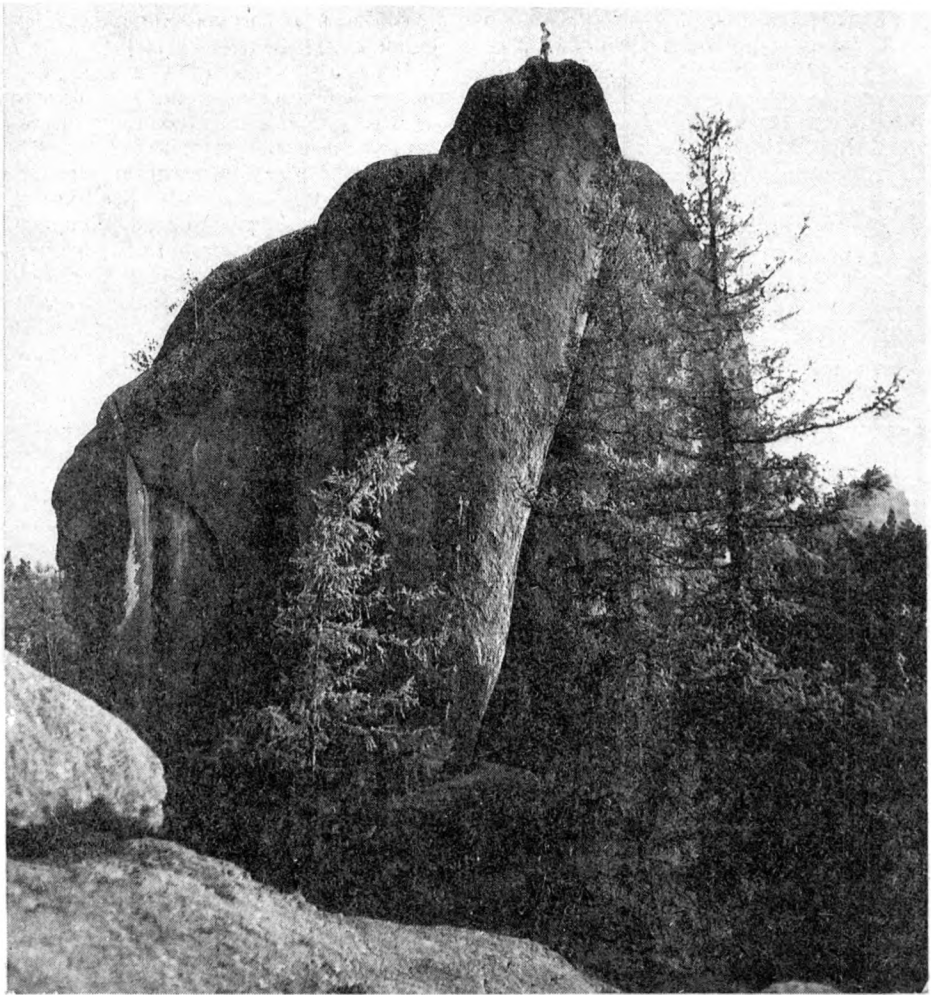
Абреки молча переводили глаза с него на поднывавшего из своего укрытия Цыгана.

— Ты все сказал? — тихо спросил Цыган. В руке у него был морской парабеллум с полуметровым голым стволом. — А теперь вали отсюда, папаша, пока я тебя на месте не кончил!

— Я же приказал утопить все оружие, — с ненавистью глядя на него, сказал Хасан.

— А кто ты такой, чтобы здесь приказывать? Как речи толкать или песенки петь — это ты главный, а как делом запахло — очко заиграло? Так это ты ошибся, папаша, ты с пионерами песни пой, а мы — абреки! Абреки живыми не сдаются — так, ребята? — обвел он горящими глазами абреков. — Ну, давай, беги — трусцой от инфаркта. Считаю до трех: раз... — Цыган поднял пистолет. — Два...

Над самой головой у них веером махнула автоматная очередь, оба пригнулись, и тут же



Хасан перехватил длинный ствол парабеллума и всем весом ударил Цыгана лбом в лицо. Пуля ушла в небо, пистолет отлетел в сторону. Цыган рухнул навзничь, закрывшись руками, медленно, со стоном перевернулся, подтянув под себя колени, — и вдруг подсек Хасана ногами и прыгнул, пытаясь дотянуться до пистолета. Они сцепились и покатались по земле. Абреки толпились вокруг, растерянно глядя то на них, то вниз за камни, откуда приближались осмелевшие «черные береты».

Цыган был моложе и сильнее, он пролез пятерней к его горлу и впился пальцами. Сквозь багровые вспышки в глазах Хасан видел у самого лица его победный оскал.

Вдруг Цыган дернулся и безвольно упал головой ему на грудь — это Дуська подхватила пистолет за ствол и махнула тяжелой рукояткой, как мотыгой.

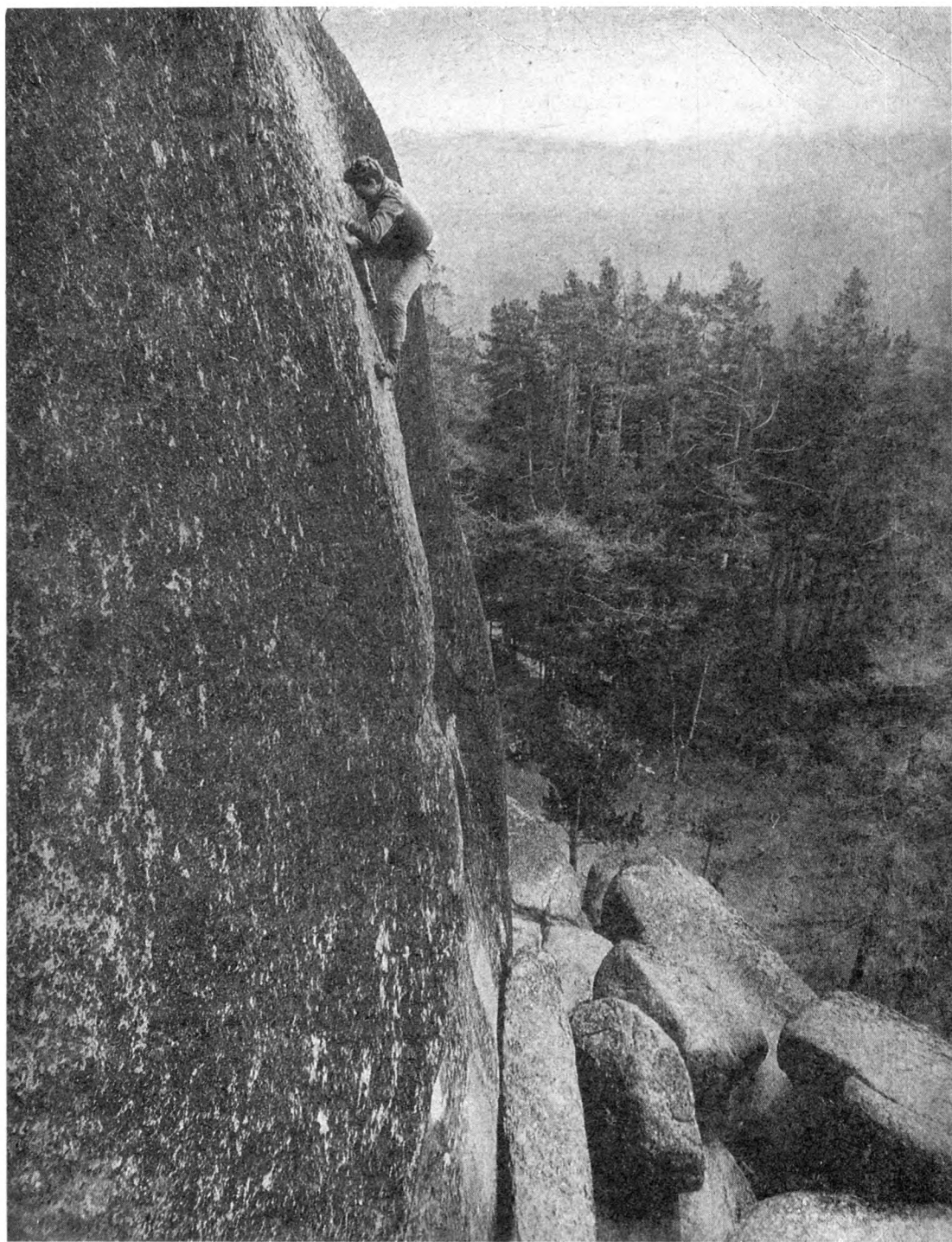
Хасан сбросил с себя обмякшего врага и поднялся на нетвердых ногах.

— Бежим! — Дуська отшвырнула пистолет. — Бежим, Хасан, еще успеем.

Хасан оглядел абреков. Те по-прежнему стояли вокруг, сжимая опущенные обрезы, отводя глаза. Хасан поднял с земли корону, отряхнул о колено и надел.

— Куда ж я со Столбов, — сказал он. — Других нет.

Он запрыгнул на Скиталец и встал в рост



на виду у солдат, подняв руку. Кто-то снизу выстрелил по инерции, пули свистнули рядом, но Хасан не шелохнулся.

— Не стрелять! — пролаял мегафон.

— Эй, начальник! — крикнул Хасан, отыскав глазами офицера с матюгальником, рядом с которым поспешал торжествующий Бурсак. — Перед тем как вертеть еще одну дырку на погонах за эту победу — напиши, а потом повтори на суде, что это я, Хасан, раздал им оружие, и только я отвечаю за вашу кровь! А сейчас они добровольно сдают оружие!

Он обернулся к абрекам и сказал:

— Это мой последний приказ.

Нахал первый встал рядом с ним и бросил вниз обрез. Следом, один за другим побросали остальные.

Солдаты, все еще настороженно держа абреков на мушке, обтекали Скиталец с двух сторон.

— Эй, шпана! Руки за голову — и по одному вниз! А ты — на месте! — пролаял офицер.

— А за мной побегаешь маленько! — засмеялся Хасан. — Твое дело догонять, овчарка ментовская! — Он повернулся и не торопясь пошел ко Второму.

— Стой! Стрелять буду!

Хасан не обернулся.

Ударил два предупредительных выстрела в воздух — он подошел к каменной стене, глянул на уходящую в бесконечность вершину и легко, красиво двинул вверх, ни на мгновение не задерживаясь на месте, будто плыл по вертикали.

Чужие голоса остались внизу. Хасан слышал только свое дыхание, отраженное от камня, скрип калош и шум сосен. Он поднялся на Свободу, просторный карниз, где сто лет назад написаны были и каждую весну обводились громадные буквы — «СВОБОДА» — и выше подниматься не стал: оттуда его было бы плохо слышно. Он глянул вниз — солдаты и абреки толпились у столба, задрав к нему лица.

— Спускайся, не дури! — сказал мегафон. — Заповедник оцеплен.

— Давай ты сюда, — поманил его Хасан. — Я уже одного научил летать десять лет назад!

— Не тяни время, Хасан! — раздраженно сказал начальник. — Побегал и хватит. Вызовем скалолазов — снимем силой!

— Да пуская сидит, — радостно крикнул Бурсак. — Жрать захочет — слезет! Или жить там будешь, Хасан, гнездо совьешь? Голубку твою к тебе посадим! — указал он на Дуську. Солдаты захохотали.

Но Хасан не собирался долго торчать на камне, растягивая радость врагу.

— Слушай, Бурсак! — закричал он, наклонившись над обрывом. — Ты двадцать лет

прожил на Столбах и еще двадцать проживешь! Но тебя забудут даже собственные дети на следующее утро после того, как ты сдохнешь, и никогда — слышишь, Бурсак? — никогда твое имя не напишут вот здесь! — он ударил ладонью по теплomu мшистому камню. Потом снял корону и отыскал глазами Нахала.

— Держи, Нахал! — крикнул он. — Ты еще молодой, но это пройдет. Назначаю тебя новым королем абреков. Носи, а после себя передай достойному! — Он бросил корону, та полетела вниз, зависая и качаясь из стороны в сторону, как багряный осенний лист.

Корона упала поодаль, ее подняли солдаты. Нахал двинулся за короной, его оттолкнули прикладом.

— Отдайте, черт с ним, — сказал офицер.

— А это тебе для отчета, начальник! — Хасан сломал о камень кинжал и тоже бросил вниз. — Дуська, не думай про меня, но не забывай!

— Кончай спектакль! — крикнул офицер.

— Не торопись, уже скоро! — весело ответил Хасан. Он подумал, что действительно, пора кончать, что всеми этими речами он просто позорно тянет время — и чуть шагнул вперед, наступив на кромку.

— Не надо, Хасан! — закричала Дуська. — Я буду ждать тебя, не надо! Я буду ждать! — Она рвалась к столбу, двое солдат повисли на ней.

— Эй, стой! Не дури! — испуганно ахнул мегафон.

Хасан оглядел зеленые волны сосновых верхушек и серые камни столбов. И еще дальше посмотрел Хасан, на неровный горизонт. Он удивленно подумал, что мир огромен, а его жизнь почему-то заперта на этом крошечном пятачке, окруженном солдатами, и не может он перемахнуть куда-нибудь туда, в бесконечное зеленое пространство, где никого нет, где тихо и только первые тяжелые капли дождя пробивают хвою и исчезают в траве.

Две равновеликие силы владели им всю его жизнь на Столбах, тянули в разные стороны: одна — непонятная, необъяснимая — завораживала и мягко манила вниз, в пустоту, другая — грубая, живая, горячо пульсирующая где-то под ребрами — властно прижимала его к камню. Впервые Хасан оторвался от спасительного камня и сам качнулся навстречу звенящей пустоте.

— Назовете это — Большой Прыжок Хасана! — весело крикнул он. — Хотел бы я посмотреть, кто сможет повторить!

Он изо всех сил толкнулся от карниза и прижал к себе руки, чтобы в последний момент не цепляться за жизнь, чтобы запомнилось красиво.

Диалог: Шредер — Скорсезе

Это интервью для "Кайе дю Сине-ма" состоялось 29 января 1982 года на квартире Мартина Скорсезе в нижней части Манхэттена. Всю ночь до этого Марти монтировал фильм "Король Комедии", ("The King of Comedy"), я же всю ночь провел по ночным клубам верхнего Вестсайда. Мы начали разговор в семь утра, когда солнечный свет уже струился через окна, выходящие на Гудзон. В течение первого часа мы обсуждали американское кино; еще один час мы говорили о нашей совместной работе.

I

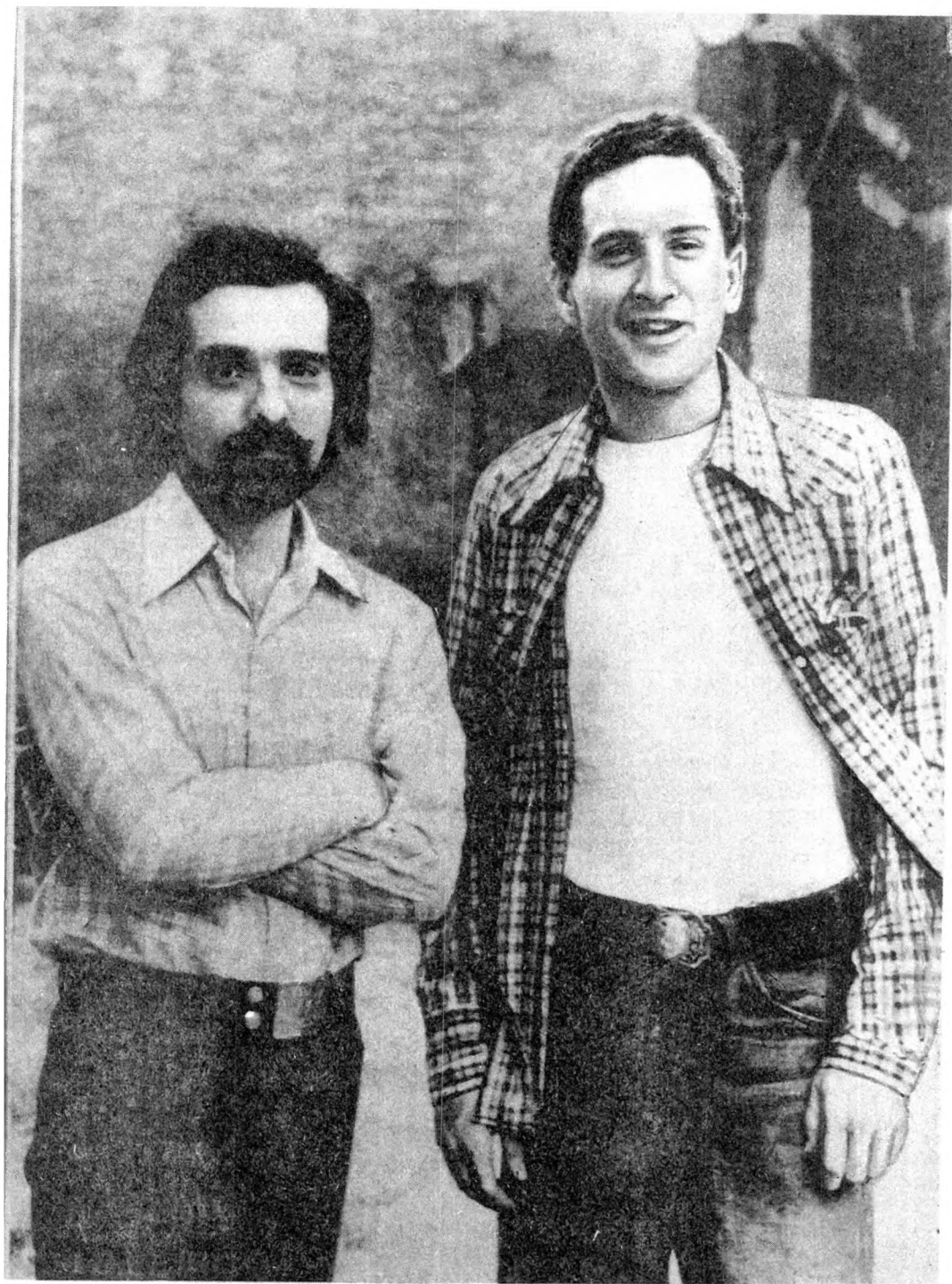
Пол Шредер. Какие фильмы привлекали тебя, когда ты был подростком?

Мартин Скорсезе. Таких фильмов очень и очень много. Я буду говорить о тех, что сразу приходят на память. Первым запомнившимся впечатлением от кино, куда меня водил отец, был рекламный ролик, в котором Рой Роджерс на лошади прыгал через бревно. Отец меня спросил: «Ты знаешь, что такое Триггер?» Я сказал, что триггер есть триггер, то есть спусковой крючок. (Скорсезе при этом показывает, как он пальцем нажимает на спусковой крючок воображаемого пистолета.) Мне было то ли три, то ли четыре года. Отец сказал: «Нет. Это имя лошади». И была это — замечательная лошадь, и парень с бахромой, который прыгал и летал по воздуху, как ангел.

* Trigger (англ.) — спусковой крючок.



П. Шредер



М. Скорсезе

Р. Де Ниро

С тех пор я всегда мечтал стать ковбоем и таким и не стал.

Шредер. Какие фильмы ты любил смотреть, когда тебе было семь-десять лет?

Скорсезе. В основном вестерны. «Дуэль на солнце» («Duel in the Sun»). Моя мать повела меня на этот фильм. Не знаю почему, но фильм произвел на меня большое впечатление. Я люблю его до сих пор. Почему-то я не мог смотреть финал — прикрывал глаза. Я воспринимал его как фильм ужасов. Двое так сильно любили друг друга, что вынуждены были друг друга убить. Это восприятие живо по сей день.

Шредер. Кто были те первые женщины, в которых на экране ты увидел именно женщин?..

Скорсезе. Женщины, которыми я хотел обладать, или те, которые мне нравились чисто внешне?

Шредер. И то, и другое.

Скорсезе. И хотелось ли мне дотронуться до них?

Шредер. Да.

Скорсезе. В Барбару Бриттон я был влюблен до сумасшествия. Вообще Барбара Бриттон и Джон Пейн были моими любимыми актерами.

Шредер. Сколько лет тебе было тогда?

Скорсезе. Около десяти. «Я убил Джесси Джеймса» («I shot Jesse James»). Помнишь, Барбара Бриттон играла в этом фильме? Я помню, как я ехал в автобусе смотреть этот фильм. Помню, как недоумевал, глядя на людей. Что случилось? Неужели они не понимают, что сейчас показывают «Я убил Джесси Джеймса». А они едут в автобусе как ни в чем не бывало. Почему они не едут в кинотеатр?

Шредер. Она была твоим первым сильным увлечением?

Скорсезе. Тогда же, в 1956 году я увидел фотографию Элизабет Тейлор на обложке журнала «Лайф». Она сидела на кровати. Это был кадр из фильма «Великан» («Giant»). Она была очень красива. Да, была еще Джин Симмонс в «Великих ожиданиях» («Great Expectations»). Она была очаровательна, как всегда.

Шредер. В детстве мне не разрешали ходить в кино. Одним из первых фильмов, которые я посмотрел, был «Wild in the Country» с участием Пресли и Тьюзди Уелд. В то время Тьюзди было шестнадцать лет, и она была моим первым сильным увлечением. Когда я приехал в Голливуд, со мной произошел один из самых забавных случаев в жизни: во время собеседования при приеме на работу я оказался в одной комнате с Тьюзди Уелд. А мне казалось, что она жила на другой планете.

Скорсезе. Вообще женщины в кино никогда меня особенно не интересовали. Не знаю, почему...

Шредер. Позволь не согласиться, потому что, только что прочитав твой сценарий «Иерусалим, Иерусалим» («Jerusalem, Jerusalem»), я узнал, какое огромное влияние фильмы оказывают на тебя с сексуальной точки зрения.

Скорсезе. Если не считать «Дуэль на солнце» («Duel in the Sun»), то одним из первых сексуальных кинообразов, запомнившимся мне, был в фильме «Питер Пэн» («Peter Pan»). В одном эпизоде, когда Уэнди перебирается по камням, она приподнимает платье, и мы видим ее ножку. Это совершенно замечательно. Майкл Пауэлл прав, называя Диснея подлинным гением. У Уэнди была замечательная ножка. Я не шушу. Для меня это было потрясение. Я сказал: «Вот это да. Я влюблен в Уэнди».

Шредер. Старик Уолт знал, на какие кнопки нажимать.

Скорсезе. Моя тетьа Мэри, которая была женщиной очень строгой, взяла меня как-то с собой в кино на «Бэмби» («Bamby») и «Из прошлого...» («Out of the Past»).

Шредер. С кем ты себя видел, с Митчем, Дуглас или Грир?

Скорсезе. Забудь о женщинах, я помню только плащи. Но в течение всего фильма я спрашивал: «Когда будет Бэмби?» А тетка отвечала: «Замолчи, или я не знаю, что сделаю тебе».

Шредер. К двенадцати годам ты стал чувствовать зуд в одном месте.

Скорсезе. Точно, как в фильмах «Школьный друг» («High School Confidential») с Джерри Ли Льюисом и «Джунгли у доски» («Black board Jungle»). Секс пришел на экран вместе с музыкой. Мой отец сидел рядом и был потрясен. Когда появилась заставка Эм-Джи-Эм и мы услышали голос Билла Хейли...

Шредер. Когда произошло осознание того, что помимо любимых, доморощенных фильмов существует еще и зарубежное кино?

Скорсезе. В 1948 году отец купил телевизор с экраном в 16 дюймов. В то время по телевизору показывали массу художественных фильмов. Два раза в месяц по пятницам шли итальянские фильмы... Показывали такие картины, как «Паиса» («Paiza») и «Похитители велосипедов» («Bicycle Thieves»). Моя бабушка и мать плакали.

Шредер. Был ли момент, когда американское кино для тебя отделилось от неамериканского кино?

Скорсезе. В 1958 году, когда я открыл для себя Бергмана: «Лето с Моникой», «Стыд» («A Secret Shame of Love»), «Улыбки летней ночи» («Smiles of a Summer Night») до сих пор еще не понимаю...

Шредер. Да, в моем юношеском сознании я приравнивал «Улыбки летней ночи» к филь-

му «Аморальный господин Т.» («The Immoral Mr. T's»).

Скорсезе. Когда мне было 22 года, я все-таки посмотрел «Аморального господина Т.». Тогда же я посмотрел «Седьмую печать» («Seventh Seal») и понял, что, конечно, все великие кинорежиссеры жили в Европе. Года три у меня было эдакое снобистское отношение к американским фильмам, которые я считал плохими. Затем в 1961 году в журнале «Филм Калчер» я прочитал статью Эндрю Сарриса и внимательно стал изучать списки фильмов и подчеркивать все фильмы, которые видел, а те, что мне понравились, отмечал звездочкой. Больше всего мне нравились картины Джона Форда, а это были не одни только вестерны.

Шредер. И тут ты понял, что можешь выражать мысли при помощи кино...

Скорсезе. Но «Седьмая печать» также и очень эмоциональный фильм. Помнишь, когда приходят кающиеся грешники...

Шредер. Я заметил, что в сценарии «Иерусалим, Иерусалим» ты ссылаешься на фильм «Дневник сельского священника». («Diary of a Country Priest»). Когда ты посмотрел его?

Скорсезе. Примерно в 1964 году. Должен признаться, что мне трудно вновь смотреть этот фильм, равно как и фильм «Ордет» («Ordet»).

Шредер. Я смотрю их раз в год. Мне трудно смотреть «Путешествие в Италию...» («Voyage in Italy»).

Скорсезе. «Путешествие в Италию» я могу смотреть без конца. Я плачу и схожу с ума.

Шредер. Ты хотел бы, чтобы история запомнила тебя?

Скорсезе. Я не уверен, что я ответил бы на этот вопрос кому-то другому. Да, вероятнее всего, хотел бы. Не знаю, почему.

Шредер. Если бы тебе пришлось выбирать...

Скорсезе. Если хочешь, чтобы тебя запомнили, надо забыть про судьбу и спасение души. Как можно забыть это? Никак.

Шредер. Если бы тебе пришлось выбирать между тем, чтобы тебя запомнили, и самовыражением, что бы ты выбрал?

Скорсезе. Надо самовыражаться. Необходимо быть довольным самим собой... Не обязательно быть счастливым. Можно быть и несчастным, но выразить себя.

Шредер. Следовательно, к черту историю, когда дело доходит до самовыражения личности?

Скорсезе. Очень трудно найти замену тому, во что ты веришь. В спасение души. Какой бы она ни была — пресвитерианской, еврейской, католической или какой-либо другой. Ты понимаешь, о чем я говорю? Если сейчас у тебя нет веры в это, то ты мертв.

Шредер. Я был в Амстердаме в музее, где

все посвящено Ван Гогу. Его 39-летней несчастной, мученической жизни. И я помню, что мне в голову пришла одна мысль: «Если бы мне сейчас сказали, что мы построим музей в твою честь, если ты проживешь такую же жизнь, как Ван Гог...» И я сказал...

Скорсезе. Я думаю — я пас.

Шредер. Именно. Были ли моменты, когда остаться в памяти было более важным?

Скорсезе. Да, когда я пытался сделать «Злые улицы» («Mean Streets»). Когда я экспериментировал в «Алисе» и «Таксисте» («Айсе», «Taxi Driver»). Я только что нашел 8-миллиметровую пленку, на которой снято, как ты, я и Вернон Циммерман играем в боулинг в Лос-Анджелесе. Замечательная пленка. Пришла из хранилища, и я ее смонтировала.

Шредер. Я не помню.

Скорсезе. Замечательная пленка. Это было прекрасно, потому что это было примерно за месяц до того, как все случилось. В то воскресное утро с Майклом и Джулией ((Филипс) — продюсерами «Таксиста»), когда все началось и потом успешно закончилось. Мы сделали этот фильм, потому что чувствовали что-то в духе «Записок из подполья».

Шредер. Это счастье успеха, который позволяет тебе жить, не задумываясь о том, будут ли тебя помнить.

Скорсезе. Знаешь, когда мы делали «Таксиста», это было будто большущее примечание к моей жизни. Потому что так и было. Если кто-то через тысячу лет раскопает эту вещь (а титры на ней не сохранятся, или, если сохранятся, то они не смогут их прочесть) и поймет ее, все равно это не значит — остаться в памяти.

Шредер. Для неизвестного божества...

Скорсезе. Совершенно верно. Процесс создания фильма был для меня важнее конечного результата. Ты помнишь, что на второй неделе работы я чуть было не остановился. Я до того был влюблен в этот фильм, что хотел его уничтожить. Если он не получается так, как надо, уничтожь его. Если кто-то собирает его уничтожить, почему не тебе сделать это? Твоя обязанность его уничтожить. Это как в конце фильма «Первоисточник» («The Horse's Mouth»), который я смотрел множество раз. Там Алек Гиннесс разрушает стену. Он считает: «Я тоже могу это сделать». Черт возьми. Его игра передает все настроение. Это замечательно. Так или иначе, в то время я занимался эквилибристикой. «Злые улицы». Ты знаешь, я никогда не думал, что фильм будет выпущен. Я говорил, что если через 20 лет кто-то посмотрит этот фильм, он увидит, как жили и разговаривали американцы итальянского происхождения. Я был очень удивлен, когда люди придирались к нему. А здесь вся

моя жизнь. Еще одна вещь, которая давала мне такое же горение, это «Таксист».

Шредер. Ты считаешь себя стопроцентным американцем?

Скорсезе. Да.

Шредер. Если бы ты больше не работал в этой стране, где бы ты работал?

Скорсезе. Ты предполагаешь, что я даже продолжал бы делать картины? В таком случае, я думаю, у меня был бы один крупный недостаток — не было бы чувства слова, фразы. Думаю, я был бы очень скован, если бы не знал языка до тонкостей.

Шредер. Тебе бы хотелось работать в Италии?

Скорсезе. Я бы попытался. У меня трудности с итальянским языком. Французский знаю лучше итальянского, но и с ним не чувствую себя комфортно. Первый раз был в Риме в 1970 году. Теперь вместе с женой мы постоянно ездим туда-сюда. Я понимаю жесты, движения, гортанные звуки итальянского, мне неважно, что значат слова. Тем не менее, у меня есть проблемы с изучением этого языка, потому что мои дед с бабушкой были очень строгие люди и, когда они оставались со мной и с братом, бывало кричали на меня: «Твой брат говорит по-итальянски лучше тебя». Это синдром старшего брата. «Бешеный бык» вырос из этого.

Шредер. Какие американские фильмы или сцены из этих фильмов дольше всего живут с тобой: повлияли на твою жизнь с эмоциональной, философской, сексуальной точки зрения?..

Скорсезе. Дай подумать пару секунд.

Шредер. Конечно.

Скорсезе. Это длинный список.

Шредер. У меня тоже.

Скорсезе. Видимо, «Общественный враг» («Public Enemy»). Этот фильм до сих пор имеет на меня влияние. В нем прекрасно использована музыка. Когда мне было тринадцать лет, мы с приятелями пошли смотреть «Искателей» («The Searchers»). Пришли на середину сеанса, но картина осталась со мной на много лет. «Красные ботинки» («The Red Shoes»), «Река» («The River») Ренуара. Как он использовал музыку!

Шредер. У меня меньше воспоминаний, и они более разрозненные. Джимми Стюарт, плачущий возле своей лошади в «Обнаженной шпоре» («Naked Spur»), Джон Уэйн, не позволяющий смотреть Джеффри Хантеру в «Искателях». Ким Новак, входящая в залитую неоновым светом зеленую комнату в «Вертиго» («Vertigo»), Квинлан в «Прикосновении зла» («Touch of Evil»), водяная сцена в «Восходе» («Sunrise»). Мне кажется, что ты говоришь больше в техническом ключе...

Скорсезе. Нет, нет. Я не говорю о техничес-

кой стороне. Я говорю о полученном удовольствии. В течение последних десяти лет я мог смотреть «Прикосновение зла» и получать удовольствие. Когда я впервые посмотрел его, разбирал его подробно, по деталям. Я помню свое эмоциональное восприятие французского фильма режиссера Аллегре с участием Жерара Филипа «Горделивые». В этом фильме есть одна из самых пикантных любовных сцен во всем мировом кино — Мишель Морган в комнате наедине со своим почитателем: я говорю об эмоциональном уровне. Ты говоришь о зеленых комнатах, но я, когда смотрел «Вертиго», был напуган. Не знаю, почему.

Шредер. Для меня это самый сексуальный американский фильм.

Скорсезе. Я вообще не воспринимаю его таким образом. Это фильм-мистерия. Не детектив. В нем есть тема обреченности и судьбы. Когда в последнем кадре появляется человек, мы уже все мертвые. Мы все направляемся в ад, вот и все.

2

Шредер. Я бы хотел задать тебе несколько личных вопросов. Ты, Де Ниро и я вместе работали над двумя фильмами и сейчас, видимо, будем работать над третьим. Как ты относишься к этому сотрудничеству?

Скорсезе. В данный момент?

Шредер. В момент работы.

Скорсезе. Ты хочешь спросить, как я работаю с Де Ниро?

Шредер. Да. И со мной.

Скорсезе. Я работал с Харви Кейтлом над фильмом «Кто стучится в мою дверь?» Затем через Брайана Де Пальму я встретил Боба. Тогда наши отношения были несколько другими. Мне очень нравилось то, что он сделал в «Злых улицах», мы работали душа в душу. Но, так или иначе, в течение работы над фильмом Боб, который, как ты знаешь, очень немногословен, в отличие от нас с Харви, обнаружил, что его интересуют те же самые вещи, что и нас. Одним из его интересов стал «Таксист». Мы все понимали это одинаково, произошло полное единение в работе. Дело в том, что фильм «Нью-Йорк, Нью-Йорк» стал пробным камнем для меня и Боба. Мы могли дурить, импровизировать, не зная, будем ли еще работать вместе. Съемки были трудными, длились 22 недели. Когда снимаешь так долго, личная жизнь разваливается. В общем, старая история. Так или иначе, это было большим испытанием для нас с Бобом, но мы все преодолели. В общем, мы пытались сказать одни и те же вещи разными способами. В «Бешеном быке», например, он не говорил, что

хотел сказать, я не говорил, что я хотел сказать, но все сказано. Мы оба удовлетворены. Я не говорю о том, хороший это или плохой фильм, я говорю, что в нем сказано всё, что мы хотели сказать. В этот момент появился ты. Ты хочешь, чтобы я об этом тоже поговорил?

Шредер. Сначала я скажу о том, как я вижу свою роль. Есть семь-восемь режиссеров, с которыми я бы хотел работать.

Скорсезе. Это много.

Шредер. К сожалению, большинство из этих семи-восьми режиссеров не уважают мою свободу как писателя, потому что они хотят писать сами. Кто-то должен в дудку дуть, а кто-то плясать. Так вот я плохой танцор. Ты один из немногих, если не единственный, режиссер, который уважает меня как писателя. С другой стороны, я уважаю тебя как режиссера. Думаю, что я способен дать три вещи: тему, характер, структуру. Это моя работа. Я даю это и ухожу в сторону.

Скорсезе. Да, но ты еще пишешь диалоги, в «Таксисте», например, к которым я отношусь серьезно...

Шредер. Я обнаружил, что большинство режиссеров со скрипом принимают тему, характер и структуру писателя.

Скорсезе. С «Бешеным быком» мы попросили тебя прийти на помощь. Мне всегда был неприятен этот разговор, потому что Мардик Мартин (автор первого варианта сценария фильма «Бешеный бык») мне как брат, мы с ним знакомы уже двадцать лет — это человек, ближе которого у меня никого не было в течение двадцати лет. Он был рядом во время моих кризисов, всех моих успехов и неудач. Мы начали писать сценарий «Бешеного быка» во время работы над фильмом «Нью-Йорк, Нью-Йорк». И тут я должен официально заявить, что, к сожалению, никаких направляющих инструкций от меня он не получил. Я закрутился со сценарием «Нью-Йорк, Нью-Йорк», решая, что снимать на следующее утро. Все работали над этим (Эрл Макроч, сценарист, Ирвин Винклер, продюсер, Джулия, моя вторая жена). Но когда Мардик принес сценарий «Бешеного быка», у него там было двадцать пять вариантов истории, потому что все действующие лица были живыми. Нам с Бобом показалось, что если бы ты пришел — это было бы очень полезно для работы. Между прочим, тогда я еще не принял решения о том, буду ли ставить эту картину. Когда мы все встретились у Массо-Франка, ты сразу же предложил один образ, — сцену мастурбации в тюремной камере, — который так и не вошел в фильм, что вполне нормально, потому что он все равно в фильме присутствует...

Шредер. До сих пор я считаю, что это одна из лучших сцен, когда-либо мною написанных. (Я имею в виду длинный монолог Джей-

ка Ла Мотты, занятого мастурбацией в камере одиночного заключения.)

Скорсезе. На бумаге все великолепно, но как это снимать? Я устанавливаю камеру, темнота, ни черта не разберешь, что происходит. Кроме того, и видеть этого парня не хочется. Оставь его. Я не хочу больше знать его. Отпусти меня домой. Я не пойду смотреть свои картины. Забавное замечание, но это так. Я не видел картины с тех пор, как закончил работу над ней. Но, когда ты предложил эту идею у Массо-Франка, я понял, что ты понимаешь что-то изнутри, глубоко. Как ты говоришь, ты даешь структуру, а я заполняю ее деталями. Что-то вроде этого. Но мне необходима структура, общее направление. В конце концов закончилось тем, что я пережил личный кризис, когда на карту была поставлена моя жизнь; и когда в госпитале один из моих друзей спросил меня: «Ты действительно хочешь ставить эту картину?», я не задумываясь ответил: «Да». Почему? — Потому что я понял, что главным героем был уже не Джейк, а я, Боб, ты, все мы. Работая над структурой фильма в течение шести недель, ты сумел создать ситуацию, суть которой я мог осознать. Ты понимаешь, о чем я говорю?

Шредер. Но «Бешеного быка» писал не я...

Скорсезе. Ты, ты, мой дорогой.

Шредер (смеется). Хорошо.

Скорсезе. Надеюсь, что ты не обидишься, если я скажу, что когда Брайан Де Пальма дал мне экземпляр «Таксиста» и познакомил нас, мне показалось, что я это сам написал — потому что и я именно так чувствовал. Я горел чертовским желанием сделать это. Вот и все, Пол. Ты понимаешь, о чем я говорю?

Шредер. Я понимаю, ведь я это пережил еще сильнее, чем ты.

Скорсезе. Поэтому между нами существует более глубокая связь. Существует еще и связь через человека на экране, этого самого водителя такси.

Шредер. Прошло уже почти десять лет, но я испытываю такие же сильные чувства по поводу фильма «Последнее искушение Христа» («The Last Temptation of Christ») (сценарий, который я писал для Скорсезе на основе романа Никоса Казанцакиса). Это заключительная часть триптиха. Больше не будет средних весовых категорий. На этот раз мы будем иметь дело со страдальцем-тяжеловесом.

Скорсезе. Мне очень нравится этот сценарий, и мы будем над ним работать, но я должен отдохнуть после этой картины.

Шредер. Конечно, ты будешь ее ставить. Потому что, если ты не будешь ее ставить, ее ставить буду я, а ты с этим никогда не смиришься!

Скорсезе. Нет, я этого не выдержу. Я действительно хочу над ней работать. Мне кажется,

я знал, как он выглядит. Человек в тунике, который говорит: «Иди сюда, ты все делаешь не так». Это великолепная идея. Но я не воспринимаю ее в плане средних весовых категорий или тяжеловесов. В христианстве нет людей маленьких. Как в случае с Джейком Ла Моттой. Многие критики называли его животным, они судили о человеке на основе фильма! Во-первых, они не имеют права судить человека. Во-вторых, они имеют дело с квинтэссенцией — когда в одной капле отражается все. И что-то идет от меня, от тебя, от Боба. Но Боб всегда раскрывался по-своему. И поэтому я люблю работать с ним.

Шредер. Скажи, как ты относишься к такому обобщению: «Таксист» больше мой, «Бешеный бык» больше от Боба, а «Последнее искушение» будет больше твоим?

Скорсезе. Это обобщение, и оно неверно. Обобщения никогда не отражают истины. Это похоже на то, когда судят о супружеской жизни и говорят: он прав, а она не права. Она всегда права, она всегда не права, он всегда прав. Нельзя вторгаться в супружескую жизнь. А мы говорим как раз о супружеской жизни.

Шредер. Это совместные работы. Может быть, я просто хотел сказать, что одна работа исходила от меня, другая от Де Ниро, еще одна — от тебя.

Скорсезе. Я ведь тоже и писатель, и актер, но за сценарий отвечаю не я. И это не имеет никакого значения. Мы все пытаемся говорить об одних и тех же вещах своим способом.

Шредер. Когда я был в Швейцарии, купил там три остановки Христа на крестном пути, которые сейчас висят в моем доме. Всякий раз, когда я пьяно спотыкаюсь о ступеньки, поднимаясь вверх по лестнице, я вынужден проходить остановки на крестном пути. Ты все еще чувствуешь себя католиком?

Скорсезе. В смысле принадлежности к церкви?

Шредер. В том смысле, в каком я протестант.

Скорсезе. Я думаю, что да. В самом начале мы говорили о самовыражении, и я сказал тогда, что все имеет свою цену.

Шредер. Так какую роль это играет в твоей жизни?

Скорсезе. Ты имеешь в виду проповеди, исповеди?..

Шредер. Нет, я скорее говорю о сокровенных мыслях, системе образования. Что происходит, когда ты остаешься наедине с самим собой?

Скорсезе. Происходит борьба с дьяволом. Это не пустые слова. Ты понимаешь, что происходит, когда остаешься наедине с самим собой? У меня было бедственное положение, когда я ощущал черный страх смерти, когда у

меня была депрессия, из которой я не мог выйти, а лишь погружался в нее все глубже и глубже. Должно быть что-то, что способно остановить все это. Видимо, я иногда перехватываю в работе. Дело в том, что по достижении определенного возраста, а в этом году мне исполнится сорок, определенные вещи тебя уже не волнуют. Когда мне было 15—16 лет, начались проблемы с мастурбацией, и я думал, что она меня потихоньку dokonает, как Скоби в фильме «Суть дела» («The Heart of the Wattle»).

Шредер. «Иерусалим, Иерусалим» по сути есть дневник онаниста...

Скорсезе. Совершенно верно. Некоторые называют меня онанистом. (Смеется.) Дело в том, что нельзя жить с сознанием вины. Вопрос в том, чтобы научиться контролировать себя. Вот почему я пытаюсь изменить свою жизнь, работая над этим фильмом, пытаюсь сохранить семью. Я переехал из верхней части Манхэттена в нижнюю, в свои старые места. Для меня это очень сложная ситуация, но я стараюсь держаться. Но неприятности на каждом шагу — это жизнь. Вопрос в том, чтобы знать, что для тебя хорошо. Важно работать в своем доме, спускаться вниз на работу, подниматься наверх спать. Важно стать более цельной личностью, оставаясь подолгу наедине с самим собой. Вопрос в том, чтобы суметь преодолеть ощущение того, что жизнь прошла. Слава богу, это уже не ощущение смерти.

Шредер. Привилегия, которой мы пользуемся как режиссеры, создавая мир фантазий...

Скорсезе. Я не умею создавать мир фантазий. Я не верю в это.

Шредер. Хорошо, это — привилегия создавать несуществующие образы, вещи. Позволяет ли тебе эта привилегия, эта свобода жить жизнью твоих героев? До какой степени это помогает ослабить сексуальное напряжение?

Скорсезе. Никак.

Шредер. Для меня фантазии много значат.

Скорсезе. Для меня нет.

Шредер. Это подводит меня к последнему вопросу. Внутренняя борьба, находящая выражение в твоих фильмах, она развивается или повторяется?

Скорсезе. Она повторяется, но...

Шредер. Поскольку она лишь повторяется...

Скорсезе. Она повторяется и развивается. Мы должны давать друг другу силы. Когда ты написал «Последнее искушение Христа», ты дал мне силы. Но если ты что-то вкладываешь в фильм, это не значит, что ты от этого избавляешься. Когда я закончил «Таксиста», я чувствовал себя еще более взвинченным, чем в начале работы.

Шредер. Для меня все было как раз наоборот.

Скорсезе. Есть развитие, я замечал это. Однако есть определенные шаблоны, и с этим надо смириться.

Шредер. Ты один из немногих моих друзей-киношников, с кем я продолжаю работать. С большинством из них я расстался, потому что я не ощущаю их роста. Их повторы

и топтание на месте сдерживают и меня. Поэтому мы разошлись. У тебя же нет другого выбора, как продолжать расти. Ты не мог бы позволить себе не расти.

Скорсезе. Но когда мы встречаемся, наши встречи проходят как-то официально. Чертовски не хватает неформального общения. Ты понимаешь, о чем я говорю?

Шредер. Да, это печально.

ИЗ КЛАССИКИ ЗАРУБЕЖНОГО КИНО

ПОЛ ШРЕДЕР ТАКСИСТ

Прошло несколько недель. В жилище Трэвиса многое изменилось. Длинная голая стена позади стола теперь вся увешана какими-то схемами, фотографиями, вырезками из газет, картами.

На полу посреди комнаты Трэвис в одних джинсах делает отжимания. На левом боку у него длинный шрам.

Трэвис (голос за кадром). 29 мая 1972 года. Я должен привести себя в форму. Сидячий образ жизни разрушил мое тело. По утрам я делаю двадцать пять отжиманий, сто приседаний, сто сгибаний колена. Я бросил курить. (Не дрогнув ни одним мускулом, он проводит рукой над горящей горелкой.) Необходима полная организация. Каждый мускул должен чувствовать нагрузку.

В тире затхлый воздух сотрясают звуки скоростной стрельбы из пистолета. Стены надежно звукоизолированы, на полу разбросаны опилки. Трэвис стоит как вкопанный и стреляет из Магнума, держа револьвер на вытянутой руке. При каждом выстреле тело Трэвиса содрогается, а руку отбрасывает назад, но он быстро занимает исходное положение, воспринимая отдачу от гигантского оружия как прямой вызов его мужской силе. Отстреляв из Магнума, кладет его перед собой, берет Смит-Вессон и, едва прицелившись, возобновляет стрельбу. Затем в дело идет кольт.

Разрядив все пистолеты, он немедленно заряжает их снова.

На красно-белых мишенях черным цветом очерчена человеческая фигура — она бьется в конвульсиях под непрерывным шквалом огня.

Дома у Трэвиса. Он в расстегнутой ковбойке сидит за столом и пишет в дневнике. На столе пузырек с таблетками бензедрина.

Трэвис. Мое тело постоянно сопротивляется: оно не хочет работать, не хочет спать, не хочет ни очищаться, ни есть.

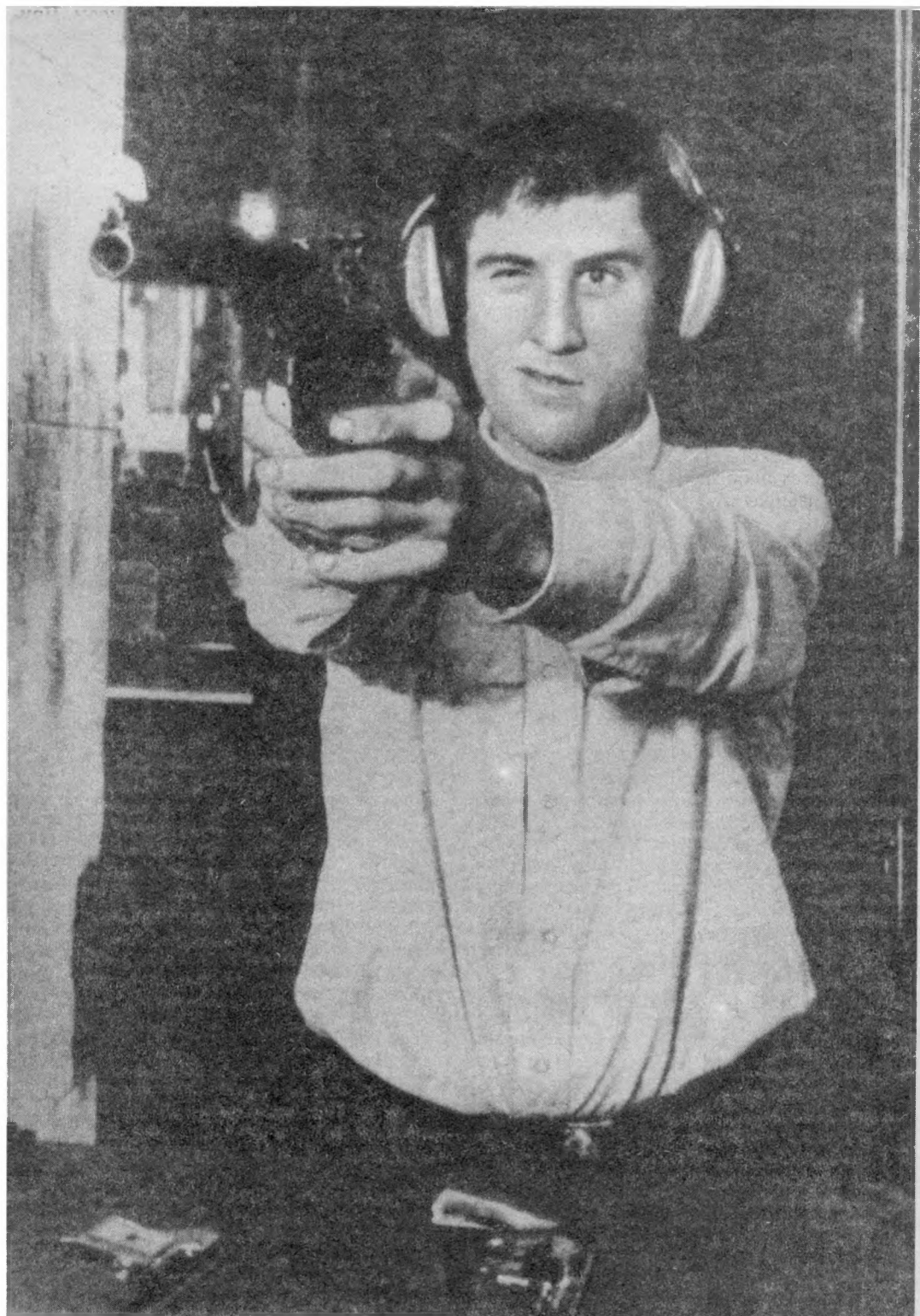
Трэвис смотрит телевизор. Рубаха по-прежнему нараспашку. На коленях у него — револьвер Магнум калибра 0.44.

Телевидение дает вечернее рок-шоу для подростков. На экране — танцующие молодые девчонки. Оператор крупным планом показывает то упругую грудь, то что-нибудь пониже. Как раз в духе Трэвиса. Ничего более бесстыдного, чем подобные рок-шоу, телевидение пока не изобрело.

Танец закончился, и на телеэкране возник диск-жокей — косматый парень с неестественными идиотскими ужимками. Пять сногшибательных девиц буквально висят у него на плечах и на руках, на их лицах — придурковатое благоговение.

Диск-жокей. Уникальное время, чтобы побалдеть и похипповать. Понятно? А раз понятно, не теряйте времени.

Трэвис смотрит телевизор с напряженным, неподвижным лицом и пьет персиковый коньяк.



Двадцать долларов за поездку

Около 6.30 вечера. Машина Трэвиса с зажженным сигналом «смена окончена» стоит у тротуара в средней части Манхэттена.

Трэвис чуть расстегивает молнию и заглядывает под куртку. В кобуре под мышкой прячется никелированный Смит-Вессон.

Вид вниз по улице, на которой стоит машина Трэвиса: через несколько кварталов, украшенный в красные, белые и голубые цвета, виднеется штаб избирательной кампании Палантайна.

Трэвис продолжает наблюдение, затем заводит мотор и едет по направлению к штабу. По пути мелькают витрины магазинов. В штабе лишь несколько преданных сотрудников продолжают работать. Место Бетси пусто. В окне можно прочесть плакат: **ДО ПРИЕЗДА ЧАРЛЬЗА ПАЛАНТАЙНА ОСТАЛОСЬ ВСЕГО ЧЕТЫРЕ ДНЯ.**

Сигнал «смена окончена» гаснет, и машина Трэвиса, набирая скорость, мчится на поиски пассажира.

Около 9.30 вечера. Верхний район Манхэттена — 128-я улица и Амстердам — то, что называется «джунглями». Такси Трэвиса останавливается, из него выходит молодой темнокожий мужчина. Получив плату за проезд и чаевые, Трэвис едет дальше, и сквозь ветровое стекло мы видим, как машина пробирается по Гарлему вниз вдоль Седьмой авеню. Группа молодых черных панков делает вид, что хочет остановить такси. Один из них бросает винную бутылку перед машиной. Бутылка вдребезги разбивается, а машина успевает свернуть в сторону.

Около 12.30 ночи. Трэвис в нижней части Ист Сайда, где-то в районе Би стрит и Томпкинс сквер. Здесь на тротуарах обитают девчонки-проститутки, наркоманы, шпана и изможденного вида одиночки.

Трэвис высаживает пассажира. Дверь не успевает хлопнуться, как в машине оказывается новый пассажир. Трэвис в зеркало осматривает заднее сиденье, на котором устроилась проститутка-хиппи с бледным, изнуренным лицом.

Девчонке в лучшем случае лет четырнадцать-пятнадцать, хотя крашена она так, что выглядит старше. На ней мешковатая одежда в стиле Джэнис Джоплин, голубые очки от солнца и цветастые чулки. Зовут ее Айрис. Айрис. Ну, давайте же. Поехали отсюда быстрее.

Трэвис уже готов включить счетчик, как задняя дверь открывается и какой-то мужчина собирается высадить Айрис из машины.

Спорт (обращаясь к Айрис). Пойдем, детка. Не надо так.

Айрис не сопротивляется. Спорт что-то

бросает на сиденье рядом с Трэвисом. Присмотревшись, он понимает, что это скомканная двадцатидолларовая купюра.

Спорт. Все нормально, шеф. Ничего не было.

Трэвису не удается рассмотреть лицо Спорта, он только видит, что тот одет в пиджак зеленого цвета. Оборачивается, чтобы хоть мельком взглянуть на удаляющихся Айрис и Спорта. И, пожав плечами, вновь берется за баранку...

Мужские забавы перед серьезным делом

Шесть утра. Время окончания смены. Трэвис заезжает в гараж. Некоторое время сидит в машине задумавшись. На сиденье так и лежит смятая двадцатидолларовая бумажка. Трэвис нехотя берет ее, засовывает в карман куртки и идет отмечать путевой лист.

Через некоторое время мы видим Трэвиса у кассы порнокинотеатра. Он достает из кармана куртки скомканные двадцать долларов, но решает не отдавать их, и вынимает деньги из бумажника.

В зале Трэвис занимает свое привычное место, и тени с экрана играют на его лице. Женский голос с экрана (за кадром). Давай, поцелуй меня еще. Как хорошо...

Когда действия на экране становятся слишком откровенными, Трэвис отводит взгляд в сторону. Ладонью правой руки он то закрывает, то приоткрывает глаза.

Женский голос с экрана становится тише и уступает место голосу Трэвиса.

Трэвис (за кадром). Идея созревала в моем мозгу...

Мы видим стену в квартире Трэвиса и можем ясно различить содержание висящих на ней газетных вырезок, заметок, карт, фотографий. Все это имеет отношение к политической деятельности Чарльза Палантайна: статьи о нем, его фотографии, рекламные наклейки, листовки. Здесь же схемы отеля Плаза, аэропорта Кеннеди, план города с какими-то надписями. А вот длинная вырезка из «Нью-Йорк Таймс», в которой подробно описывается работа секретной службы безопасности по усиленной охране участников выборов. Параграф, где речь идет о Палантайне, выделен особо. На стене — листок с надписью «схема передвижений» и календарь на июнь с мелкими надписями поверх чисел.

Трэвис. ...в течение некоторого времени. Настоящая Сила. Никакая королевская рать не сможет ее обуздать.

Трэвис в расстегнутой рубашке, на теле у него пустая кобура, в руке Магнум. Трэвис сам себе демонстрирует свое умение обращаться с оружием: старается как можно быстрее

выхватить Смит-Вессон из кобуры и выстрелить. Затем заводит руку с Магнумом за спину, засовывает пистолет сзади за пояс и вновь выхватывает его. Он крепко держит Магнум в вытянутой руке, напрягая каждый мускул. Он изготовил специальные металлические желобки, которые крепятся на руке вместе с кольцом калибра 0.25. Если нажать пружинку, пистолет по желобкам скатывается прямо в ладонь. К ноге Трэвис привязывает армейский боевой нож, а на джинсах делает надрез, чтобы его легко было выдернуть.

Перед зеркалом Трэвис пытается тщательно спрятать все три пистолета, которые намеревается носить с собой под рубашкой, свитером и курткой. И выглядит как охотник на Северном полюсе.

За столом Трэвис крест-накрест нарезает головки патронов к Магнуму. Смотрит на вещи в своей комнате сквозь прицел Смит-Вессона. Разглядывает висящие на стене вырезки о Палантайне. Взгляд его стекленеет...

Трэвис. Слушайте, вы, сволочи... Есть человек...

Укутанный в рубашку, свитер, куртку, увешанный пистолетами, он ложится на матрац. И хотя комната залита светом, ему удается, наконец, ненадолго уснуть. Огромный мохнатый зверь заполняет его мир.

Трэвис. ...который не будет больше этого терпеть, человек, который пошел против всей этой мрази и грязи. Вот...

Голоса больше не слышно, а видна запись в дневнике Трэвиса, которая заканчивается словом «вот», после него стоят беспорядочные точки.

Случай в магазине

Ночь. Такси скользят по мокрым улицам города. Трэвис останавливается около ночного магазинчика в районе испанского Гарлема. Зайдя в него, жестом приветствует хозяина.

Трэвис. Привет, Мелио.

Из дешевенького радиоприемника доносятся испанские мелодии. Трэвис проходит в дальний конец магазина к молочным продуктам. Берет пинту шоколадного молока и, выбирая в холодильнике бутерброды, слышит чей-то голос. У прилавка молодой темнокожий парень наставляет пистолет на Мелио. Грабитель явно нервничает, кажется, это наркоман, отчаявшийся на последний шаг, — терпеть больше не в состоянии. Он не замечает Трэвиса, а Мелио внимательно следит за его действиями, решая, что же делать...

Грабитель (потрясая пистолетом). Давай пошевеливайся. Быстро, быстро. Посмотрим, сколько у тебя денег.

Недолго думая, Трэвис выхватывает пистолет из кармана куртки.

Трэвис. Привет, браток.

Грабитель с удивлением оборачивается. Грохочет выстрел. Парень с окровавленной челюстью падает на пол. На лице у Трэвиса никаких эмоций. Мелио, держа в руке старенький пистолет, перевешивается через прилавок, чтобы посмотреть на упавшего грабителя. Он готов выстрелить, но понимает — тот уже мертв. Мелио переводит пистолет на Трэвиса, однако сообразив, что опасность позади, опускает оружие.

Мелио. Спасибо. Я рассчитывал укокошить его при выходе.

Трэвис кладет свой пистолет на прилавок. **Трэвис.** Тебе придется прикрывать меня, Мелио. Я не могу ждать, когда приедет полиция. **Мелио.** Как же так? Ты ведь свидетель, Трэвис.

Трэвис. Я никак не могу. А для тебя это пара пустяков. Какой это у тебя по счету? Пятый?

Мелио. Нет. Только четвертый. (Пожимает плечами.) Хорошо, Трэвис. Сделаю, что смогу.

Трэвис. Огромное спасибо.

После ухода Трэвиса Мелио набирает телефонный номер. На полу — окровавленное тело грабителя. Трэвис с пакетом молока и бутербродом идет по пустынному тротуару и забирается к себе в машину...

Мелодрама в середине дня

Вновь мы в квартире Трэвиса. Он смотрит дневную телемелодраму, чистит пистолет и одновременно ест яблочное пюре из банки. Трэвис следит за происходящим на экране с застывшим выражением лица.

Парень из мелодрамы. Это всё только потому, что я ей не нравлюсь?

Девушка из мелодрамы (нерешительно). Ты понимаешь, Джим, мне кажется, что всё это из-за того... я не знаю... из-за того, что ее не устраивают... твои родители.

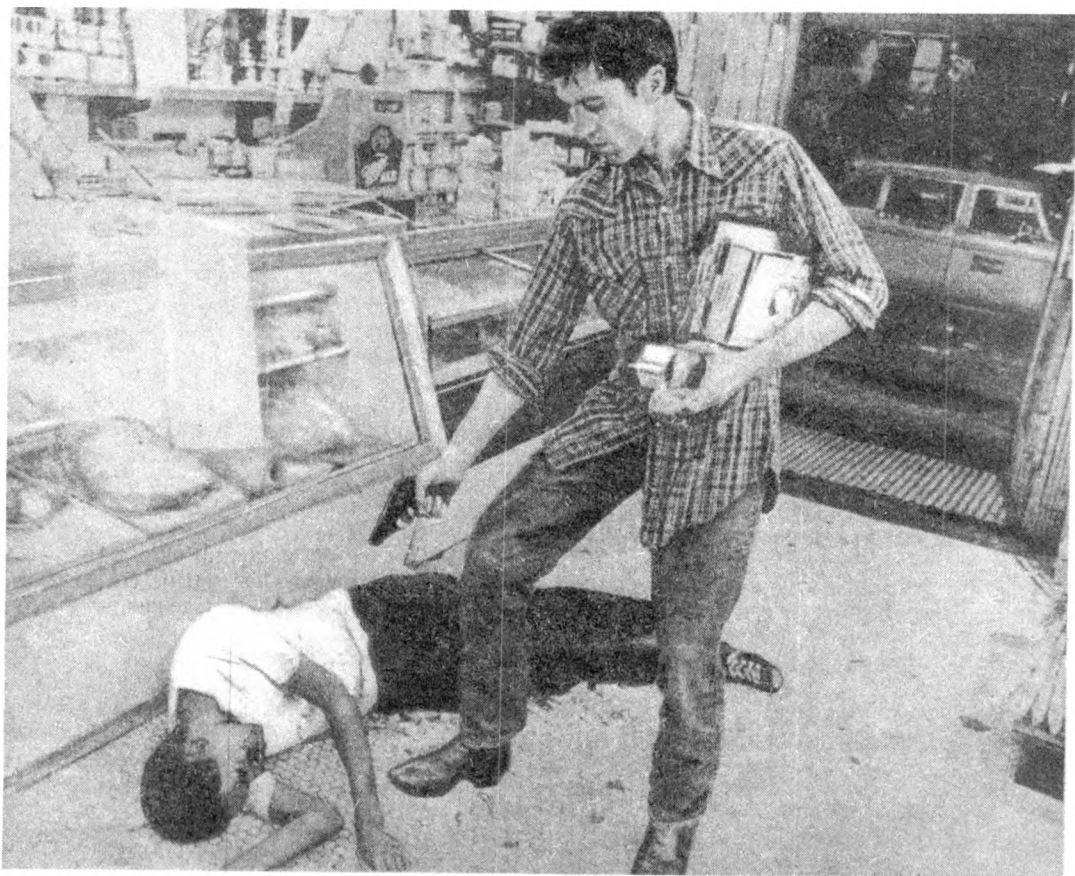
Продолжая чистить пистолет, Трэвис начинает играть с телевизором. Пяткой сапога он упирается в ящик, на котором стоит телевизор, раскачивает его до тех пор, пока не происходит неизбежное — телевизор с грохотом падает на пол. Короткая вспышка, экран гаснет.

Трэвис крутит ручку телевизора, хлопает по корпусу, но изображение не появляется...

Трэвис (про себя). Черт.

Разговор со стариком

Ночь. Трэвис припарковывается рядом с пустыми такси напротив кафе Беллмор —



места отдыха таксистов. Запирает машину, обходит стороной двух пьяных бродяг, затеявших драку на улице, входит в кафе.

В дальнем конце кафе за пластиковыми столиками устроилась компания таксистов. Одни клюют носом, другие закусывают, третьи травят байки. За длинным столом сидят Старик, Доллар, Чарли Ти и Четвертый таксист.

Старик. Знаете нового парня у нас в колонне? Такой с длинными волосами, хиппи... Эдди его зовут.

Старик показывает, какие у парня волосы,— все кивают.

Старик. Вчера ночью он вызывает диспетчера. Знаете Чарли Макколла, нашего диспетчера?..

Доллар. Макколл-прикол?

Старик. Он самый. Так вот, Эдди вызывает его и говорит: «Что мне делать? У меня в машине девчонка, которая не может расплатиться. Просит заехать попозже. Что делать?»

Таксисты смеются. Трэвис берет чашку кофе и несколько пирожных.

Чарли Ти. Это значит, сто пятьдесят человек в других такси всё это слышат по радиосвязи.

Старик. Макколл спрашивает: «Сколько на счетчике?» Эдди отвечает: «Два пятьдесят». Макколл ему: «Она этого стоит?»

Таксисты опять смеются.

Доллар. Старый хрен Макколл.

Старик. Парень ему в ответ: «Да. Лет девятнадцать, очень даже из себя». Макколл отвечает: «Ну что я тебе посоветую?»

Четвертый таксист. Надо было посоветовать у начальства спросить разрешения.

Старик. Макколл говорит: «Если нужна помощь, то я попробую кого-нибудь с линии подозвать».

Чарли Ти. Слава богу, помощников полторы сотни.

Доллар. Да, кто-то должен следить за оплатой.

Старик. Она-то ребенок. И уже крепко под балдой.

Трэвис с кофе и пирожными направляется к их столу. Чарли Ти замечает его.

Чарли Ти. Привет убийцам.

Чарли Ти наставляет палец в виде пистолета на Трэвиса.

Старик. У тебя уже репутация, Трэвис.

Чарли Ти. Как насчет пятерочки, что ты мне задолжал, убийца?

Трэвис достает пачку мелких денег. На стол падает смятая двадцатидолларовая бумажка. Он отдает Чарли Ти пять долларов из пачки, а двадцать прячет в кармане куртки.

Старик (за кадром, обращаясь к Трэвису). Как работа сегодня?

Трэвис. Так себе.

Чарли Ти. Это точно, черт возьми. Если бы не один пассажир, вся ночь была бы впустую. Я его в аэропорту подцепил: ему за город надо было. Уж я с ним поколесил, да еще в придачу пять долларов чаевых получил.

Старик (в шутку). Мы тебя, Чарли Ти, скоро в полицию сдадим. Так стричь деньги с простаков...

Доллар. Помнишь, как однажды этот тип посадил четырех фраеров откуда-то из Пакистана? На мосту он показывает их паспорта сборщику пошлины и с каждого взимает десять долларов за пересечение границы.

Чарли Ти. Я знаю, что ты еще почище делал.

Доллар. По крайней мере я не торчу все время в аэропорту, а езжу по всему городу.

Чарли Ти (усмехаясь). Каждый зарабатывает, как умеет.

Старик. Ладно, пора двигать.

Трэвис. Старик, погоди. Я хочу с тобой поговорить.

Старик ждет Трэвиса. Тот быстро допивает кофе и догоняет его.

Чарли Ти. Пока, убийца. Пугач не забудь.

Он опять стреляет из пальца и смеется. Старик и Трэвис кивают на прощанье, расплачиваются и выходят.

Трэвис (на ходу). Слушай, Старик.

Старик. Да.

Трэвис хочет что-то сказать, но видит группу панков. Приплясывая, они направляются к нему. Один из ребят, словно играя в баскетбол, из-за спины бросает баллончик из-под краски. Другой делает вид, что собирает ключом оцарапать одну из машин.

Старик никак не реагирует. На лице Трэвиса — вспышка гнева, который ему удается подавить. Тяжелым взглядом он уставился на мальчишку с ключом. Этот его взгляд мы уже видели в магазине в Гарлеме. Взгляд убийцы.

Парень, должно быть, интуитивно почувствовал это и, приплясывая вокруг Старика и Трэвиса, демонстративно прячет ключ в карман.

Трэвис (нерешительно продолжая прерванный разговор). Старик...

Старик. Я слушаю.

Трэвис. Мы раньше как-то особо не разговаривали друг с другом.

Старик. Ну?

Трэвис. Я хотел кое-что спросить. Ведь у тебя большой опыт.

Старик. Еще бы. Поди недаром Стариком называют.

Трэвис. Я просто хотел...

Старик. Тяжко тебе?

Трэвис. Очень тяжело.

Старик. Бывает.

Трэвис. Иногда бывает, что, кажется, могу натворить черте что. В голову лезут какие-то идиотские мысли. Могу просто выйти и натворить что-нибудь такое...

Старик. Ты думаешь, это потому, что ты работаешь таксистом?

Трэвис. Да.

Старик (кивает). Я знаю.

Трэвис. Понимаешь, могу натворить что угодно.

Старик. Слушай, Трэвис. Я всё это понимаю. Давай я тебе объясню. Ты выбираешь определенный образ жизни, и ты так живешь. И жизнь твоя такая, какой ты сам. Я вот за баранкой двадцать семь лет, из них десять лет работаю по ночам. А собственного такси до сих пор нет. Видимо, я этого сам не хочу. Понимаешь, должно быть, в этом моя суть. Видишь ли, человек поступает так, как он поступает, и всё. Его поступки — это он сам. Чего брыкаться, все равно никуда не денешься. Сколько ты таксистом работаешь? Месяца два? Ты как фишка, которую бросили мимо ячейки, вот ты и должен какое-то время покрутиться, чтобы ячейку эту отыскать и поудобней в ней устроиться.

Трэвис (после паузы). Странно. Чертовщина какая-то.

Старик. А что ты хотел? Я тебе не Бертран Расселл. Всю жизнь за баранкой. В конце концов, я даже не знаю, о чем ты говоришь.

Трэвис. Мне кажется, я и сам не знаю.

Старик. Ничего, покрутись и найдешь свою ячейку. Поначалу бывает одиноко и тяжело. Все устроится. Куда ты денешься.

Трэвис. Да. Извини, Старик.

Старик. Не волнуйся, убийца. Все будет в порядке. Поверь мне, я кое-что видел.

Трэвис. Спасибо.

Старик жестом показывает Трэвису, чтобы тот не вешал носа, и уезжает.

Новое лицо в толпе

Митинг в поддержку Чарльза Палантайна должен состояться на автостоянке при большом магазине где-то в Квинз. Толпа ждет его начала. Но даже среди нескольких сотен людей сразу можно заметить сотрудников службы безопасности. Они в костюмах стального цвета, темных очках. На возвышении — группа местных политических деятелей, а также люди из окружения Палантайна. Здесь же Том и Бетси. Том вдруг что-то неожиданно замечает в стороне.



Том. Бетси, подойди на минутку.

Бетси. Что еще? Я занята.

Том (настойчиво). Иди сюда.

Он делает Бетси знак глазами и говорит, почти не размыкая губ.

Том. Вон туда смотри. Нет, дальше. Надень очки. Вон там. Да. Не тот ли это парень, который приставал к тебе месяц назад?

Бетси надевает очки и присматривается, пытаясь не привлечь к себе внимания.

Бетси. Нет. Не думаю. Это кто-то другой.

Том. Посмотри повнимательней. Обрати внимание на глаза и подбородок. Видишь? Ну, что ты скажешь?

Мы видим Трэвиса в толпе: у него очень коротко остриженные волосы, а на куртке — большой значок «Палангайн 72». Он осторожно оглядывается по сторонам и растворяется в толпе.

Некоторое время спустя Трэвис подходит к агенту службы безопасности. Всякий раз, когда Трэвис сталкивается с представителями власти, он становится похож на маленького мальчика. Так и сейчас, хотя можно догадаться, что это только внешнее впечатление, на самом деле у него зреет какой-то план. Агент не разговорчивее сфинкса.

Трэвис. Вы из службы безопасности?

Агент службы безопасности (безразлично). А что?

Трэвис. Я здесь вижу массу подозрительных типов.

Агент службы безопасности. Кого именно?

Трэвис. Пруд пруди. Не знаю, куда они все сейчас подевались. Один вон там стоял. (Показывает.) Трудно попасть в службу безопасности?

Агент службы безопасности. А что?

Трэвис. Мне кажется, что из меня мог бы выйти неплохой агент: я очень наблюдательный.

Агент службы безопасности. Да?

Трэвис. Я в армии служил. Я знаю, как в толпе работать.

Агент службы безопасности. Действительно?

Трэвис. Какое у вас штатное оружие? Смит-Вессон?

Агент службы безопасности. Слушайте... если вы мне оставите свое имя и адрес, мы вышлем вам информацию о том, как к нам поступают.

Трэвис. Вышлете? Надо же.

Агент службы безопасности (вынимая блокнот). Будьте уверены.

Трэвис. Зовут меня Генри Кринкль. Через «К». К-Р-И-Н-К-Л-Ь. Я из штата Нью-Джерси. Мой адрес: Фэйр Лон, 07410, Хоппер Авеню 1/2, кв. 13. Записали?

Агент службы безопасности. Конечно, Генри. Все записал. Не волнуйся, что нужно, получишь по почте.

Трэвис. Здорово. Огромное спасибо.

Агент делает знак фотографу, чтобы он шелкнул Трэвиса. Трэвис замечает это и быстро прячется в толпе.

Трэвис у себя дома пишет за столом, а мы слышим за кадром его голос:

— 11 июня. В оставшиеся шесть дней еще будет восемь митингов. Время близится.

Запомнившееся лицо

Ночь. Высадив пассажира, Трэвис направляется к Томкинс сквер, сворачивает за угол и вдруг резко тормозит, так что машину бросает в сторону. Он чуть не сшиб девушку, неосторожно переходившую улицу. Чтобы не потерять равновесие, одной рукой она оперлась о капот машины. Сквозь переднее стекло мы видим ее перепуганное лицо.

Трэвис узнает ее: это Айрис — около недели назад она села к нему в машину. Айрис смотрит на Трэвиса и идет дальше. Она догоняет подружку. Обе девушки в сапогах, джинсах, широкополых шляпах. Завлекающая походка не оставляет сомнений относительно рода их занятий.

Трэвис медленно следует за Айрис и ее подружкой. Он внимательно — с ног до головы — осматривает их: сапоги, ноги, бедра, грудь, лица, шляпы. Поровнявшись с ними, Трэвис замечает в тени знакомый зеленый пиджак. Девушки улыбаются человеку в тени, понимающе кивают, идут дальше. Айрис с беспокойством оглядывается на машину Трэвиса.

На углу — два хорошо одетых студента, которые не очень вписываются в здешнюю обстановку, но стараются не подавать вида. Девушки подходят к ним, о чем-то болтают и вместе уходят.

Чтобы продолжить слежку, Трэвису надо повернуть за угол, но сделать это не так-то просто из-за оживленного движения.

Притормаживая, Трэвис замечает еще одну проститутку-хиппи (все это время наблюдавшую за тем, как Трэвис наблюдал за Айрис). Она подходит к такси, наклоняется к открытому окну и делает Трэвису предложение, облекая его в форму невинного вопроса:

— Эй, шеф. Ну, ты едешь или нет?

Трэвис испытывает одновременно удивление, замешательство и отвращение, как ребенок, которого застали врасплох, когда он запустил руку в банку со сладостями. Присутствие этого грубого, похотливого существа пугает и корбит его. Он срывается с места и мчится вдоль квартала.

Предвыборные обещания

Жаркий июньский день. Машина Трэвиса с включенным сигналом «смена окончена» припаркована где-то в Гарлеме. Вдалеке прохаживаются группы темнокожих, снуют полицейские, агенты службы безопасности, репортеры.

Трэвис, сидя за рулем, холодным взглядом рассматривает что-то далеко впереди. Несмотря на жару, он в армейской куртке, которая оттопырена с левой стороны — там прячется Смит-Вессон калибра 0.38.

Громкоговоритель доносит голос Чарльза Палантайна: возле штаба избирательной кампании проходит политический митинг. Здесь же уже знакомый нам агент службы безопасности, внимательно осматривающий толпу. Палантайн говорит с воодушевлением. Он отличный оратор и полностью владеет вниманием слушателей.

Палантайн. Пришло время покончить с вещами, которые разделяют нас: с расизмом, нищетой, войной. И с теми людьми, которые стремятся разделить нас. Ни разу не видел я еще таких высокопоставленных политиков — от Президента до руководителей сената и членов кабинета...

И снова мы видим Трэвиса: на его лице не отражается никаких эмоций: здесь, на расстоянии квартала, едва ли можно различить слова Палантайна.

Палантайн. ...противопоставляю черных белым, молодых старым, сеют злобу, рознь и подозрительность — и все это во имя «блага страны». Я вам так скажу: песня их спета. (Аплодисменты.) И имена их ничего не значат. Пришло время сказать «нет» всей этой глупости, пропаганде и демагогии. Пришло время понять человека, живущего по соседству, пришло время давать, чтобы получили все. Неужели единство и любовь к общим ценностям обречены?

Прочие звуки уступают место рассказу Трэвиса. Он читает открытку, которую только что написал, а мы видим Палантайна, молодых негров из группы поддержки Палантайна, агентов службы безопасности, следящих за толпой...

Трэвис (голос за кадром). «Дорогие отец и мать, в июне, насколько я помню, не только юбилей вашей свадьбы, но и День отца и день рождения матери. Извините, что не помню точных дат, но надеюсь, что эта открытка будет поздравлением со всеми этими праздниками. Извините, что опять не могу выслать вам своего адреса, хотя обещал это сделать в прошлом году, но деликатный характер моей работы в армии требует полнейшей секретности. Я уверен, что вы поймете меня. Я здоров и зарабатываю много денег. Вот уже

несколько месяцев знаком с одной девушкой, которая наверняка понравилась бы вам, если бы вы ее увидели. Ее зовут Бетси, но больше я ничего сказать не могу...»

Полицейский подходит к машине Трэвиса. Возвращаются все прежние звуки.

Полицейский (стоя у машины). Шеф, здесь нельзя парковаться.

Трэвис. Извините.

Полицейский. Пассажира ждешь?

Он заглядывает в машину, а в это время рука Трэвиса скользит под куртку — он готов выхватить револьвер.

Трэвис. Нет.

Полицейский. Хорошо. Проезжай.

Трэвис отъезжает. Звуки улицы вновь уходят, он продолжает читать письмо.

Трэвис (голос за кадром). «Я надеюсь, что когда вы получите эту открытку, все будет здорово, как я. Надеюсь, что никто не умер. За меня не волнуйтесь. Когда-нибудь в дверь постучат, и это буду я. С любовью Трэвис».

Сидя за столом в своей комнате, Трэвис перечитывает написанное. И мы видим четырехцветную тисненую открытку за 25 центов с поздравлением к свадебному юбилею. Суший кич. На картинке изображены Он и Она, типичная американская пара на фоне загородного пикника. Они чокаются, но не бокалами, а солонкой и переносницей. Надпись: «Счастливого юбилея паре, которая нашла идеальную комбинацию для женитьбы...» Внутри открытки сверху написано: «С любовью!», а дальше — короткое письмо Трэвиса.

Сладкая Айрис

Ночь. Трэвис сидит в машине, которая прячется в густой тени переулка на нижней восточной стороне Манхэттена. Одинокий волк ждет. Он следит за богинями местных трущоб, работающими на участке улицы, отведенном для проституток-хиппи. Одни молодые девчонки нахальны и даже агрессивны, другие менее уверены и опыты. Негр стремительно уходит вниз по улице, смотря себе под ноги и непрерывно ужасно бранясь. Он вне себя. Но никому нет до него дела.

Трэвис отпивает коньяк и продолжает наблюдение. Наконец, он видит ту, которую поджидал. Трэвис проверяет, на месте ли его Смит-Вессон. Все в порядке. Он открывает дверцу и вылезает из машины. Подняв воротник своей армейской куртки и сутулившись, подходит к Айрис. Всегда, когда Трэвис хочет выглядеть невинным, он выглядит очень подозрительно.

Трэвис (застенчиво). Привет.

Айрис. Вы за делом?

Трэвис. В общем... да.

Айрис (осматривая его). Хорошо. Видите вон того парня? (Кивает головой.) Его зовут Спорт. Идите и поговорите с ним. Я буду здесь ждать.

Спорт — мексиканец лет тридцати, с повадками сводника. Он приплясывает, напевая и пощелкивая пальцами. Взгляд холодный и расчетливый. Лишь неопытному подростку он может показаться романтической фигурой.

Трэвис. Это ты Спорт?

Спорт принимает Трэвиса за переодетого полицейского. Он протягивает скрещенные руки, как бы предлагая надеть наручники.

Спорт. Пожалуйста, сдаюсь. Я чистый. Я этого не делал. Однажды превысил скорость в Джерси и получил за это замечание. Вот и все. Честно.

Трэвис. Это ты Спорт?

Спорт. Как вам будет угодно.

Трэвис. Я не полицейский. (Оглядывается на Айрис.) Я насчет дела.

Спорт. Я видел. Двадцать долларов за пятнадцать минут. Полчаса — тридцать долларов.

Трэвис. Черт.

Спорт. Как хочешь.

Трэвис. Я согласен. (Лезет в карман за деньгами.)

Спорт. Нет, не мне. Там будет пожилой господин, ему и заплатите. До скорого, полиция.

Трэвис. Я не полицейский.

Спорт. Ну а если да, то это уже ловушка.

Трэвис. Я хиппи.

Спорт. Смех. Что-то ты мало похож на хиппи. (Смеется.)

Трэвис возвращается к Айрис, она делает знак, чтобы он следовал за ней. Они сворачивают за угол, молча проходят почти квартал, входят в темный подъезд. Поднявшись по плохо освещенной лестнице, оказываются в темном коридоре, где по обе стороны — комнаты с номерами. Айрис останавливается перед дверью с номером 2.

Айрис. Это моя комната.

Огромный дед, сидящий в конце коридора, обращается к Трэвису:

— Эй, ковбой! (Показывая на куртку Трэвиса.) Ствол. Ствол у меня оставь, парень.

Трэвис в замешательстве. Дед достает из-под его куртки Смит-Вессон.

Дед. Это тебе не Додж Сити, ковбой. Здесь такие игрушки ни к чему. (Взглянув на часы.) Засаека время.

Вместе с Айрис Трэвис входит в комнату. Она плохо освещена, но украшена броско. На полу оранжевый ворсистый ковер; старый диван, обитый красным бархатом; темно-коричневые стены, на которых плакаты с портретами Мика Джэггера, Боба Дилона и Питера Фонда. На маленьком проигрывателе крутится пластинка Нила Янга. Здесь живет Айрис: комната отражает вкусы молодой девушки.

Айрис зажигает сигарету, делает одну затяжку и кладет сигарету в пепельницу на столике у кровати.

Трэвис. Чего ты спуталась с этими мексиканцами?

Айрис. Девушке требуется защита.

Трэвис. Точно. От подобных типов.

Айрис (пожав плечами). Время идет, мистер. Пятнадцать минут не так много. (Указывая на сигарету.) Ваше время кончится, когда догорит сигарета.

Она садится на край постели, снимает шляпу, юбку и голубые очки, свою последнюю защиту. Без атрибутов взрослости Айрис превращается в маленькую девочку.

Трэвис. Как тебя зовут?

Айрис. Изи.

Трэвис. Это мало похоже на имя.

Айрис. Легко запоминается. Изи Лэй.

Трэвис. Как тебя по-настоящему зовут?

Айрис. Мне не нравится мое настоящее имя. **Трэвис** (настойчиво). Как тебя по-настоящему зовут?

Айрис. Айрис.

Трэвис. Замечательное имя.

Айрис. Это вам кажется.

Айрис расстегивает рубашку, под которой прячутся маленькие, жалкого вида груди — два молодых голубка, укрывшихся от стужи. Вид ее обнаженного тела приводит Трэвиса в смущение.

Трэвис. Разве ты не помнишь меня? Застегни рубашку.

Девушка застегивает лишь нижнюю пуговицу.

Айрис (глядя испытующе). А что? Кто вы такой?

Трэвис. Я водитель такси. Как-то ночью ты хотела смыться. Помнишь?

Айрис. Нет.

Трэвис. Ты хотела смыться в моем такси, но твой дружок — Спорт не позволил тебе.

Айрис. Не помню.

Трэвис. Неважно. Я тебя отсюда вытащу. (Смотрит на дверь.)

Айрис. Давайте лучше делом займемся, а то Спорт будет очень недоволен. Как вы хотите?

Трэвис (теряя терпение). Я никак не хочу. Я пришел, чтобы тебя отсюда вытащить.

Айрис. Может быть, вот так. (Протягивает к нему руку.) Трэвис отводит ее руку, садится рядом с ней на кровать.

Трэвис (беря Айрис за плечи). Ты можешь меня выслушать? Ты что, не хочешь отсюда выбраться?

Айрис. А почему я должна отсюда выбираться? Я здесь живу.

Трэвис (раздраженно). Но ты же сама хотела смыться отсюда. Ты же села ко мне в машину.

Айрис. Я, видно, дозу приняла.

Трэвис. Они что, наркотиками тебя пичкают?
Айрис (с неодобрением). Да будет вам.

Она пытается расстегнуть его брюки. Это еще больше раздражает Трэвиса.

Трэвис. Послушай...

Айрис. Вы не хотите, что ли? Или у вас не получается?

Трэвис (в отчаянии). Я хочу помочь тебе.

Чувство беспокойства все больше охватывает Трэвиса, но Айрис кажется, что это часть его игры, и она пытается не обращать внимания.

Айрис (понимающе). Так у вас не получается? Я могу вам помочь.

Она склоняет голову. Трэвис в ужасе отпрыгивает. Брюки у него расстегнуты, и виднеется белье. Он начинает злиться.

Трэвис. Черт, черт, черт, черт, черт!

Айрис (в замешательстве). Вы могли бы...

Трэвис. Неужели ты ничего не понимаешь?

Она молчит. Трэвис вновь садится рядом с Айрис. Она больше ничего не пытается сделать. Какое-то время стоит тишина. Айрис кладет ему руку на плечо.

Айрис. В конце концов вы не обязаны это делать, мистер.

Трэвис (переводя дух). Ты понимаешь, зачем я пришел сюда?

Айрис. Я думаю, понимаю. Однажды ночью я села в вашу машину, и теперь вы хотите взять меня отсюда.

Трэвис. Разве ты не хочешь этого?

Айрис. Я могу уйти, когда хочу.

Трэвис. А как же в ту ночь?

Айрис. Я действительно приняла дозу. Поэтому они меня остановили. А когда я не под балдой, мне просто некуда идти. Они меня оберегают от самой себя.

Трэвис смотрит на сигарету. Она догорает до фильтра.

Трэвис. Я хотел как лучше.

Айрис. Я понимаю, мистер. Я очень тронута. Серьезно.

Трэвис (вставая). Можно мне еще встретиться с тобой?

Айрис. Это несложно сделать.

Трэвис. Нет, я серьезно.

Айрис. Конечно. Хорошо. Давайте позавтракаем вместе. Я встаю около часа. Завтра.

Трэвис. Завтра в полдень... у меня...

Встреча с Айрис вмещивается в его план покушения на Палантайна.

Айрис. Так вы хотите или нет?

Трэвис. Хорошо. Встречаемся. Тогда я сюда подъеду. Да, Айрис...

Айрис. Что?

Трэвис. Меня зовут Трэвис.

Айрис. Спасибо, Трэвис.

Трэвис. Пока, Айрис. Сладкая Айрис. (Улыбается.)

В коридоре к Трэвису подходит дед. Про-

верив время, он протягивает Трэвису пистолет.

Дед. Это вроде твое, ковбой.

Трэвис достает из кармана куртки знакомую скомканную двадцатидолларовую бумажку и многозначительно вкладывает ее деду в руку.

Трэвис (сдерживая злобу). Вот тебе двадцатник, дед. Потрать его наилучшим образом.

Дед (вслед Трэвису). Заходи еще в любое время, ковбой. Но, пожалуйста, без пушки.

Полдень. В безвкусно отделанном номере гостиницы «Сент Регис» сидят Палантайн, Том и помощник Палантайна.

Помощник. По крайней мере это была не курица.

Палантайн. Не курица? А мне показалось, что курица. На вкус точно курица.

Том. Да ну что вы, сенатор. Обед был перво-классный. «Сент Регис» отличное заведение. Это была телятина.

Палантайн. Точно? На вкус от курицы не отличишь. В последнее время мне кажется, что я только и ем кур. Всё на один вкус.

Помощник. Всё на один вкус? Надо не забывать следить за весом.

Палантайн. По-моему, тут всё в порядке. Я двадцать фунтов сбросил перед тем, как мы все это затеяли.

Помощник. И десять из них уже обратно прибавил.

Палантайн. Десять? Не думаю. Ты действительно считаешь, что десять?

Том. Это из-за телевизионных камер. Я следил за митингом по каналу Си-Би-Эс. Вы выглядели чуть полновато.

Палантайн. Я не думаю, что прибавил десять фунтов.

Палантайн подходит к окну. Тень от рамы крестом ложится ему на голову.

Палантайн (устало, про себя). Господи.

С высоты восемнадцатого этажа он смотрит на оживленное движение автомобилей по Пятой авеню. Это сплошная желтая масса.

Пятая авеню. Полдень. Машина Трэвиса отделяется от желтой массы и направляется в нижнюю часть города.

Поздний завтрак

Машина Трэвиса припаркована у кафетерия где-то в нижней части Манхэттена.

Трэвис и Айрис сидят за поздним завтраком, типичным для американца: яичница с ветчиной, апельсиновый сок, кофе. Айрис одета проще, чем обычно: на ней джинсы и



бордовая кофточка. У нее свежий вид, она причесана.

Сейчас Айрис ничем не отличается от любой другой молодой девушки в большом городе. Посетители скорее всего могут подумать, что она пришла в кафетерий вместе со своим старшим братом.

Вне своей привычной обстановки Айрис выглядит еще более беззащитной. Она кажется неуверенной, нервной, не может говорить на какую-нибудь тему более полминуты. Жесты размашистые, а речь слишком манерная. И понятно желание Трэвиса помочь девушке: она в беде.

Айрис ...после этого мы со Спортом стали часто бывать вместе...

Трэвис. А где твой дом?

Айрис снимает большие голубые очки от солнца и роется в сумке, отыскивая другую пару.

Айрис. У меня так много очков. Я просто не могу жить без них. Мне обязательно нужна дюжина очков. (Находит розовые очки и надевает их.)

Трэвис. Так откуда ты?

Айрис. Из Питтсбурга.

Трэвис. Я там никогда не был, но мне кажется, что это неплохое место.

Айрис (голос ее становится громче). Почему вы хотите, чтобы я вернулась к родителям? Они меня ненавидят. Как вы думаете, почему я убежала из дома? Просто там делать было нечего.

Трэвис. Но нельзя же жить так, как ты живешь. Это суций ад. Девушки должны жить дома.

Айрис (игриво). Разве вы никогда не слышали о женской эмансипации?

Трэвис (не отвечая на ее вопрос). Молодым девушкам положено хорошо одеваться, ходить в школу, играть с мальчиками, вот так.

Айрис. Господи, да вы праведник.

Трэвис (давая волю скопившемуся напряжению). По крайней мере я не брожу по улицам, как шлюха вонючая. Я не путаюсь с наркоманами и убийцами.

Айрис. Это кто убийца?

Трэвис. Этот парень, Спорт, по-моему, смахивает на убийцу.

Айрис. Никого он никогда не убивал. Его знак — Весы.

Трэвис. Да?

Айрис. Кстати, я тоже Весы. Поэтому мы с ним хорошо ладим.

Трэвис. Вид у него, как у убийцы.

Айрис. По-моему, Раки лучше всех занимают-ся любовью. В моей семье у всех знаки воздуха.

Трэвис. Он же на игле сидит.

Айрис. Что дает вам право так говорить о людях? Вы свои-то глаза видели в зеркале? Такие глаза бывают только...

Трэвис. Он хуже животного. Тюрьма слишком хорошее место для этого подонка.

Некоторое время они молчат. В голове у Айрис со скоростью быстроиграющей пластинки прокручиваются сразу несколько тем. Она рада, что ей представилась возможность поболтать.

Айрис. Я считаю, что рок умер в семидесятом. До семидесятого это была фантастика. Я-то знаю. Все тогда сходили с ума на концертах. Мы с одной моей подружкой Энн любили забираться на пожарную лестницу. Это был класс. Кругом рок-звезды. «Аэроплан» — это моя группа. Они все Весы. Сейчас все конечно. Одни — болезни подцепили, кого-то посадили. В общем я, наверное, двину в одну из общин в Вермонте. Слышали про них? Все лучшие люди туда укатили. А я здесь осталась.

Трэвис. Я в общине никогда не был. Не знаю. Видел картинки в журналах. Особенно чистыми эти места не назывешь.

Айрис. Давайте махнем вместе?

Трэвис. Нет. Такие места не для меня.

Айрис. Почему?

Трэвис. (нерешительно). Я... я плохо контакту с такими людьми.

Айрис. Вы Скорпион? Конечно, вы Скорпион.

Это сразу видно.

Трэвис. Кроме того, мне обязательно надо быть здесь.

Айрис. А что такое?

Трэвис. Есть у меня одно важное дело. Я не могу уехать.

Айрис. Какое же такое важное дело?

Трэвис. Я не могу сказать. Это совершенно секретно. Я выполняю одно задание для армии. А такси это так.

Айрис. Наркоманов, что ли, ловите?

Трэвис. А что, я похож на тайного агента?

Айрис. Да.

Трэвис широко улыбается своей заразительной улыбкой, и Айрис смеется вместе с ним.

Айрис. Помилуйте, но я не знаю, кто из нас страннее — вы или я.

Трэвис (после паузы). А как же Спорт и этот старый хрыч? На кого ты их бросишь?

Айрис. Когда?

Трэвис. Когда уедешь.

Айрис. Уеду да и все. Мало других девчонок, что ли?

Трэвис. Так просто возьмешь и уедешь от них?

Айрис (в недоумении). А что мне, по-твоему, надо сделать? Полицию вызвать?

Трэвис. Полиция ничего не сделает.

Айрис. Спорт никогда ничего плохого мне не делал. Честно. Ни разу не бил.

Трэвис. Нельзя их так оставить, чтобы они то же делали с другими девушками. От них надо избавляться.

Айрис. Каким образом?

Трэвис (пожав плечами). Я не знаю. Тем не менее, надо. Кто-то должен их отстреливать. Никому они не нужны.

Айрис (в изумлении). Боже. Я знаю, где надо устроить общину для вас. Для вас нужно устроить общину в Беллью.

Трэвис (извиняющимся тоном, оробев). Извини, Айрис. Я не это хотел сказать.

Айрис. С девушками у вас, по-моему, не очень получается.

Трэвис (подумав). Видишь ли, Айрис, я смотрю на это по-своему. Ко мне в машину садится много девушек, и некоторые из них очень красивые. И я понимаю, что целый день мужчины донимали их, пытаясь дотронуться до них, заговорить с ними, пригласить их в ресторан. Поэтому я считаю, что если я не буду к ним приставать, то это лучшее, что я для них могу сделать. Вот я и помалкиваю. Я делаю вид, что меня вообще нет. Я думаю, что они поймут меня и будут мне благодарны.

Айрис требует некоторое время, чтобы осмыслить этот пример отрицательного мышления: чем я незаметнее, тем больше меня любят.

Айрис. Как по-вашему, следует мне ехать в общину?

Трэвис. По-моему, ты должна ехать домой или куда-то еще, но ты должна уехать отсюда. Для тебя это будет очень хорошо. Тебе надо сматывать отсюда. Это не город, а клоака. Надо тебе отсюда сматывать.

Айрис опять говорит что-то невнятное про очки, роется в сумке, выуживает из нее новые — за 99 центов. Ей кажется, что эти очки лучше, и она надевает их.

Айрис. Вы точно уверены, что не хотите ехать со мной?

Трэвис. Я не могу. А в общем, я не против.

Айрис. Знаете, как одной не хочется ехать.

Трэвис. Я тебе дам денег на дорогу. Я не хочу, чтобы ты брала у этих типов.

Айрис. Зачем это вам нужно?

Трэвис. Хочется. Что мне еще с деньгами-то делать? Вполне возможно, что мы с тобой не встретимся... какое-то время.

Айрис. Что вы хотите сказать?

Трэвис. Может быть, мне придется отлучиться из Нью-Йорка по делам.

Комната Айрис. У кровати стоит Спорт. Спорт. В чем дело, детка? Ты себя плохо чувствуешь?

Айрис. Что-то с желудком. Это грипп.

Спорт кладет руки ей на бедра. Медленно, осторожно и нежно он оглаживает ее тело, млея от удовольствия.

Спорт. Никакого гриппа у тебя нет, детка. И ты об этом прекрасно знаешь.

Айрис. Серьезно, Спорт.

Спорт включает стереосистему. Звучит медленная негритянская мелодия.

Спорт. Ты, детка, просто устала. Тебе нужен твой парень. Я — твой мужчина. Ты знаешь. А ты моя женщина. Что я без тебя? (Спорт медленно прикасается бедрами к ее телу. Айрис прижимается к нему. Именно этого ей недоставало: внимания со стороны ее мужчины.) Я знаю, что это, может, для тебя ничего не значит, детка, но иногда меня переполняют чувства, и я думаю, как хорошо было бы, если бы все имели то, что я имею сейчас, если бы всех женщин любили так, как я люблю тебя. Если бы только каждый мужчина был бы так же счастлив со своей женщиной, как я счастлив с тобой. Я иду домой и думаю, что бы я делал без тебя. И я благодарю Бога за то, что ты со мной. Я думаю про себя: парень, ты же счастливый человек. У тебя есть женщина, которая любит тебя, которой ты нужен, которая поддерживает в тебе силы. Это просто ты и я. Я ничто без тебя. Я могу об этом говорить без конца. У нас все получается. У нас с тобой. У тебя и у меня.

Спорт сильнее прижимает к себе Айрис. Она улыбается. Она счастлива.

Одинокий Божий человек

День. Тир. Трэвис с азартом разряжает Магнум. Кладет один пистолет, берет другой, затем следующий. Быстро перезаряжает и стреляет вновь.

Мишени извиваются под шквалом огня. Пронзительные звуки выстрелов висят в воздухе.

В квартире Трэвиса.

Трэвис вновь пишет за столом. В его повествовании теперь звучит нота отчаяния и безысходности. Это последняя запись в его дневнике.

Трэвис (голос за кадром). Вся моя жизнь идет в одном направлении. Теперь я это понимаю. И выбора никогда для меня не было.

Из такси Трэвиса мы видим ночную жизнь Нью-Йорка такой, какой ее видит Трэвис. По



тротуару идут молодые пары, пары средних лет, пожилые пары, проститутки с клиентами, девушки со своими парнями, друзья по работе. Весь мир живет парами, и лишь Трэвис обречен бродить в ночи в одиночестве.

Трэвис замечает, как рука девушки ерошит парню волосы, как свисает ее рука с его плеча, как нежно целует она его в ухо.

Трэвис. Вся жизнь меня преследовало одиночество. Одиночество со мной, где бы я ни оказался: в барах, машинах, кафе, театрах, магазинах, на тротуарах. И нет от него спасения. Я одинокий Божий человек.

Глазами Трэвиса мы видим еще один район города чуть позже ночью. Народу здесь поменьше, улицы потемнее. Наркоман жмет в дверном проеме, алкаш блюет в мусорный контейнер, проститутка любезничает с клиентом.

Трэвис. Я не дурак. Я не собираюсь больше себя обманывать. Я больше не позволю себе рассыпаться на части, быть всеобщим посмешищем. Я знаю, что надежды больше никакой нет. Я не могу продолжать эту пустую, бесполезную борьбу. Я должен уснуть. Есть ли какая-нибудь надежда для меня?

Трэвис стоит у стола в своей квартире. На стол он кладет написанное от руки короткое письмо. Мы читаем его.

«Дорогая Айрис, этих денег должно хватить для твоей поездки. К тому времени, когда ты будешь читать это письмо, я буду мертв. Трэвис».

Трэвис вкладывает пять новеньких сто долларовых купюр вместе с письмом в конверт.

В квартире Трэвиса все чисто — он убрал ее. На матрасе ничего не валяется, на полу — ни пятнышка, банки, бутылки и склянки с таблетками припрятаны. Стена все так же оклеена политическими плакатами Палантайна, а на столе — дневник и три пистолета.

Свежевыбритый и аккуратно одетый, Трэвис стоит посреди чистой комнаты. С плеча у него свисает пустая кобура. Металлические желобки для пистолета видны в прорези правого рукава рубашки.

Трэвис с письмом в руке идет по коридору. Он проходит мимо открытой двери, и мы замечаем, что эта комната безлюдна и завалена хламом. Трэвис живет в разваливающемся, можно сказать, безнадежном доме.

На улице Трэвис опускает письмо к Айрис в почтовый ящик.

Мы вновь возвращаемся в его квартиру: на столе аккуратно лежат пистолеты.

Это убийца

Полдень. Толпа численностью около 500 человек собралась возле подиума перед залом профсоюзов в Бруклине. Чарльз Палантайн в сопровождении двух грузных охранников пробирается сквозь толпу к подиуму. Щелкают затворы фотоаппаратов, стрекочут телекамеры.

Пустое такси Трэвиса припарковано за несколько кварталов от места митинга. Сюда его звуки почти не доносятся.

Крупным планом мы видим сапоги идущего Трэвиса. Звуки митинга становятся слышнее.

Трэвис стоит один, в стороне от толпы. Трудно представить себе человека, который выглядел бы более подозрительно, чем он. Волосы коротко острижены, глаза закрыты солнечными очками с зеркальным отражением. Лицо бледное, в нем ни кровинки. Губы

плотно сжаты. Трэвис выглядит больным и слабым. Несмотря на теплый июньский день, он закутан в рубашку, свитер и наглухо застегнутую армейскую куртку. Куртка в нескольких местах сильно вздулась, так что верхняя часть туловища кажется непропорционально большой. Трэвис стоит чуть согрившись и засунув руки в карманы. Осматривая толпу, вы непременно остановили бы на нем свой взгляд и подумали: «Вот стоит убийца».

Трэвис достает из кармана склянку с красными таблетками и глотает две штуки.

Агент службы безопасности, стоящий возле подиума, осматривает толпу. Это тот самый агент, с которым Трэвис разговаривал на первом митинге. Том, одетый в строгий костюм, стоит рядом. Палантайн заканчивает свою короткую речь.

Палантайн ...и с вашей помощью мы придем к победе во вторник... (Аплодисменты.)

Трэвис пробирается сквозь толпу. Палантайн ...а затем к победе в Майами Бич через месяц. (Аплодисменты усиливаются.) И к победе в ноябре!

Палантайн улыбается в ответ на аплодисменты и, кивнув агенту службы безопасности, спускается вниз.

Трэвис расстегивает две пуговицы на куртке, открывая путь к кобуре. Другой рукой он проверяет Магнум.

Палантайн улыбается и жмет протянутые ему руки.

Агент службы безопасности, оглядывая собравшихся, замечает Трэвиса, с напряженным лицом протискивающегося сквозь толпу. Сквозь нее медленно пробирается и Палантайн.

Агент службы безопасности делает знак другому агенту, указывая на Трэвиса.

Рука Трэвиса скользит под куртку. Второй агент безопасности приближается к Трэвису.

Трэвис и Палантайн сближаются. Агент службы безопасности, идущий за Палантайном, хватает его за руку и оттаскивает назад. Палантайн резко оглядывается на агента, тот жестом показывает, что идти следует в другом направлении.

Трэвис замечает это. Его глаза встречаются с глазами агента службы безопасности. Он понимает, в чем дело. Справа от себя он замечает второго агента.

Трэвис смотрит в глаза Палантайну: кандидат в президенты и будущий убийца обмениваются короткими взглядами.

Трэвис быстро протискивается обратно. Он слышит голос агента службы безопасности:

— Задержите этого человека!

Трэвису удается выбраться из толпы, тогда как его преследователи все еще зажаты в ней.



Оторвавшись от них, Трэвис мчится по тротуару, запрыгивает в машину. По его лицу струится пот.

Выход на цель

Машина Трэвиса устремляется вглубь Манхэттена.

Трэвис проверяет почтовый ящик: почтальон уже забрал его письмо к Айрис.

Раздетый по пояс Трэвис ходит по комнате, вытираясь полотенцем. Он начинает одеваться: закрепляет армейский боевой нож на ноге, фиксирует желобки для кольца на правой руке.

Ранний вечер. Спорт стоит на привычном месте в восточной части нижнего Манхэттена. К нему подходит частный детектив. Оба смеются, хлопают друг друга по спине, обмениваются рукопожатием. Потолковав со Спортом о своих делах, детектив направляется к дому, где живет Айрис.

Трэвис надевает кобур и прячет в нее Смит-Вессон.

Частный детектив идет вдоль квартала.

Трэвис прицепляет к ремню огромный Магнум. Надевает армейскую куртку и выходит из комнаты.

Частный детектив поднимается по темной лестнице к комнате Айрис.

Ночь. Машина Трэвиса мчится вниз по Десятой авеню. Отблески желтых и красных огней пронесаются в ночи.

Спорт по-прежнему стоит на своем месте. Он машет рукой проходящей мимо девушке, она машет ему.

Взвизгнув тормозами, машина Трэвиса резко останавливается.

Бойня

Трэвис подходит к Спорту и как бы дружески кладет ему руку на плечо.

Трэвис. Привет, Спорт. Как дела?

Спорт (пожимает плечами). Нормально, ковбой.

Трэвис (поддразнивая). Как дела сутенерские, Спорт?

Спорт. В чем дело?

Трэвис. Я пришел навестить Айрис.

Спорт. Айрис?

Трэвис. Да, Айрис. Никого не припомнишь с таким именем?

Спорт. Нет. Слушай, мотал бы ты отсюда да побыстрей, если не хочешь неприятностей нажить.

Трэвис (сдерживая гнев). Оружие есть?

Спорт смотрит Трэвису в глаза, не говоря ни слова: он понимает всю серьезность ситуации. Трэвис достает Смит-Вессон и наставляет на Спорта, еще плотнее припирая его к стене.

Трэвис. Давай сюда.

Спорт (послушно). Послушайте, мистер, я что-то не понимаю, что здесь происходит. Ерунда какая-то.

Трэвис (требовательно). Выкладывай.

Спорт нехотя вытаскивает пистолет калибра 0.32 и вяло держит его в руке.

Трэвис приставляет дуло пистолета к животу Спорта и стреляет. Слышится приглушенный выстрел, а затем стон. Трэвис уходит еще до того, как Спорт упал.

Трэвис входит в темное парадное дома, где живет Айрис. Поднимаясь по лестнице, достает Магнум, а Смит-Вессон перекладывает в левую руку. Он поднимается по ступенькам, держа в обеих руках по пистолету. Наверху замечает деда, сидящего в темном конце коридора. Разряжает в него жуткий Магнум. Вестибюль сотрясается от ударных волн, пахнет порохом. Выстрелом у старика оторвало полруки.

За спиной Трэвиса раздается резкий звук выстрела: лицо его перекашивается от боли. Пуля пробилла ему шею. Кровь хлещет на плечо. Магнум вылетает из руки Трэвиса. Он смотрит вниз: там лежит в луже крови задыхающийся Спорт. У него хватило сил доковылять, чтобы сделать только один выстрел. Трэвис засаживает еще одну пулю в спину Спорта из своего Смит-Вессона. Но Спорт уже мертв.

Распахивается дверь комнаты № 2: из глубины слышится крик Айрис. Дверной проем заполняется тучным телом частного детектива. Голубая рубашка на нем расстегнута, в руке — револьвер. Детектив стреляет в Трэвиса. Он падает на пол, из плеча вовсю льется кровь. Его Смит-Вессон катится вниз по лестнице.

Трэвис с силой ударяет правой рукой по стене, и, как по волшебству, в ладони у него оказывается маленький кольт, выскользнувший из-под рукава. Он изрешечивает пулями лицо детектива. Тот с криком падает в комнату. Старик наваливается на Трэвиса. Кольт выпадает у Трэвиса из руки. Обливаясь кровью, оба вваливаются в комнату к Айрис. С окаменевшим от страха лицом она прячется за красным бархатным диваном.

Трэвис, прижатый к полу тяжелым телом деда, дотягивается до ножа и выхватывает его из-под штанины. И когда дед с размаху обрушивается на Трэвиса свою огромную руку, Трэвис успеваает подставить нож, который насквозь пропарывает ладонь старика.



Вдалеке слышится завывание полицейских сирен.

С большим трудом Трэвис переворачивается, сбрасывая с себя деда — из его руки торчит окровавленное лезвие ножа.

Трэвис дотягивается до револьвера мертвого детектива, вставляет дуло старику в рот. Дед. Не убивай меня! Не убивай меня!

Айрис. Не убивайте его, Трэвис! Не убивайте!

Трэвис стреляет, деду разносит затылок.

Слышится визг тормозов, полицейские сирены затихают. Доносятся звуки бегущих по лестнице полицейских.

Трэвис поднимается из последних сил и падает на диван. Его окровавленное тело сливается с красным бархатом. Айрис в страхе жмется у дальней стены.

Полицейский врывается в комнату. Трэвис в изнеможении поднимает на него глаза, складывает окровавленные пальцы пистолетом и приставляет воображаемый пистолет к виску. Хриплым от боли голосом он имитирует выстрел.

Трэвис. Пфф! Пфф!

Айрис забилась в угол. Ее трясет.

Звуки затихают. Мы видим результаты бойни: Айрис, дрожащую у заляпанной кровью стены; окровавленного Трэвиса, который лежит на диване; деда с разможенным черепом; ошарашенных полицейских; частного детектива с изрешеченным пулями лицом; лужи крови и одиноко валяющийся на ковре вестибюля Магнум; залитые кровью ступени,

на одной из них — никелированный Смит-Вессон; у лестницы — тело Спорта, скрючившееся в луже крови, и маленький пистолет возле его руки; столпившихся в проходе людей, которых сдерживают полицейские. Мы видим мелькающие красные огни, бегущих полицейских. Мы видим обычную ночную жизнь Манхэттена. Кто-то полюбопытствует, что произошло, и пойдет дальше по своим делам*.

Письмо из Питтсбурга

День. С деревьев опадают листья.

Квартира Трэвиса. Здесь все по-прежнему, за исключением нового переносного телевизора и дешевого кресла.

На столе — закрытый дневник. Настольный календарь показывает октябрь. Вдоль стены, где раньше висели газетные вырезки о Палантайне, наклеены новые материалы. Вот последняя страница из газеты «Нью-Йорк Дейли Ньюс» с заголовком ТАКСИСТ ВОЮЕТ С ГАНГСТЕРАМИ. Большие фотографии поли-

* Примечание автора. До этой продолжительной сцены бойни сценарий в основном развивался в реалистическом русле. Сцена же бойни является кровавой метафорой насилия, в ней больше сюрреализма, чем реализма. Это выброс скопившегося напряжения Трэвиса. Это второе пришествие психопата.

цейских, стоящих в комнате у Айрис после бойни, и фотографии Трэвиса. Под этим мате-риалом — статья из «Нью-Йорк Таймс». Заго-ловок над двумя колонками: ТАКСИСТ В ПЕРЕСТРЕЛКЕ, ТРОЕ УБИТО. Еще одна статья из Ньюса, на фотографии — пожилая супружеская пара, сидящая у себя дома в гостинной.

Заголовок гласит: РОДИТЕЛИ ШОКИРОВАНЫ, ВЫРАЖАЮТ БЛАГОДАРНОСТЬ. Две колонки из «Дейли Ньюс» без фотографии под заголовком: ГЕРОЙ-ТАКСИСТ ВЫЗДОРАВЛИВАЕТ. Статья под заголовком: ТАКСИСТ ВОЗВРАЩАЕТСЯ НА РАБОТУ.

К стене также прикреплено письмо. Простое письмо, написанное от руки на обычном листе бумаги. Судя по почерку, писавший очень хотел, чтобы оно получилось опрятным.

В то время как камера осматривает комнату Трэвиса, за кадром мы слышим голос пожилого мужчины. Это голос отца Айрис, который читает свое письмо Трэвису, то самое, что висит у Трэвиса на стене.

Отец Айрис (голос за кадром). «Уважаемый господин Бикл, трудно передать словами нашу с госпожой Стинсма радость, когда мы узнали, что Вы выздоравливаете и чувствуете себя хорошо. Мы пытались навестить Вас в больнице, когда приехали в Нью-Йорк для того, чтобы забрать Айрис, но Вы все еще находились в беспамятстве.

Мы перед Вами в неоплатном долгу за то, что Вы вернули нам нашу Айрис. Мы думали, что потеряли ее, но теперь наша жизнь вновь обрела смысл. Не надо даже говорить о том, что в нашем доме Вы вроде героя.

Я уверен, что Вам небезынтересно узнать об Айрис. Она вернулась в школу и много работает. Перемена для нее оказалась очень тяжелой, как Вы можете себе представить, но мы делаем все, что нужно, чтобы у нее больше не было причины убежать из дома.

В заключение госпожа Стинсма и я хотели бы от всего сердца еще раз поблагодарить Вас. К сожалению, мы не можем позволить себе еще раз поехать в Нью-Йорк, чтобы лично поблагодарить Вас, что мы бы с удовольствием сделали, если бы такая возможность была. Но если Вы когда-либо будете в Питтсбурге, Вы всегда будете самым желанным гостем в нашем доме.

С чувством глубокой благодарности, Берт и Айви Стинсма».

Старые друзья

Ночь. Улица перед отелем Плаза. Четыре такси стоят в ожидании у отеля. В свете огней разговаривают Старик и Трэвис. Волосы у Трэвиса уже почти прежней длины. Он одет,

как обычно — ковбойские сапоги, джинсы, клетчатая рубашка, армейская куртка, оружия при нем нет. На шее Трэвиса — шрам.

Старик. Один частник хотел махнутья колесами. У меня-то покрышки новые были. «Денька через два»,— говорю ему.

Чарли Ти паркует свою машину и подходит к Трэвису и Старикау.

Чарли Ти. Привет, Старик, Убийца.

Они обмениваются шутками.

Трэвис (улыбаясь). Привет, Чарли Ти.

Старик. Как дела, Чарли? Слушай, Трэвис, по-моему, у тебя пассажир.

Они видят, как швейцар захлопывает заднюю дверь машины Трэвиса.

Трэвис. Черт. (Убегает.)

Чарли Ти. Только не горячись, Убийца.

Трэвис машет на прощанье Старикау и Чарли Ти. Машина Трэвиса отъезжает. С заднего сиденья доносится женский голос:

— Восточная часть 56-й улицы, 34.

Трэвис узнает голос. Он смотрит в зеркало. Это Бетси. Трэвис ничего не говорит. Бетси нарушает молчание.

Бэтси. Здравствуйте, Трэвис.

Трэвис. Здравствуйте, Бетси. (Неловкая пауза.) Палантайна выдвинули кандидатом?

Бетси. Да. Теперь недолго осталось ждать. Семнадцать дней.

Трэвис. Надеюсь, он победит.

Бетси (с интересом). Как ваши-то дела, Трэвис? Я читала про вас в газетах.

Трэвис. Да... Все уже позади. Ничего особенного и не было. В газетах всегда преувеличивают. Пока еще трудно шею поворачивать, но это пройдет. Просто сплю больше, вот и все.

Трэвис останавливает машину у дома 34 на восточной стороне 56-й улицы.

Трэвис. Приехали.

Бетси роется в сумочке.

Трэвис. Нет, нет, не надо. Я плачу. Пожалуйста.

Бетси. Спасибо, Трэвис.

Бетси вылезает из машины и не торопится уходить.

Бэтси. Трэвис?

Трэвис. Да?

Бэтси. Может быть, я еще встречу вас когда-нибудь?

Трэвис (едва улыбаясь). Конечно.

Трэвис уезжает. Бетси смотрит вслед такси, которое медленно удаляется по 56-й улице.

Перевод А. Третьюхина

К о н е ц

ПОСЛЕСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА

Перевод художественного текста неизбежно отсекает многие ассоциативные нити, связывающие этот текст с культурным опытом социальной среды. Думаю, что несколько ремарок относительно тех важнейших моментов в метафорике и языке фильма, которые не нашли отражения в переводе, окажутся небезынттересными.

Внешние черты фильма (герой-одиночка, порочная женщина, враждебная атмосфера города и т. п.) заставляют рассматривать его в русле черного кино (*Film Noir*). На американской почве типичная для таких фильмов борьба одиночки за справедливость есть развернутая метафора на тему понятия «VIGILANTE», т. е. человек, устанавливающий порядок доморощенными методами по закону фронта. Тема «дикого Запада» в современном городе была бы тривиальной, если бы не замечание Скорсезе в беседе с П. Шредером о влиянии Ф. М. Достоевского. Это замечание побуждает искать в тексте и в фильме объяснения психологическому состоянию героя.

В этом отношении важную роль, на мой взгляд, играет упоминание того, что Трэвис постоянно употребляет какие-то таблетки. В тексте оригинала это совершенно определенные таблетки — бензедрин (BENZEDRINE или, сокращенно, *Benlies*). Бензедрин и подобные ему препараты, широко известные в 70-х годах, употребляются в качестве средств, помогающих преодолеть психические расстройства. Они вызывают бессонницу и повышенную инициативную активность. Нередко ими пользуются студенты, работающие по ночам, ночные водители и т. д. Поэтому подобные таблетки иначе называли DRIVER («водитель»), TRUCK DRIVER («водитель грузовика»), что наталкивает на ассоциации с названием фильма «TAXI DRIVER».

В сравнении с фильмом текст сценария дает намного больше информации о вьетнамском прошлом Трэвиса. В целом экранный вариант сценария делает из Трэвиса человека более сильного физически и психологически (например, он не дает Тому скрутить себя, а из интервью со служащим отдела найма в начале фильма мы узнаем, что он служил в морской пехоте, а не просто в армии, как в сценарии у Шредера). В тексте сценария из сцены с торговцем оружия становится ясно, что во Вьетнаме Трэвис в основном валялся по госпиталям. В фильме эта информация вообще отсутствует. Все это заставляет думать, что в тексте психологические мотивы поведения Трэвиса очерчены более четко.

Важную роль играет выбор имен. «Трэвис» — имя достаточно редкое. Полное имя — TRAVERS («человек на перепутье»). «Айрис» (Iris) значит «радуга» (вспомним ее разноцветные очки). Определенную трудность представлял перевод прозвищ. Wizard (переведено «Старик»), что дословно значит «кудесник», «волшебник», «мудрец». Все эти русские варианты казались вычурными для мира таксистов. Doughlory (переведено «Доллар»), что значит «пончик» или «солдат-пехотинец». Однако «dough» может значить «деньги», откуда и выбор перевода для того, чтобы отразить то, как жаден до денег этот человек.

И еще одно замечание. Маленькую роль молодого человека, который наблюдает за своей неверной женой из машины Трэвиса и который подтолкнул Трэвиса к насилию, в фильме сыграл сам Мартин Скорсезе. Играя эту роль, режиссер как бы направляет действие фильма внутри самого фильма.

А. Третьюлин

Подписаться на журнал «КИНОСЦЕНАРИИ» можно, начиная с любого номера.

Подписная цена на II-е полугодие этого года — 85 руб. за один номер.

На первую половину 1994 — 250 руб. за 1 номер.

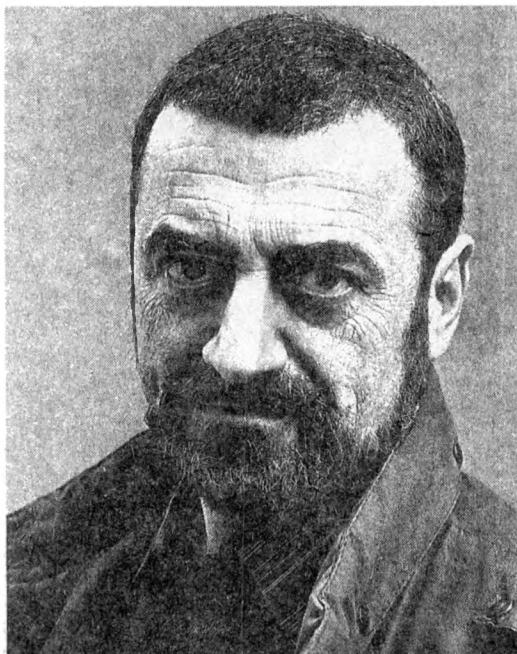
Журнал выходит один раз в два месяца.

Оформить подписку вы можете в отделении связи или в редакции по адресу:

103006, Москва, Воротниковский пер. д. 12

Индекс: 70434

ГРИГОРИЙ ГОРИН

ИРОНИЧЕСКИЕ
МЕМУАРЫ

Так будет называться раздел книги, которую я собираюсь издать совместно с журналом «Киносценарии».

Название простое и, собственно, и не требовало бы предуведомления. Почему «мемуары»? — Потому что автору уже за 50... Почему «иронические»? Потому что еще не за 80, и нет оснований для слишком серьезного отношения к собственным воспоминаниям...

Кроме того — вспоминаю только об артистах талантливых и остроумных, с которыми и прошла моя жизнь в кино. О них надо писать весело, по возможности их задирать, зная, что они не обидятся, а, в крайнем случае, дадут сдачи в виде эпиграммы, анекдота, байки, в которых мемуарист будет тоже выглядеть достаточно смешно...

Короче, будем веселиться и веселить друг друга, пока живы. Ибо, как справедливо сказал З. Паперный (может быть, и не сам, а вычитал в какой-нибудь книге мудрых изречений): «Мрачное лицо живого человека так же противоестественно, как веселое у покойника...»

ИГОРЬ КВАША

Игорь Кваша — здоровый мужик высокого роста. Только не все знают об этом. Я тоже узнал совсем недавно.

20 августа 1991 г., в самый тревожный день путча, Кваша был на митинге возле Белого дома вместе с женой. Неожиданно кто-то сверху, со ступенек прокричал в мегафон:

— Товарищи! Срочно нужны здоровые высокие мужики в отряд самообороны!

Кваша сразу понял, что это про него, и не раздумывая сделал шаг вперед. Два дня и две ночи он был там, в самых первых рядах, с

Идеальная роль, которую он еще сыграет на сцене,— Дон Кихот! Почему-то принято давать эту роль длинным долговязым актерам. Чушь! Это копье должно быть длинным, чтобы гнуться, актер должен быть невысоким и негибачем. Впрочем, Игорек вам это лучше все объяснит! Спорить с ним трудно, переспорить — невозможно. Даже друзьям. Некоторые из них, кстати, не выдержали и из-за этого эмигрировали из страны. Теперь, когда Кваша стал выездным, он достает их по месту нового жительства...



противогазом на случай газовой атаки... Он даже надевал его несколько раз...

Теперь вы понимаете, почему у Янаева дрожали руки от страха?

Некоторые знакомые удивились, что Кваша пошел на баррикады. Я — нисколько. Я вообще считаю, что он и не сходил с них никогда. Еще с 60-х!.. Там он провел основную часть времени, воюя с тиранами и несправдливостью.

А вообще-то Игорь Кваша тихий, добрый, нежный человек. Только не все об этом знают. Может быть, вообще никто не знает, кроме его внучки. Внучке всего месяц от роду... Но квашевские гены сильны, и она кричит, выражая, очевидно, какие-то свои взгляды на жизнь. Игорь смотрит на нее нежным взглядом и пока не ввязывается в спор...

САВЕЛИЙ КРАМАРОВ

Феномен популярности Крамарова будет еще долго волновать киноведев. Разглядывая его фотографии, потомки вряд ли смогут представить, каков был Савва и какова была его слава... А слава была бешеной, я тому свидетель...

Вспоминаю: конец 70-х годов. Харьков, дни советского кино на стадионе.

рует имя приближающегося божества:

— КРА-МА-РОВ! КРА-МА-РОВ!

...И вот — оно случилось! Звуки фанфар!!

На сцену выезжает мотоцикл начальника харьковского ГАИ. В люльке — Савелий со шлемом на голове, что придает его неповторимой внешности особый шарм.

Публика неистово аплодирует.



Фото Георгия Тер-Ованесова

Среди гостей: Рязанов, Санаев, Смокуновский и другие знаменитости. Впрочем, зал это мало волнует. Всем выступающим дается понять, что они — гарнир, приправа к горячему блюду. «Горячее» подадут, естественно, позже... Одним словом, Савелий запаздывает. Точнее — самолет, на котором он, может быть, прилетит... Радиосвязь с командой установлена, и ведущий программу конференсье периодически успокаивает публику сообщениями об этапах следования авиалайнера. Народ благоговейно смотрит в небо и сканди-

Крамаров оглядывает ряды, как Цезарь легионы, и громко выкрикивает первый тезис своей тронной речи:

— ДРУЗЬЯ! БЛАГОДАРИЮ ВСЕХ! ВЫ ЗНАЕТЕ: В КИНО Я ИГРАЮ В ОСНОВНОМ ЖУЛИКОВ, АЛКАШЕЙ И ПРИДУРКОВ. НАВЕРНОЕ, ПОЭТОМУ МЕНЯ ВЕЗДЕ И ПРИНИМАЮТ, КАК РОД-НО-ГО!!!

Радость публики не поддается описанию... Люди обнимаются, хлопают друг друга по спине, целуются.

Савелий невозмутимо продолжает:

— МЕНЯ ЧАСТО СПРАШИВАЮТ ПОКЛОННИКИ:

— А СКОЛЬКО ВАМ ЛЕТ?

Я ГОВОРЮ: А СКОЛЬКО ДАДИТЕ?

ОНИ ГОВОРЯТ: ВАМ ДАДИМ... ОТ ТРЕХ ДО ПЯТИ ЛЕТ... СО СТРОГОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ!»

Тут публика издает вой, вскакивает с мест, плачет от счастья...

(Позже, познакомившись с Савелием поближе, я с удивлением обнаружил, что он — довольно образованный молодой человек, любит литературу, мечтает сыграть Хлестакова и всерьез изучает основы иудаизма. Впрочем, все это скрывалось от публики. Народ имел такого Крамарова, которого хотел видеть...)

— МЕНЯ ЧАСТО СПРАШИВАЮТ: А КТО, САВЕЛИЙ, ВАША ЖЕНА?

Я ГОВОРЮ: А ВЫ КАК ДУМАЕТЕ?

ОНИ ГОВОРЯТ: ДУМАЕМ, ОДНА ИЗ ДВУХ... ЛИБО — АВДОТЯ НИКИТИЧНА, ЛИБО — ЕЛИЗАВЕТА МАВРИКИЕВНА!!

Обвал. Вой. Стон. Первые обмороки...

Вот какова была его слава. И вот от чего он однажды решил отказаться, подав документы на выезд в Америку.

Начальство ахнуло: И чего такому человеку не хватало?

Интеллигенция тут же сочинила злую остроу насчет очередной «утечки мозгов».

Простой народ просто отказался верить, восприняв происходящее, как очередную хохму:

— Савелий явреем заделался? Ну, молодец... Ну, дает... Ну, наливай!

Фильмы с его участием еще некоторое время продолжали показывать по телевизору, хотя фамилию из титров аккуратно вырезали. (Идиотизм нашей цензуры! Как будто Крамарова можно было с кем-то перепутать!)

Потом интерес к нему стал ослабевать, хотя иногда советскую общественность и будоражили слухи о его судьбе: снимается в Голливуде, сделал операцию по исправлению косяглазия и теперь играет исключительно агентов КГБ. Очевидно, американцы уверены, что у агентов — исключительно прямой и ясный взгляд на мир.

Перестройка вернула Крамарова стране. Сначала в титрах, потом в газетных интервью, потом он возник перед нами во плоти.

1992 год. Кинофестиваль в Сочи. Дирекция готовится к встрече голливудской кинозвезды. «Бронированный лимузин, несколько плечистых телохранителей... Однако, к удивлению устроителей, всякие предосторожности оказались ненужными. Крамарова никто не атаковал, не похищал, толпы поклонников не разрывали его на части.

На встречах со зрителями он повторял еще классическую репризу:

— ДРУЗЬЯ! КАК ВЫ ПОМНИТЕ, Я ВСЕГДА ИГРАЛ ЖУЛИКОВ, АЛКАШЕЙ И ПРИДУРКОВ! ОЧЕВИДНО, ПОЭТОМУ ВЫ И ВСТРЕЧАЕТЕ МЕНЯ, КАК...»

Шутка не работала. Встречали спокойно.

Страна изменилась: алкаши стали наркоманами, жулики ушли в коммерцию, придурки возглавили партии и непрерывно митинговали. Крамарову некого стало представлять, кроме самого себя. А это и есть самое сложное в судьбе артиста.

Иногда он рассказывал зрителям о своих грандиозных успехах в Голливуде, но делал это как-то неуверенно... И о толпах своих новых поклонников на бульварах Лос-Анджелеса тоже повествовал как-то нечетко, без подробностей. При этом в его округлившись глазах стала появляться скрытая печаль...

Меня лично это порадовало. «Теперь он сможет сыграть Хлестакова», — подумал я и даже представил, как трагически и достоверно прозвучит в его устах фраза про «сорок тысяч одних курьеров...»

А слава, в конце концов, дело наживное.

Его и сегодня все-таки узнают на улицах.

Помню, мы договорились встретиться у театра «Ленком». Он вышел из такси. Проходившие по улице две девушки и мужчина остановились как вкопанные.

— Смотри-ка! — сказала первая. — Это ж ...артист! Ну... как его... В Америке живет который... Еще лицо переделал который...

— Джексон?! — подсказала вторая.

— Ну! Не... А может, и не Джексон...

— Ладно! — сказал мужчина, обрывая спор. — «Жексон-Фуксон!» Пошли! Магазин закроеся!

И они быстро побежали прочь, не оглядываясь на бывшего кумира.

МИХАИЛ ДЕРЖАВИН

У Миши Державина нелегкая актерская судьба — о нем почему-то не сочиняют сплетен. Это вам не Гафт, не Козаков... Не Ширвиндт наконец, хотя они появляются на экранах телевизоров почти всегда вместе. Но про Ширвиндта сплетничают, про Державина нет — вот такая загадка зрительской психологии.

Даже в зените своей славы, когда Миша был Ведущим популярнейшего «Кабачка 13 стульев», о нем не сочиняли слухов и анекдотов. Про пана Директора — да (женился на пани Монике), про пана Гималайского — пожалуйста («У Гималайского родилась тройня. Все три матери чувствуют себя хорошо...»). Про пана Ведущего ничего подобного никто не припомнит.

Просто — симпатичный Ведущий и песенка «Закрыт... закрыт кабачок...» Мало! Непростительно мало для известного артиста, каким Державин и является на сегодняшний день.

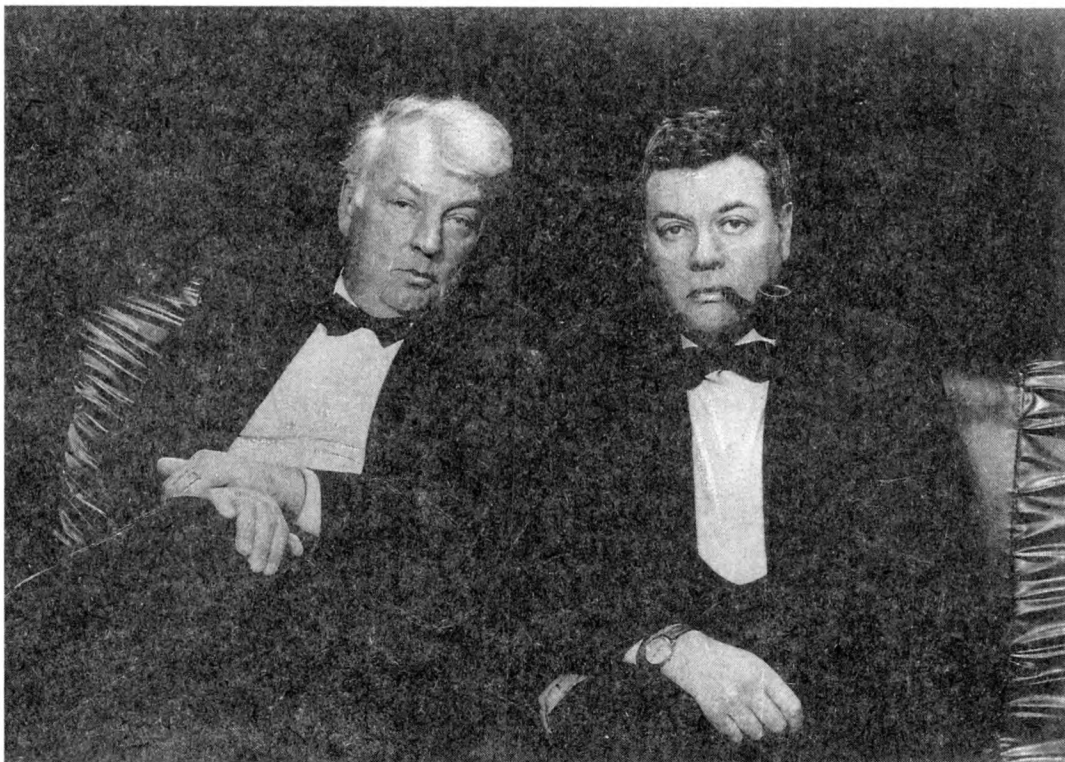
Пора исправлять превратности судьбы. Пора посплетничать о Державине, тем самым

переведа его из разряда «широкоизвестных» в разряд «знаменитых», где ему и приличествует быть соответственно таланту и заслугам.

При этом ничего и не надо выдумывать. Здесь подойдет грибоедовское: «...Я правду о тебе порасскажу такую, что краше всякой лжи...»

Итак... Во-первых, его настоящая фамилия не Державин. (Антисемитов прошу не волноваться.) Настоящая фамилия его предков — Захаров. Это так же точно, как то, что настоящая фамилия Захарова — Ширинкин... (И опять прошу антисемитов не становиться в стойку. И Михаил Державин, и Марк Захаров — абсолютные великороссы, что не мешает им к этому факту своей биографии относиться спокойно, а к шовинистам презрительно...)

Итак, Михаил Державин — сын известнейшего вахтанговского актера Михаила Державина, с детства был окружен знаменитостями



и популярнейшими личностями (Щукин, Симонов, Целиковская, Максакова, Завадский...). Список, который иному хватит на целый том мемуаров и интервью, Миша скромно умолчал, не сделав друзей отца своими покровителями...

Ну, ладно. Можно это и как-то понять и простить. Но, выйдя из знаменитой семьи, он, женись неоднократно, попадал в еще более знаменитые семьи... И снова — никакого резонанса в обществе.

Сообщаю любопытным: первый тесть — Аркадий Райкин.

Не ахайте! Да, об этом не писали... Да, вы не знали! А как вы могли знать, если Михаил никогда не стоял на сцене рядом с великим родственником и никогда не сообщал журналистам, что, мол, «вот тут... как-то с женой Катей и с... Аркадием Исааковичем мы пили чай на кухне... и он меня спрашивает... Миша, а в чем смысл жизни?»

Не было таких интервью. И, естественно, народ не знал ни дня свадьбы, ни часа развода... Что, конечно, не способствовало славе Михаила Державина.

Второй тесть был еще более знаменит... Легендарная личность. Герой Гражданской войны. Фольклорный персонаж... Что вы говорите? «Чапаев?!»

Почти угадали... Буденый!

И опять никакой утки информации. Про то, что Миша Державин — зять легендарного маршала, знали лишь очень близкие люди да еще, может быть, «классные следопыты». Это их мужественные отряды, бредущие по запутанным маршрутам Первой Конной, добрались наконец до поселка Переделкино, где располагалась маршальская дача и где их рапорт должны были принять сам Семен Михайлович, или его жена, или член его семьи, которым обычно и оказывался, к их изумлению... Ведущий «Кабачка».

Походы Первой Конной заставляли их любить учителя. «Кабачок» они любили сами, со всей страстью чистых пионерских сердец. Поэтому, когда выяснялось, что после многодневного бессмысленного перехода по болотам и топям надо салютовать и рапортовать пану Ведущему из «Кабачка», они понимали, что труды и лишения были ненеправильны и счастливое детство, которое обещало государство, уже наступило.

— ПИОНЕРЫ! — говорил им Державин, поднятый охраной с постели и потому застенчиво запахивающий полы домашнего халата, из-под которого выглядывали пижамные штаны.— ЗА ДЕЛО ПАРТИИ БУДЬТЕ ГОТОВЫ!

— ВСЕГДА ГОТОВЫ! — отвечали пионеры и тут же, без паузы: — ПИОНЕРСКИЙ ПРИВЕТ ПАНУ ЗЮЗЕ! УР-Р-А!!!

Седой маршал наблюдал эти сцены с балкона, прислушивался к раскатному «ура» и смахивал скупую слезу...

Он вообще очень любил зятя-артиста. Часто играл для него на гармонике и давал ему творческие советы типа:

— В театре, Миша, я думаю, как в бою... Надо доверять первому решению. Увидел Человека — и руби его к ядрене матери! А то, Миш, он тебя зарубит!

Советы тестя в прок не пошли.

Михаил никого не порубал из своих коллег, никого не оттолкнул даже локтем.

Так и жил, обходя сплетни и скандалы. Поэтому настоящая слава обходила его...

И сегодня он «выгодно» женат с точки зрения прибавки популярности. Его жена — популярная певица Роксана Бабаян, но поет с ней почему-то нахальный эстонец Урмас Отт, а Миша даже не аккомпанирует...

К чему я все это рассказываю?!

К тому, что мы равнодушны и нелюбопытны... И судьбой артиста не интересуемся, пока он не запьет, не повесится или в отчаянии не начнет публично перетряхивать постельное белье...

Я смотрю на Мишу Державина, на те роли, какие ему достаются в театре и кино, и с горечью думаю:

— Господи! Как бы он сыграл Чичикова?! А мистера Пиквика? А какой это мог бы быть Несчастливцев?!!

Ау, режиссеры, где вы?!

Ну что ему, убить кого-нибудь или банк грабануть, чтоб заинтересовались?..

Не может он, в силу застенчивого характера. Поэтому я и стремлюсь привлечь к нему внимание, как умею...

Кстати, говорят, он приватизировал Московский ипподром имени Буденного... И в связи с распадом Великой Державы свою роскошную фамилию сократил и отзывается на кличку «Держик»...

Ну, что еще? Остальное сами придумайте...

ГАФТ

...Ну что за странная фамилия? Да и фамилия ли?.. Похоже на аббревиатуру: «ГОСТ... ГАБТ... ГАФТ...» Ломаю голову над приемлемой расшифровкой... **ГЛАВНЫЙ АКТЕР ФАНТАСМАГОРИЧЕСКОГО ТЕАТРА... ГНЕВНЫЙ АВТОР ФИЛОСОФСКИХ ТИРАД... Не, не то. Листаю словари. В русском словаре Даля слова «гафт» нет. Есть — «гафтопсель», т. е. «парус над гафелем».. «Гафель» — «полурей над мачтой»... Что такое**

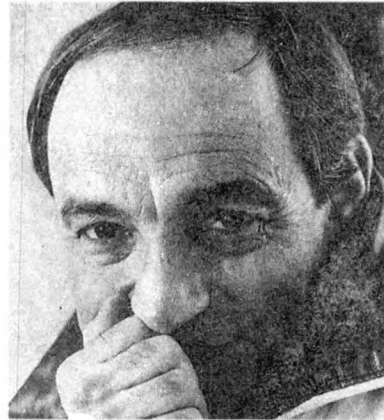
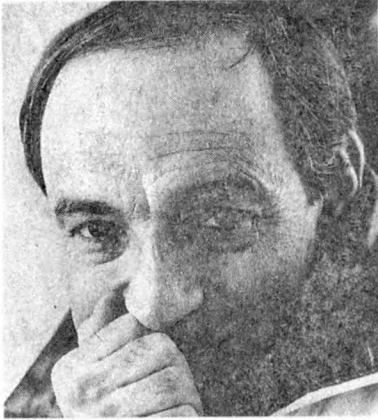
мурашки бегут по коже. От общения с ним кружится голова, всякий разговор — шаг в безумие...

— Валя, как прошел вчерашний спектакль?

— Гениально, старик! Гениально! Первый акт я вообще сыграл на пределе возможного. Многие даже ушли в антракте, думали — конец! Но второй я сыграл еще лучше...

— При полупустом зале?

— Да нет, старик... Зал заполнился... Народ



«полурей» — не знаю. «Полуеврей» — понятно, «полурей» — нет. Смотрю «Еврейскую энциклопедию». «Гафта» опять нет. Зато есть «гаф-тара»... «Гафтара» — глава из Книги Пророков, читается по субботам и праздникам. Близко, но не то...

По-немецки «хафт» — «арест», по-английски «гифт» — «подарок»... Опять не то. Не «арест» он никакой, а уж не «подарок» точно.

Беру медицинский справочник. Какое-то слово по-латыни, похожее на сочетание «гафт», и пояснение: **«ОСОБОЕ СОСТОЯНИЕ НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ»...**

Ну конечно! И как я не мог сразу догадаться? «Гафт» — не фамилия, а диагноз!

Особое состояние организма, когда нервы обнажены и гонят через себя кровь, слова, мысли.

Я лично болен «Гафтом» еще с юности. Когда увидел его в спектаклях у Эфроса. Потом в Сатире. Потом опять у Эфроса. Потом в «Современнике»... Потом он меня уже преследовал всюду. Когда я вижу его на сцене, у меня начинает стучать сердце, слезятся глаза,

со сцены полез в зал, чтобы посмотреть... Спектакль я практически один заканчивал.

...И сразу, без паузы:

— Но вообще-то, старик, честно. Я стал плохо играть. Растренирован. Не с кем же у нас работать... и пьеска эта, конечно, фельетон. Там нет глубины! Старик, напиши для меня. Я хочу играть в твоей пьесе.

— Валя, но вчера была тоже моя пьеса.

— Ну да... Я и говорю. Пьеса гениальная! Мы играем не то. И я стал плохо играть. Вот в кино сейчас сыграл здорово. По-моему, гениально. Видел мой последний фильм?

— Видел.

— Плохо я там играю... Потому что сценарий — дерьмо. Не твой случайно?

— Нет.

— Вот поэтому и — дерьмо. А пьеса твоя гениальная. И та, что вчера играл... Ты только напиши ее, старик. Я сыграю. Я смогу.

Тут он прав. Он сможет, сможет свести с ума и сделать счастливым.

Я готов писать для него. Я болен «Гафтом» неизлечимо...

ШУРА ШИРВИНДТ

Начинаю писать портрет Шуры Ширвиндта... и рука останавливается. Слишком давно знакомы, слишком плотно общаемся. Тот случай, когда знание деталей только мешает. Как говорится: лицом к лицу — лица не разглядеть. Да и не с моими жалкими возможностями братья за такую модель. Здесь нужны сочные краски, рембрандтовская кисть. Фантазируя, закрываю глаза и вижу портрет Шуры в домашнем халате, в кресле, с бокалом вина и с Саскией на коленях... Или даже с двумя Саскиями... или тремя... (Сразу оговорюсь: ревнителей домашнего очага прошу не возмущаться. Уверен, Таточка Белоусова, жена Шуры, простит мне эту фривольную композицию. Она мудрая женщина и понимает, что силуэты двух-трех Саский на полотне не затмевают ее лик мадонны и царицы семейного очага. В свое время я подтвердил это стихами в ее честь, где есть и такие строки: «Как самый счастливый билет в лотерее, так русская женщина — в доме еврея!») Впрочем, не отвлекаемся. Итак, рисуем Шуру с несколькими Саскиями... Это — стереотип, который навязал

ему кинематограф: сердцеед, соблазнитель, бабник!..

Иногда, правда, давали сыграть роли меньшевиков. Особенно в застойные годы. Кто-то наверху решил, что типичный меньшевик — это Ширвиндт в пенсне... Большевика разрешили сыграть только один раз в фильме Карасика, и то — в гробу!

А он еще наиграл бесчисленное количество иностранцев: эlegantный француз, суматошный итальянец и, конечно, невозмутимый англичанин с неизменной трубкой во рту.

О, эта несчастная судьба артиста с космополитически правильными чертами лица!

И мало кто знает, что начинал Шура свою жизнь в искусстве, как простой русский мужик в спектакле Театра имени Гоголя в пьесе Салынского... Шура с нежностью вспоминает эту этапную роль, когда целый акт надо было лежать в валенках в избе на печи, а потом произнести всего одну реплику: «ПОШТО, МУЖИКИ, ЗАЗРЯ ПО СТЕПУ МЫКАЕМСЯ?!»

Представляю, как замирал зал от неожиданности!..



К сожалению, позже ничего близкого по силе выражения глубины народного чувства драматургия ему не предлагала.

А зря! Ведь если приглядеться повнимательней: Александр Ширвиндт — явление в нашем искусстве удивительно российское, почвенное, сермяжное, если хотите. Недаром же его так обожают и принимают простые люди: рыбаки, егеря, шофера да и просто ханыги у магазинов. Спотыкаясь о его фамилию, именуя его то «Ширлингом», то «Шилингом», они все-таки моментально признают его стопроцентно своим, надежным мужиком.

Вообще, убежден: владение Шурой так называемыми «подцензурными выражениями» — искусство неповторимое, музыкальное, если вдуматься! Не удивлюсь, если со временем меломаны и знатоки будут организовы-

вать специальные концерты в залах филармонии, чтобы прийти и послушать, как звучит какое-нибудь низкое «бля» в Шурином исполнении...

А впрочем, может, я ошибаюсь, российского мужика ему уже не сыграть. Потому что впереди у него роли из библейских сюжетов... пастух Авраам... Или строитель ковчега Ной. А может, и Моисей, ведущий толпы людей через пески? Картина, достойная кисти Иванова: идет Шура с развевающейся бородой по барханам, дымит трубкой, подбадривает слабых, осаживает нахальных. И так он естественно вписывается в эти библейские пейзажи... И лишь печально-иронический взгляд выдает вечный вопрос, волнующий его с молодости: «Пошто, мужики, зазря по степу мыкаемся?!»

ВНИМАНИЮ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ!

**Редакция нашего журнала готовит к печати
новую книгу ГРИГОРИЯ ГОРИНА
«СТОП, НА СЕГОДНЯ ХВАТИТ!»**

**В книге — обо всем, что для писателя
связано с кинематографом:**

о людях и судьбах, событиях и ситуациях.

И обо всем этом —

с присущим автору юмором.

**Предварительные заявки на книгу
присылайте по адресу:**

103006, Москва, Воротниковский пер., д. 12.

В редакцию журнала «Киносценарии»



ЛАЙЗА, РОЖДЕННАЯ БЫТЬ ЗВЕЗДОЙ

(биография)

С момента рождения она была в центре внимания; ей было предопределено самой судьбой стать объектом бесконечного завораживающего интереса широкой публики к тому, что стало неотъемлемой частью ее артистического наследия, — ее таланту, привязанностям, драмам и триумфам.

Она — само воплощение идеи шоу-бизнеса, блестящая супер-звезда, олицетворяющая колдовские чары Бродвея и воспоминания о золотой эре Голливуда, о ее матери и отце, о той ослепительной эпохе, когда весь мир казался более целомудренным и естественным.

В какой-то степени секрет ее притягательности, объясняющей обилие раздражителей и поклонников, готовых ради нее отдать все, заключается в том, что она воплощает историю жизни, полной легенд, не лишенной налета мелодраматичности; ту жизнь, в которой периоды безмерного счастья сменяются периодами неизбывного трагизма.

И хотя она самым решительным образом противится тому, чтобы ее считали одной из немногих состоявшихся великих артистов эпохи шоу-бизнеса (с учетом ее достаточно молодого возраста, когда еще столько свершений впереди), история ее жизни несомненно достойна славы именно того Голливуда, который создал ее. И пришло время рассказать об этой жизни.

ПРОЛОГ

**(Музыкальный зал
в Радио Сити,
апрель 23, 1991 год)**

Цены на билеты были невероятными, и даже в одиннадцатом часу, когда до поднятия занавеса оставались считанные минуты, очавшиеся поклонники предлагали спекулянтам неслыханные барыши в обмен на единственный вожаделенный билет.

Поклонники были неутомимы, они то и дело устремлялись к бесчисленному ряду выстраивающихся лимузинов, пытаясь первыми

разглядеть прибывающих знаменитостей еще до того, как их ноги в дорогостоящей обуви коснутся ярко освещенного со всех сторон прожекторами тротуара.

Для особо известных лиц был отведен специальный вход, отгороженный барьером из красного бархата. Именно они, эти несколько избранных, одним своим присутствием наэлектризовывали атмосферу в зале, подогревая впечатление о том, что сегодняшний вечер превзойдет все самые ослепительные представления на Бродвее прошлых лет.

Внутри зала в Радио Сити изысканно одетая публика, сжимая программки и отгесняя друг друга в надежде получше разглядеть

своих кумиров, включая близких друзей и поклонников Лайзы Минелли, ждала в нетерпении.

Огни в зале погасли, а вместе с ними затих и шум голосов, но в воздухе по-прежнему чувствовалась атмосфера напряженного ожидания. При появлении Лайзы толпа взревела, почти вскочив в едином порыве с мест. Она стояла одна на сцене, в коротком блестящем, белого цвета, плаще от Исаака Мизрахи, что делало ее особенно обворожительной, поскольку подчеркивало ее фантастически длинные ноги. Неожиданно, оставшись наедине с 6200 обожаемыми поклонниками в день своей премьеры, Лайза почувствовала дрожь во всем теле.

Обычно сцена, как ни одно другое место, придавала Лайзе уверенность в себе, так как именно игра возвращала ей чувство защищенности и любви. Но в этот вечер Лайза испытала такое чувство страха, что, как она призналась позднее (при этом у нее даже задрожал голос), она почувствовала, как у нее сосет под ложечкой.

Но опытная актриса в ней помогла ей справиться с собой. В жизни ее всегда отличали бьющая ключом энергия и обостренность восприятия, всепроникающая нервная возбудимость натуры и глубокая искренность чувств. И вместе с тем на сцене она всегда демонстрировала высокий профессионализм, оставаясь звездой несравненной и неуязвимой.

В начале своего выступления она прибегла к хитроумному трюку, с тем чтобы сразу расположить к себе зрителя через создание особой атмосферы близости с ним. Взяв бинокль и направив его на публику, она запела с оттенком самоиронии в голосе песню под названием «Ты близко». За этой песней последовала еще более возбуждающая чувства людей песня «Некоторые люди», и далее она спела специально сочиненную для нее оду пирогам Сары Ли. Но ни комичная забавность песенки, ни привычный энтузиазм публики не смогли помочь ей справиться с чувством «сценического» страха. Этот страх перedalся ей с генами матери, и этим вечером он завладел ею столь сильно, как никогда ранее.

В течение всего первого акта от нее исходил сногшибательный заряд всесокрушающей энергии, в которой поочередно звучали то безудержная смелость, то романтика и печаль, то надежда и сердечная теплота, то обольщение и мольба. При этом ее громадные бархатисто-коричневого цвета глаза так ни разу и не выдали глубоко засевшее в ее душе чувство страха.

Ее все еще билa нервная дрожь, когда она начала исполнять свою лучшую вещь первого акта под названием «Замечая вещи», посвя-

щенную памяти отца. Эта песня явилась кульминацией всего выступления, сентиментальным и трогательным объяснением в любви своему отцу, которого она, любя всем сердцем, боготворила. Во время исполнения песни на Экране позади нее демонстрировались слайды, рассказывающие о ее детских годах в окружении матери и отца.

Когда она отдавала дань памяти отца, для тех из присутствующих, кто хорошо знал историю ее жизни, становилось все очевидней, что в этот вечер в зале Радио Сити витал не только дух Винсенте Минелли. Здесь присутствовали и другие менее почитаемые духи и образы, и связанные с ними менее радостные воспоминания, о которых Лайза, естественно, предпочла не делиться с публикой, хотя они навсегда и остались в ее памяти.

Одно из таких воспоминаний связано с появлением Лайзы в том же зале Радио Сити в представлении под названием «Вечер ста звезд». Это было в самом разгаре ее увлечения наркотиками, в преддверии дней, проведенных в клинике Бетти Форд.

Актриса Энн Джефри в тот вечер выступала вместе с Лайзой на сцене Радио Сити, и ее воспоминания могут частично объяснить негнущий огонь «сценического» страха, испытанного Лайзой годы спустя на той же сцене.

«В день представления все сто «звезд» должны были выстроиться в одну линию и каждый на своем месте исполнить какой-либо номер. Я находилась в самом центре сцены строго по линии, и Лайза направилась ко мне, напевая и улыбаясь.

Вдруг она, нарушив весь строй, схватила меня за руку и прошептала: «Держи меня! Держи меня крепко!» Она похолодела, мгновенно выступил пот, и она вся начала дрожать.

Я поняла, что что-то произошло. Но тогда я не знала, что она уже не могла обходиться без наркотиков. Опираясь на мою руку, она закончила свой номер. И затем, прижавшись ко мне, сказала: «Спасибо, что ты поддержала меня. Иначе я не смогла бы окончить номер. Я просто не могла двигаться».

Эти дни уже давно прошли, и теперь, когда она заканчивала первую часть своего представления, названного «Шаг навстречу», постепенно обретая успокоение в воспоминаниях о своем отце и всех дорогих для нее людях, которые отвечали ей взаимной любовью, она почувствовала, как вся ее нервная дрожь чудом ушла.

В этот вечер именно здесь в Радио Сити, где она побьет все рекорды, она была вознесена на вершину славы, покорив наиболее театральную сцену мира и тем не менее снова доказывая всем, что все превратности судьбы,



Джуди и Винсенте во время крещения Лайзы

оказавшиеся на ее «звездном» пути, она успешно преодолела.

Ее мать никогда не выступала в Радио Сити, поэтому здесь по крайней мере легенда о Джуди как бы ушла в тень, а легенда о Лайзе заблестала как никогда ярко. И когда вся публика, в едином порыве, стоя устроила ей в конце спектакля десятиминутную овацию, они тем самым выказывали ей свое обожание и любовь, адресуя их Лайзе, а не Джуди. Лайзе — живой легенде, — чей талант превзошел всех и вся.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

С рождением дочери Винсенте Минелли и Джуди Гарланд 12 марта в 7.58 утра во вторник в Ливанском госпитале Седарс в Лос-Анджелесе, Калифорния, в истории Голливуда появилась новая звезда.

Весом в шесть паундов и десять унций (менее трех кг), с темными волосами, блестящими карими глазами и нежной безупречной кожей, она с момента своего первого вдоха была выбрана судьбой привлекать к себе внимание. Фрэнк Синатра стоял одним из первых у ее колыбели, дети Чарли Чаплина стали ее первыми спутниками детских игр, а Беверли Хиллз местом, где началась ее сцена для игр.

С самого начала стало ясно, что ее настоящей сценой в жизни станет Голливуд, поскольку в жилах у нее пульсировала кровь людей, ставших королями шоу-бизнеса.

Она была единственной дочерью Винсенте Минелли и Джуди Гарланд и почти до пяти лет жила в мире, полном тепла и спокойствия, где царилась любовь двух людей, сила которой равнялась только силе их любви к дочери.

Винсенте Минелли впервые встретил Джуди Гарланд в 1943 году, когда он ставил

фильм «Встречайте меня в Сент Луи», где она снималась. В то время ей было двадцать два, но она уже была кинозвездой, чье имя знали все...

Хотя она тогда еще этого не знала, но Джуди была на вершине успеха. У Винсенте, напротив, все его успехи еще были впереди. Начав с режиссуры в Нью-Йорке и художником-оформителем в Радио Сити, он затем отправился в Голливуд, где поставил пару фильмов. Но «Встречайте меня в Сент Луи» был для него огромной первой удачей. Этот фильм имел кассовый успех, ибо в нем снялась звезда, привлекавшая толпы зрителей, — Джуди Гарланд.

Винсенте был необыкновенно талантливым человеком, подчас рафинированным, космополитом по своим взглядам, широко образованным, с утонченным вкусом. Внешне, по своему поведению, Джуди — избалованная вниманием звезда, не скрывающая своих эмоций, со все увеличивающейся склонностью к любого рода синтетическим наркотикам, — имела мало общего с Винсенте. Однако, как только начались съемки фильма под лучами горячих прожекторов в студии Метро-Голдвин-Мейер, они понемногу начали склоняться к признанию таланта друг друга, а вскоре и влюбились. Джуди поняла, что картина «Встречайте меня в Сент Луи» была настоящим произведением искусства. Винсенте, в свою очередь, был загипнотизирован чарами и хрупкостью Джуди. Оба они были артистами, обладавшими ярким темпераментом, соединенными силой общего таланта; их любовный союз стал неизбежен.

Винсенте был всего лишь на восемь лет старше Джуди, но по своему кругозору, образованию в области литературы и культуры оказался намного более развитым, чем Джуди. В итоге он стал играть роль наставника по отношению к ней: доставал ей книги, знакомил с французской литературой, классической музыкой, искусством. Вскоре он обнаружил, что Джуди — способная ученица. Она была любознательна, сообразительна и обладала способностью легко распознавать подлинное качество и стиль.

«Встречайте меня в Сент Луи» принес громадный успех как Винсенте, так и Джуди. Их следующая совместная работа «Часы», в которой Джуди сыграла свою первую драматическую роль, была также успешной, и, согласно опросу Гэллопа, она была признана одной из пяти самых популярных звезд в стране три года подряд. В июне 1945 года она и Винсенте поженились... Лайза появилась на свет спустя точно девять месяцев.

Джуди и Винсенте души не чаяли в своей дочери, и в отличие от многих других детей артистов Голливуда Лайза мало времени

проводила в детской, вдали от своих родителей. Она была неизменной любимицей и баловнем, которую окружали вниманием, восторгами и серенадами. Когда она научилась ползать, то хотя и с трудом, но доползала до комнаты родителей наверх, где каждый вечер у них был ужин с коктейлями.

У Лайзы не было соперников, которые могли бы претендовать на любовь ее родителей. У нее не было ни сестер, ни братьев, которые могли бы омрачить ее счастье или оспорить ее первенство, ей часто даже позволялось спать в кровати вместе с родителями...

Как и союз ее родителей, Лайзино чувство семейной надежности вскоре оказалось иллюзией. Джуди, которая привыкла к роли единственного «ребенка» Винсенте, стала время от времени испытывать плохо скрываемое чувство зависти к Лайзе из-за его пламенной любви к дочери... Подверженная приступам колита и бессонницы, Джуди снова пытается найти спасение в бензедрине и декседрине и в других наркотиках, которые помогали ей не только контролировать свой вес, но и пережить мучительную бессонницу многих ночей. Прием наркотиков привел к параноидальным явлениям, быстрой смене настроений и резким вспышкам раздражения. Все это не могло не отразиться на ее карьере, чей немеркнущий блеск начал тускнеть... Она стала пропускать дни съемок и, даже появляясь в некоторых эпизодах, часто выглядела слишком уставшей, чтобы ее можно было снимать крупным планом. Какое-то время она посещала психиатра, но редко говорила ему всю правду, тем самым ставя под сомнение весь курс лечения.

Винсенте боролся за то, чтобы сохранить семейный союз и спасти Джуди от ее страсти к наркотикам. Он жил как бы среди зыбучих песков, никогда не зная, что станет с Джуди, с жизнью их семьи. Только Лайза давала ему уверенность и постоянство, и с самого начала именно в ней он искал надежду на счастье.

Он фотографировал ее и днем, и вечером, с особой любовью фиксируя малейшие детали внешности своей маленькой феи, ее лучезарную улыбку, каждое ее мимолетное движение. Изначально она была вовлечена в круговорот жизни настолько интенсивный, что, казалось, ее детских сил не хватит на то, чтобы защититься от привычных шишек, выпадающих на долю детей. У нее появилось весьма обостренное чувство восприятия — у этой наполовину фарфоровой куколочки, хрупкого создания с большими карими глазами, и наполовину мини-человечка, самым серьезным образом обзирающего и замечающего вокруг себя всех и каждого.

Неудивительно поэтому, что жизнь каза-

лась Лайзе серьезной вещью. В свои полтора года Лайза стала свидетельницей яростных споров, попыток самоубийства, разного рода ситуаций сверхдраматического характера... Вместе с тем, несмотря на все передраги их семейной жизни, Джуди и Винсенте делали все, чтобы в детстве Лайза испытала все радости материального благополучия своих родителей, ни в чем не отставая (в этом смысле) от детей других актеров Голливуда...

Вечеринки в доме Минелли стали частью легенды. Частыми гостями в доме были Богарт и Баколл, а Гарольд Арлен музицировал, и под его аккомпанемент Джуди пела. Дочь Вана Джонсона, Шилер, вспоминает пышность этих не совсем детских праздников, на которых няни предавались сплетням о шансах их хозяев завоевать высшую награду Академии Киноискусства, в то время как их изнеженные подопечные вкушали прелести детских развлечений. На праздниках в доме Лайзы часто устраивались катания на ослике, кукольные представления, просмотр всех последних картин. Все это было весьма искусно продумано.

С самого раннего детства Лайза не была безучастным наблюдателем событий и встреч с участием артистов, не довольствовалась ролью зрителя. Напротив, она живо участвовала сама во всех развлечениях. Автор песен Сэмми Ках с удовольствием вспоминает, как крохотная Лиза имитировала Джуди при свете прожектора...

С учетом влияния ее родителей, ее собственной живости и природной общительности, отсутствия страха перед камерой — дебют Лайзы в шоу-бизнесе был только вопросом времени. Позднее Лайза сама отмечала: «Когда твоя мать — Джуди Гарланд, а отец — Винсенте Минелли, кинорежиссер, у тебя в жизни остается один-единственный путь: пойти по их стопам». Ей было всего три года, когда ее родители дали ей возможность впервые участвовать в кино, в фильме «Одним прекрасным летом давным-давно», где она появляется в последней сцене в роли ребенка Ван Джонсона и Джуди. В то время Джуди сама заметила не без высокопарности: «Лайза теперь понимает, когда мы заводим беседу о нашей работе в студии. Я полагаю, что профессия актера — чудесная вещь, и я уверена, что она сделает Лайзу счастливой». Участие в шоу-бизнесе, однако, никогда не принесло Джуди полного счастья и уверенности, она часто мечтала о нормальной жизни. В конце, оглядываясь назад, на свою разбитую жизнь, она заключила: «Голливуд забрал у меня мое детство, мой покой».

И все же, несмотря на свою пронзительность и любовь к Лайзе, она не обладала умением извлекать уроки из прошлого опыта,



Лайза в одном из театральных костюмов, сделанных Винсенте специально для нее.

с тем чтобы с Лайзой не произошло того, что с ней. Не сделав выводов из истории своей собственной карьеры и забыв о зияющих ранах, нанесенных ей, Джуди устроила дебют Лайзы. Отчасти она сделала это потому, что ее стремление к нормальной жизни контрастировало с осознанием того, что Лайза уже ребенком проявила незаурядные способности, чтобы стать подлинной звездой, и мечтала о карьере артистки.

Впервые на сцене с матерью Лайза появилась в театре Палас, где она танцевала перед публикой, в то время как Джуди пела «Свани», и она никогда не забудет вал аплодисментов, захлестнувших их; «и я также помню, что меня очень заботило, не видны ли были мои штанишки во время танца». Ей понравилось быть в центре внимания и испытать соблазнительный искус массового поклонения. Ей было тогда десять лет, и с тех пор любая другая судьба казалась ей заурядной.

Лайзе пришлось постоянно бороться с различными ситуациями и обстоятельствами в



Первое профессиональное выступление Лайзы и Джуди в телевизионной программе. 1963 г.

жизни, вплоть до настоящего времени. Летом 1949 года — года, когда она впервые снялась в кино, — ее мать проходила лечение шокотерапией, после того как несколько раз пыталась наложить на себя руки... Однако, только успев выйти из больницы, на попечение измученного всем этим Винсенте, Джуди опять теряет над собой контроль, прибегая к таблеткам и барбитуратам.

Винсенте оказался не в состоянии побороть привычки Джуди, а она уже и не любила его. В самые последние дни перед разводом она поделилась со своим другом Ван Джонсоном опасениями относительно того, что скоро равновесие и спокойствие в жизни Лайзы будет нарушено. Со слезами, заполнившими до краев ее громадные карие глаза, Джуди сказала: «Что сказать трехлетнему ребенку? Не увлекайся марципаном, дитя, так как однажды кто-нибудь отберет его у тебя? Я не могу лишиться ее этих радостей». Совместная жизнь Лайзы с отцом и матерью была закончена, и, как в большинстве раздирающих душу сагах из мира шоу-бизнеса, ее детство имело несчастливый конец, нарушив привычный жизненный уклад. 22 декабря 1950 года Джуди Гарланд ушла от Винсенте, оставив его вдвоем с Лайзой. Безудержная печаль Лайзы в связи с ее уходом была особенно сильной, так как ярко контрастировала с безоблачно-счастливым настроением людей в праздничные рождественские дни. И до сего дня, когда она слышит запись голоса Джуди, исполняющей «Пусть у тебя будет маленькое веселое Рождество», она спешит покинуть комнату, чтобы не разрыдаться; она объясняет это так: «Это все оттого, что оно было таким многообещающим».

ВЕНДИ ЛИ

Перевод М. Петрухиной

Продолжение следует

Общероссийская Гильдия сценаристов выражает благодарность Обществу купцов и промышленников Российской межрегиональной общественной организации за оказанную ими материальную помощь некоторым членам Гильдии.

АЛЕКСАНДР ЧЕРВИНСКИЙ

КАК ХОРОШО ПРОДАТЬ ХОРОШИЙ СЦЕНАРИЙ

КАКОЙ ЗАМЫСЕЛ — ЛУЧШИЙ?

Поиск и запись идей «А что, если...» вы должны начать немедленно и продолжать в течение всей вашей карьеры сценариста. Но в какой-то момент вам надо выбрать единственную историю и довести ее до готового сценария. В этот момент необходимо суметь оценить достоинства идей, их реальный потенциал и качества, которых им недостает, чтоб стать основой хороших сценариев.

Мы будем говорить одновременно о художественном и коммерческом потенциале. Ибо решая, какой из ваших замыслов превратить в сценарий, какая из ваших потрясающих идей действительно способна потрясти — нужно заботиться и о том, и о другом.

Понятие *коммерческий потенциал* несложно и означает, зарабатывает ли фильм, снятый по вашему сценарию, больше денег, чем было потрачено на его производство, рекламу и прокат. Другими словами, вы должны думать, достаточно ли людей захотят его посмотреть.

Применительно к вам, как к сценаристу, коммерческий потенциал замысла означает, что он обладает качествами, заставляющими голливудского агента, продюсера или звезду думать, что такой фильм можно снять и заработать на нем. Такое мнение увеличивает шанс того, что именно этот замысел поможет вам заработать деньги, написав сценарий.

Художественный потенциал определить не так просто. На одном уровне это означает, что данный замысел обеспечивает все возможности для выполнения задач по созданию сценария с задуманными вами сюжетом, характерами и темой. Но речь идет об искусстве. Можно написать сценарий, прекрасно рассказывающий о способах приготовления бу-

тербродов с сыром, но вряд ли он поразит высокими художественными достоинствами.

Художественный потенциал подразумевает возможность наград, восторгов критики, внимание избранной аудитории и так далее. Другими словами, если картина получила награду нью-йоркской критики и билет на нее продается за 14 долларов, у нее есть художественный потенциал. Если производство ее стоило 14 миллионов долларов, а прокат принес 140 миллионов долларов — речь идет о коммерческом потенциале. Художественный успех — результат чьего-то мнения, коммерческий успех — доллары и центы. Картины Тарковского имели художественный успех. «Пятница 13» — коммерческий. Все это очевидно. Но вы же хотите, чтоб было и то, и другое. Как этого достигнуть?

Следующий список рекомендаций позволит вам оценивать потенциал ваших идей на разных стадиях работы над сценарием. Список этот составлен в порядке приоритетов, начиная с важнейших соображений.

ОЦЕНКА ЗАМЫСЛА

Первые пять качеств замысла имеют отношение и к коммерческому, и к художественному успеху. *Эти пять качеств необходимы каждому фильму.*

1. Герой

История должна иметь, по крайней мере, одного героя, главное действующее лицо, большую часть времени присутствующее на экране, зримые действия которого движут сюжет и которому зрители глубоко сочувствуют. Герой может быть мужчиной, женщиной, мальчиком, девочкой или человекообразным существом, лишь бы его характер (характеры) являлся центром внимания и движущей силой сюжета.

2. Сопоставление

Читатель обязательно должен иметь возможности поставить себя на место героя, то есть сопереживать всем поступкам героя. Это не означает, что герой должен быть безгрешен, неспособен на неожиданные выходы или лишен отрицательных черт. Чаще всего правильное делать наоборот. Это означает лишь то, что характер должен вызывать у читателя и зрителей симпатию и сопереживание.

Как достичь такого эмоционального сопоставления (идентификации), будет рассказано в отдельной главе.

3. Мотивировки

Необходима ясно выраженная мотивировка поведения, цель, которую ваш герой надеется достичь прежде, чем закончится ваша история. Нельзя просто изображать существование героя *как в жизни* и называть это художественным фильмом. Вам надо придумать нечто, чего герой хочет. Вообще-то говоря, желание героя, цель его действий — это и есть *про что кино*. Будь это поиски сокровища, любовь к девушке, раскрытие убийства или победа на скачках, именно желание, цель героя всегда движет сюжет вперед.

Желание, цель вашего героя (или героев) — краеугольный камень всего замысла. Оно не только необходимо для выбора лучшей идеи сценария, но также важно для развития характера, конструкции сюжета и каждой отдельной сцены. Любая грань творчества сценариста так или иначе связана с мотивировкой главного действующего лица. Эта мотивировка будет детально обсуждаться во всех последующих главах.

На этой стадии работы над сценарием идея должна быть выражена в терминах «герой» и «мотивировка». Вместо формулировки: «А что если хозяин швейной фабрики поступит в колледж вместе со своим сыном...?» будем формулировать: «Это история о преуспевающем, но необразованном швейном фабриканте, который хочет посещать колледж вместе с сыном» («Обратно в школу»).

Выражая идею в такой форме, вам легче будет судить о ее достоинствах, принимая во внимание остальные пункты списка.

4. Препятствия

В достижении своей цели герой должен встретить серьезные препятствия, сопротивление и помехи. Понятие «серьезные» означает соответствие помех характеру героя. Если вы пишете про 23-летнюю женщину, которая мечтает поступить на службу в полицию и неграмотна, — это серьезная помеха в глазах зрителя, сочувствующего героине, притом что зритель умеет читать и писать.

5. Отвага

Столкновение с препятствиями и помехами в достижении цели ставит героя перед

необходимостью проявить отвагу. Это может быть или физическая храбрость, или нравственная, или и то и другое. Если герою ничего не противостоит или препятствия не пугают, то история не будет эмоционально воздействовать на зрителя.

Сценарий может быть и о том, как герой *приходит* к пониманию необходимости проявления отваги, зритель может быть заинтересован и таким образом. Но проявление отваги необходимо так или иначе.

Вышеперечисленные пять пунктов *должны* присутствовать в любом сценарии и с коммерческой, и с художественной точки зрения.

Следующие пункты главным образом относятся к коммерческой стороне дела и служат для выявления потенциального коммерческого успеха.

Боле того, агенты и руководители студий и телевизионных каналов, продюсеры, звезды и финансисты предпочитают видеть эти качества в сценариях, избираемых ими для дальнейшей работы, продажи и постановки. Другими словами, чем более ваша идея будет соответствовать этим качествам, тем меньше препятствий вы встретите на пути к ее реализации.

6. A high concept.

Это можно перевести как «абсолютная идея». Этот распространенный в Голливуде термин имеет много значений, но основной его смысл выражается в том, что бывают идеи истории, которые сами по себе, независимо от качества фильма и рекламы, вызывают интерес зрителя. Если одной вашей фразы «Это история про _____, который _____» достаточно, чтобы зрители стали в очередь к кассе или крутили ручку переключателя каналов в поисках вашего фильма, значит вы имели в основе «абсолютную идею». Фильмы, основанные на «абсолютных идеях», — это те, чья реклама в газетах и на телевидении обещает секс, насилие, юмор или (в основном на телевидении) некоторые доселе запрещенные или злободневные темы (ядерная война, инцест, СПИД и т. д.).

В основном идеи такого рода мы встречаем на телевидении, но они, увы, играют все большую роль в производстве художественных фильмов. Удручающе много продюсеров и студий гоняются за идеями, которые одной строчкой привлекали бы внимание зрителя, независимо от прочих характеристик фильма. Если фильм «Военная игра» основан на «абсолютной идее» («Гениальный мальчик-программист проникает в компьютерную программу Пентагона и предотвращает третью мировую войну»), то фильм «Золотой пруд» представляет собой противоположность «абсолютной идее» — «Двое стариков переезжают на дачу». Одна фраза рекламы обеспечила кассу для первого фильма. Имена актеров,

рецензии, изустная реклама и «Оscarы» привели к очевидному успеху второго.

7. Новое и знакомое

Говорить о новизне как о качестве, приводящем к успеху в Голливуде, вряд ли справедливо, принимая во внимание то, что сегодня создается на американских студиях. Просмотрите программы телефильмов нового сезона. Много ли вы найдете там оригинальных сценариев? Или поглядите, что останется в списках новых кинофильмов, после того как вы отбросите повторы, переделки, подражения, продолжения, кражи, использование клочков чужих фильмов и т. д. Сделайте это — и вы поймете, что истинная новизна пугает Голливуд до смерти.

Тем не менее, «недостаток новизны» — причина, по которой продюсеры и студии часто отвергают сценарии и идеи. И это справедливо. Притом что зрители желают видеть «больше знакомого» по телевидению и в театре, если они желают увидеть нечто новое — они идут в кино.

Как сценарист вы обязаны каким-то образом справиться с этим парадоксом и найти золотую середину между «Это здорово, такого я еще не видел» и «Это здорово, прямо как в кино».

Вас ждут большие неприятности, если ваша идея не имеет ничего общего с тем, что в Голливуде принято считать приносящим успех. Вашу сногсшибательную идею нового кинематографа лучше отложить на потом, когда ваша карьера настолько укрепится, что даст вам силу успешно продать эту идею. Вуди Аллен сперва сделал «Бананы», а уж потом «Зелик».

Для начала вам надо предложить продюсерам некую надежду на успех, основанную на том, что уже было. *Затем* к этому надо присовокупить элементы новизны, которые отличат ваш сценарий от других и предложат зрителям новые элементы сюжета, характеров и темы.

Прекрасный пример такого фильма — «Всплеск», счастливо соединяющий знакомое и новизну. История Русалочки знакома нам с детства по Андерсену, но к этой ситуации Лоуэлл Ганц и Балабу Мандель прибавили элементы современной любовной истории, злодея-ученого и способность русалки превращаться на время в обычное человеческое существо.

Более того, *все успешные современные фильмы основаны на ситуациях, уже использованных раньше*. Мы видели множество политических триллеров, полицейских любовных историй, гангстерских фильмов и картин о войне, прежде чем появились «Выхода нет», «Неприкасаемые» и «С добрым утром, Вьетнам». Естественно и непременно — каждая из этих картин включает достаточно новых эле-

ментов, чтоб достигнуть высоких показателей кассовых сборов.

Но само по себе добавление неизвестных ранее элементов еще не гарантирует успеха. Это новое — не просто новое, но способное увлечь читателя, захватить зрителей.

Короче говоря, вы должны знать о всех фильмах, основанных на идее, схожей с вашей, с тем чтобы, обсуждая вашу идею, вы могли бы говорить о ней одновременно и как о новой — и как о знакомой.

8. Вторые линии и подсюжеты

Обе эти характеристики имеют отношение к глубине и широте вашего замысла. *Вторая линия* — это еще одна линия сюжета с участием вашего героя. Это еще одна, столь же важная и ясно выраженная мотивировка его поведения. Вот пример.

Несколько лет назад компания ABC была заинтересована в работе над телефильмом о похудании, о разных диетах и упражнениях, обществах Анонимных Обжор и пр. Руководство канала пришло к выводу, что сама по себе идея слабовата, чтоб потянуть на двухчасовой фильм. Одновременно ABC работало над фильмом о любви молодого мужчины к женщине старше его (тема, звучавшая несколько лет назад оригинально). В результате они пришли к решению сделать эту любовную историю второй линией в истории о похудании. Они соединили две сюжетные линии, сделали героя главным действующим лицом в обеих ситуациях и дали каждой идее равное значение в общем течении событий.

В результате явилась история о замужней женщине, безуспешно пытающейся избавиться от лишнего веса. Ни диеты, ни упражнения ей не помогают, пока она не влюбляется в человека гораздо моложе ее, принимающего ее такой, какая она есть. При этом ей так хорошо, что лишние фунты исчезают сами по себе, оставляя без работы всех создателей диет и разгрузочных комплексов. Эта идея легла в основу фильма «Новое начало» с участием Патти Дюк Остин.

Часто второй линией замысла сценария является любовная линия. Фильм «На следующее утро» рассказывает об актрисе-алкоголичке, пытающейся доказать свою невиновность в убийстве. Вторым планом является ее желание сблизиться с помогающим ей бывшим полицейским. С добавлением этой романтической линии к первоначальной идее история становится привлекательнее и способна удержать внимание большего числа зрителей и с коммерческой, и с художественной точки зрения.

Вторая линия способна сделать оригинальной историю, слишком знакомую по первой линии замысла. Хороший пример — «Инопланиетянин», в котором две старые идеи: «пришелец из Космоса» и «мальчик и собака» —

соединились и взаимно проникли друг в друга, результатом чего явился весьма оригинальный, симпатичный и успешный фильм.

Подсюжеты — это дополнительные мотивировки действий персонажей. Речь идет о линиях, не имеющих столь важного значения, как основная история, но развивающихся параллельно ей и вовлекающих или не вовлекающих в действие главного героя. Подсюжеты необходимы, ибо они придают глубину, многомерность, оригинальность и новый смысл основному сюжету и теме.

В приведенных выше примерах фильмов подсюжетом картины «На следующее утро» является желание парикмахерши выйти замуж за богатого клиента. В фильме «Инопланетянин» — это желание одного из персонажей поймать и изучать внеземное существо. Эти подсюжеты безусловно придают замыслу дополнительный потенциал, но они не так важны, как основная мотивировка действий героя или как *вторая линия*.

9. Знакомая обстановка действия

Так же как важно узнавание зрителем вашего героя, очень важно и прибавляет коммерческий потенциал замыслу узнавания времени и места действия вашей истории.

Вот почему действие большинства фильмов протекает в городах или пригородах Америки. В Голливуде убеждены, что широкая американская аудитория будет испытывать сложности в *узнавании* иностранных или национальных характеров, действующих в других странах (если не включен в действие приехавший туда американец). Считается также, что зритель с трудом воспринимает действие, происходящее в прежние времена.

Хотя это убеждение ошибочно отрицает способность талантливого автора заставить зрителя сопереживать любому человеку в любом месте и времени действия, тем не менее это факт, который вы должны учитывать при оценке коммерческого потенциала вашего замысла.

Некоторые места действия американских фильмов несовременны, но легко узнаваемы благодаря многолетней традиции. Обстановка Дикого Запада, Второй мировой войны или Космос знакомы кинозрителю гораздо больше, чем обстановка китайской династии Мин или Испанской инквизиции.

10. Категории фильмов

В настоящее время определенные категории фильмов продаются в Голливуде с трудом, и если ваш замысел подпадает под одну из этих категорий, трудности продажи его резко возрастут. Вот эти категории.

Музыкулы, где все пляшут и поют. Сценарий фильма типа «Оклахомы» в настоящее время продать невозможно.

Вестерны.

Картины о прошлом — имеется в виду все до 1970 года.

Биографии.

Научная фантастика. Тут сложность в том, что речь идет или о дорогих фильмах со специальными эффектами, под которые никто не даст деньги, если сценарий принадлежит перу начинающего автора, или о философских или отвлеченных умственных упражнениях, трудно переносимых на экран.

Фильмы ужасов. Студии вряд ли пойдут на постановку новых фильмов ужасов. Хотя есть вероятность найти независимый источник финансирования. В любом случае, времена, когда превращение человека в котлету сразу гарантировало кассовый успех, миновали.

В то же время определенные категории фильмов пользуются постоянным спросом:

Приключения.

Детектив-триллер.

История любви.

Комедия.

Драма.

Любая комбинация из этих категорий.

Если ваш замысел попадает в последнюю группу, это сразу увеличивает его коммерческий потенциал.

11. Форма

Решающее значение имеет правильный выбор формы, вида фильма, соответствующего вашему замыслу: художественный или телефильм, короткометражный фильм или сериал. (Если вы начинающий писатель, не пытайтесь предлагать новые сериалы или сценарии-пилоты для новых передач. Эти формы разрабатываются известными телевизионными драматургами.)

Зачастую в силу отсутствия широкой заинтересованности, камерности замысла, незначительной глубины ваш замысел подойдет для использования как часть в «Мерфи Браун» или другом сериале скорее, чем в самостоятельном художественном или телефильме. Вы сами должны решить, основываясь на знании производства, какая форма и длина фильма наиболее соответствуют вашему замыслу.

Как правило, художественные фильмы более дорогие, более «постановочные», чаще применяют как выразительные средства секс и насилие, менее схематичны и более сложны по форме.

Фильмы для телевидения обычно имеют более узкий угол зрения, более злободневны и смыслово нацелены. Они жестче скроены по стандартам длины, структуры и пр.

Однако четкой разницы между ними нет, и мы знаем примеры телевизионных фильмов, попавших на большой экран благодаря вложенному в них таланту авторов и качеству результата. Это «Крампер против Крамера»,

«Убийство в восточном экспрессе», «Роксана» и др.

12. Стоимость

Поскольку самоцелью вашего творчества не является растрата больших денежных средств, вам следует заранее предполагать стоимость осуществления вашего замысла. В общих словах — чем дороже предлагаемый вами фильм, тем труднее продать сценарий. Особенно это касается начинающего сценариста.

Вот пять моментов, удорожающих фильм:

• Специальные эффекты.

Большое количество артистов.

Много съемочных экспедиций.

«Исторические» декорации.

Плохая погода.

Таким образом, если в вашем сценарии монгольские орды, преодолевая горы Китая, встретят увязнувший в снегах космический корабль пришельцев, вы явно выбились из бюджета.

О чем вам *не надо* беспокоиться — это сверхстоимость, подразумевающая оплату звезд и режиссера, который будет снимать картину. Если вы написали сценарий картины стоимостью в три миллиона, а Дастин Хоффман потребовал за участие в ней еще тридцать — считайте, что вам повезло.

Стоимость стоит в конце списка необходимых коммерческих качеств, ибо практика показывает, что если студия хочет снимать фильм, она его снимает, сколько бы он ни стоил. Эта проблема становится важной в случае независимых источников финансирования, когда легче откопать деньги для картины стоимостью от 1 000 000 до 3 000 000 долларов.

Менахем Голен, президент Кэнон Филмз, когда-то сказал: «Если фильм стоит меньше пяти миллионов и имеет начало, середину и конец, нет варианта, что он не заработает денег».

Оставшиеся два пункта в этом списке относятся больше к художественным качествам и вряд ли влияют на коммерческий потенциал замысла. Многие картины имели сокрушительный кассовый успех и многие сценарии были проданы без соблюдения этих пунктов. Но истории, обладающие этими качествами, художественно совершеннее и законченнее.

13. Развитие характера

Развитие характера подразумевает, что в результате своей деятельности персонаж достигает полного самовыражения, развития, что он, как говорят у нас, «состоялся». Чем больше возможностей стать лучше и человечнее ваш замысел предоставляет герою, тем выше художественный потенциал вашей идеи.

14. Тема

Понятие темы близко к понятию развития характеров. *Темой* в сценарии принято считать вложенную в него универсальную идею о природе человека. Этот уровень смысла фильма выходит за пределы сюжета и имеет в виду человеческую жизнь вообще. Тема — это идея фильма, которую любой из сидящих в зале может соотнести со своей собственной жизнью, независимо от того, довелось ему или нет побывать в ситуации, о которой рассказывает сюжет. *Тема рассказывает зрителю о жизни вообще.*

Тема — не то же самое, что «message», урок, преподаваемый фильмом. «Message» имеет больше политической окраски и ближе к сюжету, но не соотносится с личным опытом рядового зрителя. Например, message «Преступления и наказания» Достоевского — мерзость убийства «во имя идеи», а тема — личный путь человека к Богу.

В отдельной главе будет подробно говориться о развитии характера и темы. Тогда вы увидите, как практически создается характер и проясняется тема сценария.

Продолжение следует

Редакция журнала «КИНОСЦЕНАРИИ»

приглашает распространителей
на выгодных условиях

Н а ш и т е л е ф о н ы : 299-11-78, 299-47-74.

А д р е с р е д а к ц и и : 103006, Москва, Воротниковский переулок, д. 12

ПАМЯТИ ДРУГА

С уходом из жизни Марии Николаевны Смирновой не уходит память о том, что ею написано, что снято по ее сценариям; не уходит память об этом красивом, умном, талантливом писателе, о духовном облике интеллигента, оставшегося самим собой, несмотря на повседневное давление хорошо организованной системы.

Несколько крупных планов. В 1935 году ее сценарий «Бабы» получает первую премию на Всесоюзном конкурсе. В этот год она становится сценаристом номер один. Сценарий печатают, о нем спорят, его, наконец, пускают в производство. Надолго завязывается дружба с Эммой Цесарской, исполнительницей главной роли.

Сложна участь киносценариста: не единицы, а порой десятки сценариев, не нашедших режиссера-единомышленника, остаются фрагментами печального архива. И все же работы Марии не раз воплощались в знаменитых фильмах. В их числе «Сельская учитель-

ница» в постановке Донского, «Сельский врач» Герасимова, «Хождение за три моря» Пронина... В 80-е годы «Искусство» издает замечательную книгу Смирновой «Родники», отмеченную в «Известиях», в рецензии киносценариста Б. Медового, как достижение нашей литературы.

А в день ее 90-летия «Искусство кино» публикует воспоминания о поездке в Китай Ладыниной, Черкасова и Смирновой. Название этой публикации многозначно: «Эхо».

И вот последняя строка этих нелегких заметок. Наша любимица Маша Смирнова выросла в крестьянской семье в Оренбуржье. Ей не понадобились знаменитые «творческие командировки» для понимания души крестьянской жизни, нетривиальной лексики и мышления ее будущих героев. Это начало своей биографии она, интеллигент новой формации, пронесла через всю свою жизнь, как это не было трудно.

И. В. Вайсфельд



И. В. Вайсфельд с женой Л. Л. Войтоловской и М. Н. Смирновой в парке Дома ветеранов кино. 1982 г.

АНОНС

Читайте в следующем номере
нашего журнала:

Интервью с кинодраматургом **НАТАЛЬЕЙ РЯЗАНЦЕВОЙ**
и ее новый сценарий «ЭФФЕКТ ДОРИАНА»

Сценарий-победитель конкурса на приз Эйзенштейна
«УБИЙСТВО ВИЛЬЯМА ШЕКСПИРА» **ИРАКЛИЯ КВИРИКАДЗЕ**
и два интервью с автором:
до его отъезда в Штаты и по возвращении.

Новый сценарий **ПЕТРА ЛУЦИКА** и **АЛЕКСЕЯ САМОРЯДОВА**
«КТО-ТО ТАМ, ВНУТРИ»

Лауреатов конкурса сценариев
Ялтинского кинорынка «Н а д е ж д а»
представляет Валентин Черных.

Читайте отрывки сценариев-призеров:
«ЗОЛОТОЕ ДНО» **ИВАНА БИРЮКОВА**
«ВСЕ ТО, О ЧЕМ МЫ ТАК СТРАСТНО МЕЧТАЛИ»
АНАТОЛИЯ УСОВА, «ШИРЛИ-МЫРЛИ» **АНДРЕЯ САМСОНОВА**

ЭДУАРД ТОПОЛЬ «АСИНЫ РАССКАЗЫ» — публикуется впервые

ЕВГЕНИЙ ГАБРИЛОВИЧ «МЕЛОЧИНКИ» — отрывки из неизданной книги **РАССКАЗЫ ВУДИ АЛЛЕНА**

«Crying Game» — «ВОЗМУТИТЕЛЬНАЯ ИГРА» — анонсируем публикацию сценария самого нашумевшего американского фильма года

Продолжение публикаций: биографии **ЛАЙЗЫ МИНЕЛЛИ**, «ИРОНИЧЕСКИХ МЕМУАРОВ» **ГРИГОРИЯ ГОРИНА**, книги **АЛЕКСАНДРА ЧЕРВИНСКОГО** «КАК ХОРОШО ПРОДАТЬ ХОРОШИЙ СЦЕНАРИЙ»

СОДЕРЖАНИЕ

УКРАДЕННЫЙ ШЕДЕВР

- 3 *Рустам Хамдамов «Анна Карамазов»*

КРИМИНАЛЬНАЯ МЕЛОДРАМА

- 39 *Эдуард Володарский «Русская»*

АВТОРСКОЕ КИНО

- 64 *Юрий Арабов «Юные годы Данта». Часть II.*

РУССКИЙ ВЕСТЕРН

- 92 *Юрий Коротков «Абрек»*

ИНТЕРВЬЮ

- 126 *Диалог: Шредер—Скорсезе*

ИЗ КЛАССИКИ ЗАРУБЕЖНОГО КИНО

- 133 *Пол Шредер «Таксист» (окончание)*

ИРОНИЧЕСКИЕ МЕМУАРЫ

- 155 *Григорий Горин «Иронические мемуары»*

ИЗ ЖИЗНИ ЗВЕЗД

- 163 *Венди Ли «Лайза, рожденная быть звездой»*

БИЗНЕС В КИНО

- 169 *Александр Червинский «Как хорошо продать хороший сценарий» (продолжение).*

- 174 *Илья Вайсфельд «Памяти друга»*

Гл. редактор Н. РЮРИКОВА

Редакционно-общественный совет: В. АЗЕРНИКОВ, Э. АКОПОВ, И. ВАСИЛЬЕВА, А. ГРЕБНЕВ, А. ИНИН, Е. КЛЕЙНЕР, А. КРИНИЦИНА, А. МАМИЛОВ, А. МЕДВЕДЕВ, В. МЕРЕЖКО, Н. РЯЗАНЦЕВА, М. СЕРГИЕНКО (отв. секретарь), П. ФИНН, В. ФРИД, А. ЧЕРВИНСКИЙ, В. ЧЕРНЫХ.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются

Сдано в набор 22.06.93. Подписано к печати 28.07.93. Формат 70x100¹/₁₆.
Усл. печ. л. 12,87. Усл. кр. отт. 12,87. Печать офсетная. Бумага типогр. офсетная.
Гарн. "литературная". Заказ № 1036.

Адрес редакции: 103006, Москва, Воронниковский пер., д. 12
Телефоны: 299-11-78, 299-47-74

Ордена Трудового Красного Знамени Чеховский полиграфический комбинат
Министерства печати Российской Федерации
142300, г. Чехов Московской области



229-189

КИНО

сценарии
№ 4



«Лайза,
рожденная
быть звездой» -
история ее жизни
в этом и следующих номерах

